

ШЕЛИНГ



Арсений
Тулыга



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



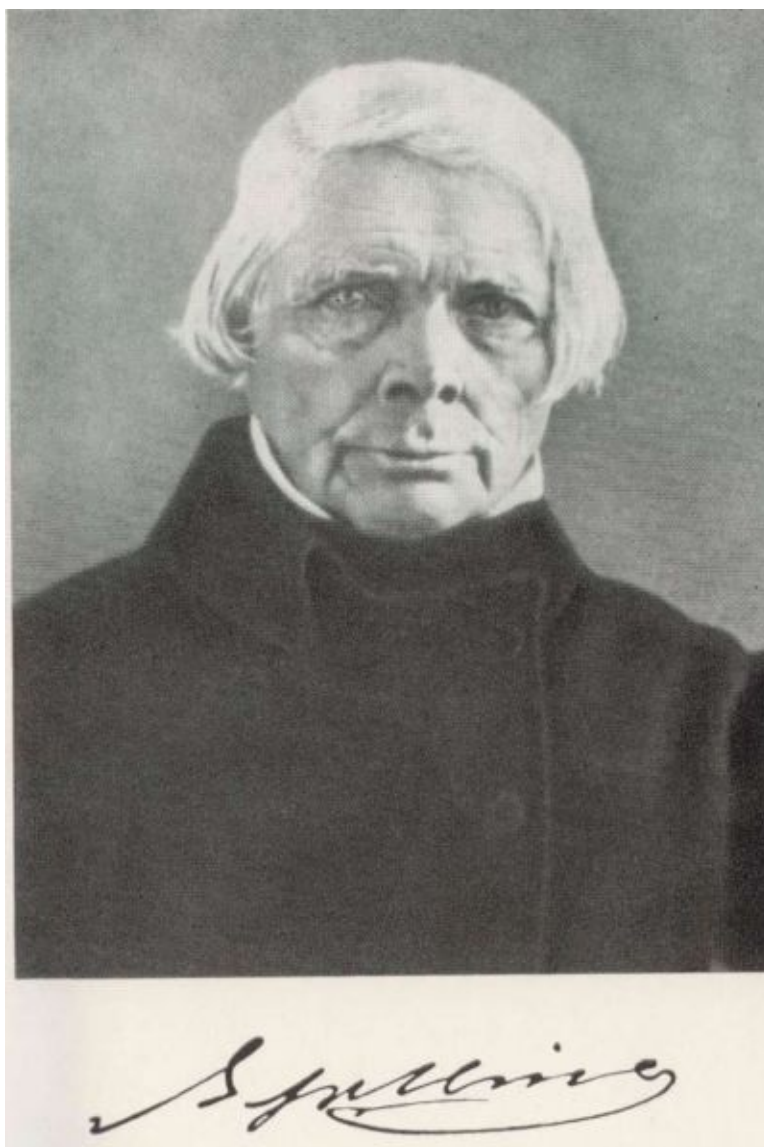
Annotation

Книга посвящена выдающемуся немецкому философу, представителю немецкого классического идеализма. Фридрих Вильгельм Шеллинг рано сформировался как творческая личность. В 23 года ему было присвоено звание профессору. Труды Шеллинга оказали значительное влияние на формирование русской философской мысли начала XIX века.

- [Арсений Гулыга](#)
 -
 - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
 - [ЗАКЛЮЧЕНИЕ](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ](#)
 - [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)

- [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
-

**Арсений Гулыга
Шеллинг**



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВОСХОД СОЛНЦА

*О, нашей мысли обольщение,
Ты, человеческое Я.*

Ф. Тютчев

На старинной гравюре Леонберг миниатюрен: собор, возвышающийся над городской стеной, башни ее, дворец, теснящиеся друг к другу здания. Ныне это только центр довольно крупного города. Во время оно добирались сюда из Штутгарта, столицы Вюртемберга, экипажем не менее трех часов. В наше время автомобилем по ухоженной асфальтированной дороге, проложенной сквозь лесистые холмы, езды минут двадцать.

Машину приходится оставить на площади; дальше пешком узкими проулками, и вот уже виден дом с мемориальной доской. Здесь 27 января 1775 года в семье местного дьякона Шеллинга родился герой нашей книги.

На второй день жизни его крестили. Нарекли Фридрихом (в честь отца), Вильгельмом (в честь крестной матери Вильгельмины), Йозефом (в честь деда). В семье его звали Фриц.

Он был старшим ребенком в семье (но не первенцем, перед ним родился мальчик, который вскоре умер). У Фрица была младшая сестра Беата и братья — Готтлиб, Август, Карл.

Леонберг он не помнил. Его первые впечатления связаны с Бебенхаузенем, куда семья переехала, когда ему исполнилось два года. Отец, магистр богословия и знаток древних языков, получил преподавательское место в тамошнем монастырском училище, готовившем к поступлению на богословский факультет в Тюбингене.

Отец Шеллинга — незаурядная личность. Впоследствии он займет руководящий пост в протестантской церкви Вюртемберга. Сына он воспитывает в духе пиетизма — лютеранского обновленчества.

Пиетизм в Вюртемберге пустил глубокие корни. И имел свои особенности. Наиболее крупный его представитель — Фридрих Кристоф Этингер — размышлял не только над личным спасением. Он был поборником изучения природы; его тревожили и социальные проблемы. Он предсказывал в будущем наступление «золотого века», когда воцарится

равенство между людьми, исчезнут сословные различия, собственность станет общей и отпадет необходимость в принуждении.

Этингер умер, когда Фрицу Шеллингу исполнилось семь лет. Книги Этингера стоят в кабинете отца. В зрелые годы Шеллинг будет к ним неоднократно возвращаться.

О детстве великих людей мы знаем до обидного мало: ведь никто не думает, что именно из этого ребенка выйдет что-то путное, никто не собирает свидетельства его духовного роста. Так и с Шеллингом. Известно, что шести лет пошел он в начальную школу, восьми стал учиться древним языкам. Еще через два года его отдали в латинскую школу в Нюртенгене. Там он пробыл недолго: осенью 1786 года учитель заявил, что мальчику в школе делать нечего, он знает всю ее программу. Фрица вернули домой, и он стал посещать монастырское училище, где преподавал отец.

Теперь он осмысленными глазами смотрит вокруг. И записывает впечатления. Бебенхаузен лежит в живописной долине. Фриц любит бродить по окрестным горам, знает их названия, знает все дороги в лесу. «И дикая природа воистину прекрасна! — восклицает он на бумаге. — Как часто я возносил хвалу божественному творцу в этих чудесно-диких местах».

В той же ученической тетрадке — история монастыря. Бебенхаузен основан в XII веке и назван по имени жившего ранее в этих местах лесного отшельника Бебо. Не правы те, кто считает, что монастырь построен в VIII веке швабским герцогом Бебо: в VIII веке здесь еще ничего не было. Фриц знает литературу, ссылается на авторитетные источники, опровергает ошибочные взгляды.

Все удивляются его знаниям, его способностям. Считалось, что чужим языком свободно владеет тот, кто может слагать на нем стихи. Фриц версифицирует на латыни свободно, но также на греческом, древнееврейском, арабском. Что касается его немецких стихов, то им суждено стать первой публикацией будущего философа. Элегия пятнадцатилетнего Шеллинга на смерть Филлипа Маттеуса Хана, богослова-пиетиста (и выдающегося механика), была напечатана в штутгартском журнале «Беобахтер». Редакция приглашала автора к дальнейшему сотрудничеству.

По уровню своей подготовки он давно готов к поступлению в университет. Закон открывал дорогу к высшему образованию только восемнадцатилетним. Понадобилось специальное разрешение, которого не без труда добился Шеллинг-отец, чтобы его сын стал студентом богословия на шестнадцатом году жизни. В октябре 1790 года мальчик перебирается в

Тюбинген. Ему определена стипендия, и живет он в интернате богословского факультета. Когда-то здесь провел свои юные годы великий Кеплер.

Из Тюбингена в Бебенхаузен и назад — прогулка слишком утомительная, а времени у студента в обрез. Но домой тянет, и он направляет стопы в сторону отчего дома, а навстречу ему уже идет мать. Они встречаются на полдороге, На мосту через ручей, усаживаются в живописном месте, и мать потчует своего Фрица горячим кофе и сладостями. Так продолжается год. Затем отец получает новое назначение, семья покидает Бебенхаузен. А Фриц взрослеет. Но привычка к долгим прогулкам остается, он любит природу.

В университете он на хорошем счёту. Администрация культивирует среди учащихся иерархию успехов. По имени первого ученика называется весь курс. После экзаменов Шеллинг оказывается на втором месте, на первом — некто Бек. По заведенной традиции, первый ученик должен приветствовать монарха, герцога Вюртембергского Карла, когда тот (не так уж часто) посещает университет. Но Бек робок, заменить его на церемонии поручают Шеллингу. Приветственная речь понравилась герцогу, и он распорядился при следующей локации — так называлось распределение учебных мест — передать первое место Шеллингу. (По иной версии, решающую роль сыграла другая речь — поздравительная в день рождения герцога.)

Занимается он в одной комнате со старшекурсниками — будущим философом Гегелем и поэтом Гельдерлином. Три гения возвращены одновременно в одних стенах! Располагал ли богословский интернат в Тюбингене какими-либо особо благоприятными условиями Для развития студенческих способностей? Принято отвечать на этот вопрос отрицательно. Это типичное (хотя и университетское) захолустье, церковная полуказарма с чуть ли не средневековыми нравами и методами обучения. Студенты ходят всегда в черном (такова форма), их будят спозаранку, ведут на молитву, на трапезу, на обязательные лекции. Идешь в город — доложи по начальству. Курить запрещено. Танцевать запрещено. Заходить в трактиры запрещено. За проступок — наказание, вплоть до карцера. У одних это вызывает страх и покорность, у других ненависть и протест. Кого из них больше? Как всегда, послушных, начальствобоязненных. Но и недовольных все же достаточно, чтобы внутри интерната возник свой бунтарский микроклимат.

Студенты недовольны преподаванием: их учат посредственности. Только ориенталист Шнуррер (коллега и близкий знакомый Шеллинга-

отца) пользуется уважением. Юный Шеллинг, как мы знаем, преуспел в восточных языках. Здесь он расширяет свои познания, слывет знатоком древнееврейского. Ветхий и Новый завет в центре его духовных интересов. А древние языки — средство проникнуть в смысл Священного писания.

Богословы поражают своим догматизмом. После «Апологии» Реймаруса, поставившей под сомнение богодуховенность Библии, после статей Лессинга о Реймарусе вокруг Священного писания кипят журнальные страсти. Тюбингенских профессоров это не касается. Они требуют заучивания текстов и канонического их истолкования.

Но вот историк Ресслер — скептик. История для него — скопление случайностей и несуразиц. Самые большие события он умудряется свести к банальным пустякам. «Господа, — говорит он, — не верьте тому, что рассказывают о смерти Сократа, как мужественно он выпил чашу с ядом. Все это выдумки его учеников, и ничего больше». Ресслер сеет сомнения.

С философией дело обстоит неважно. Профессора Абель и Бэк ведут курс по старинке. Вся интеллектуальная Германия живет идеями Канта, принимает или оспаривает их, а эти скорее всего не читали ни одной из знаменитых «Критик». Только богословы Флат и Штор рассказывают о Канте, но как они его преподносят! Будто ничего не произошло и богословие может не беспокоиться.

Студенты на слово не верят, в их руках «Критика чистого разума». Они обмениваются мнениями по поводу прочитанного, спорят. Возникает нечто вроде самодеятельного кружка. Шеллинг участвует в нем.

На будущих пасторов и богословов наиболее сильное впечатление производит тот раздел главного труда Канта, где ниспровергается традиционная, догматическая метафизика, где показано, что никакими ходами мысли нельзя обосновать бессмертие души, что все существующие доказательства бытия бога содержат логические ошибки, что догматы церкви могут быть предметом веры, но не научного знания. Это ли не потрясение основ?

Одолеть «Критику чистого разума» сразу — задача непосильная. Шеллинг штудировал «Разъясняющее изложение» И. Шульца. На его личном экземпляре книги сохранилась пометка: первое чтение закончено 23 марта 1791 года. Шеллингу идет семнадцатый год.

Его знакомство с философией Канта совпадает по времени с деятельностью в Тюбингенской академии ревностного и радикального кантианца Карла Иммануила Дица. Когда Шеллинг поступал в университет, Диц его закончил. И был оставлен в качестве репетитора (младшего преподавателя). В апреле 1792 года Диц отбыл в Иену изучать медицину:

его влекли естественные науки. Богословие ему представлялось нелепицей. «Те, кто хвалится своим сверхчувственным опытом, — высказывается он в одном из писем, — фантасты, к ним я причисляю Иисуса и его апостолов, а те, кто верит в подобный дар, — жертвы суеверия, к ним я отношу всех верующих богословов и всю массу христиан. И те и другие объясняют факты гипотезами, перенося возможное в понятии на объект». Кант дает моральное обоснование религии: «Но и моральная вера не в состоянии превратить в действительность мою идею о боге как о существе. На основании моральной веры нельзя показать, что бог существует, но только то, что я в поведении своем вынужден исходить из факта его существования». Мысль Канта изложена чуть острее, чем в оригинале. Кант для Дица «долгожданный мессия, призванный осчастливить мир, а Иисус, наоборот, — обманщик». Это уже совсем не по Канту, но радикально настроенным студентам может импонировать.

Студенты тайком читают «Разбойников» Шиллера. Автор — их земляк, воспитанник другого вюртембергского университета, Карлсшуле в Штутгарте; спасаясь от монаршего деспотизма, он вынужден был покинуть родину. По рукам ходят вольнолюбивые стихи поэта Шубарта, который без суда и следствия провел в вюртембергской тюрьме десять лет. По рукам ходят трактаты Руссо.

Но самое сильное брожение умов вызвала французская революция. «Великолепным восходом солнца» назовет ее на склоне своих лет Гегель, припоминая то впечатление, которое она произвела на него в юные годы. От Вюртемберга до французской границы рукой подать, а там низвергнут тиран, власть перешла в руки народа. Мысли молодежи устремлены за Рейн, где реют трехцветные флаги свободы. Франция вторглась в немецкие земли, да здравствует Франция — ее войска несут желанную революцию!

Выпускник Тюбингена (к тому же первый ученик), Карл Рейнгард еще в 1785 году выступил в печати с обличением здешних университетских порядков: «Ни в одном протестантском государстве нет заведения с таким деспотически-монастырским внешним и внутренним укладом». С тех пор он кумир студенчества. В швабском журнале Рейнгард публикует пространные статьи о взятии Бастилии. Он уехал во Францию и принял французское гражданство, впоследствии стал дипломатом революции (одно время был министром иностранных дел республики).

Бежит к французам и однокурсник Шеллинга Август Ветцель (племянник историка Ресслера). В апреле 1792 года он в Страсбурге, член якобинского клуба. В августе Ветцель возвращается в Тюбинген, и его снова зачисляют в университет. По инициативе Ветцеля создается

политический клуб, где читают запрещенную литературу, обсуждают политические новости, спорят о религии, о революции, о судьбах родины и человечества, потешаются над начальством, поют «Марсельезу». Песня возникла в Страсбурге, оттуда ее, видимо, и привез Ветцель. Немецкий перевод молва приписывает Шеллингу.

Вместе с Гегелем он принимает участие в деятельности клуба. А когда клуб провалился, держит ответ перед начальством. В мае 1793 года Шеллинг пишет объяснительную записку. К сожалению, она не сохранилась. О ее содержании и о том, что произошло далее, можно судить по рассказу сына Шеллинга — Карла Фридриха, описавшего юношеские годы своего отца.

«Особенным успехом пользовалась „Марсельеза“. Считалось, что на немецкий язык ее перевел Шеллинг. И хотя это не соответствовало действительности, герцогу доложили именно так. Разгневанный, он немедленно отправился в Тюбинген. По его прибытии стипендиатов собрали в столовой. Шеллинг и еще несколько заподозренных должны были выйти вперед. Герцог показал Шеллингу перевод „Марсельезы“ и сказал: „Во Франции сочинили гнусную песню, ее распевают марсельские бандиты, узнаешь?“ При этом он долго испытующе смотрел на него. Шеллинг не спускал с герцога своих огромных голубых сияющих глаз. Это бесстрашие так понравилось герцогу, что он отказался от дальнейшего розыска. Затем он произнёс краткую речь, полную укоров, и, подойдя снова к Шеллингу, спросил, не жалеет ли он о случившемся. На что тот якобы ответил: „Ваша светлость, все мы много согрешаем“».

Существует рассказ о том, как Гегель и Шеллинг посадили по французскому образцу «на лугу близ Тюбингена» дерево свободы. Сын Шеллинга и этот рассказ ставит под сомнение: «Мне ничего не удалось узнать о деревьях свободы, которые будто бы были посажены при деятельном участии Гегеля и Шеллинга, связанных узами дружбы, хотя я расспрашивал хорошо информированных современников».

Сведения противоречивы. Преувеличения возможны. Что касается «Марсельезы», то в одном из писем того времени в качестве автора немецкого текста назван не Шеллинг, а другой студент, курсом старше (Гризингер). Но дыма без огня не бывает. И то обстоятельство, что Шеллингу пришлось оправдываться, говорит о многом.

Еще больше говорит недавно обнаруженный в городском архиве Штутгарта документ, с которым меня познакомил доктор В. Якобе (Мюнхен). В письме герцогу Карлу Евгению излагается содержание доноса на Ветцеля и Шеллинга. Целью студенческого клуба было «вести в стране

свободу и равенство, как у французов, налоги частью упразднить совсем, частью уменьшить и установить другую форму правления». Доносчик, сначала примкнувший к клубистам, затем решил с ними порвать. Об этом он заявил Ветцелю, который пришел на встречу с ним, прихватив Шеллинга. «Оба были в высшей степени напуганы этим заявлением, упрашивали ради бога не выдавать и не погубить их, обещая распустить общество». Ветцель спасся бегством. Шеллингу удалось оправдаться.

Учение дается ему без труда. В графе «способности» против его фамилии в учебной ведомости стоит неизменно «felix», что значит «блистательно», «пять с плюсом», — это высшая отметка. (У Гегеля и Гельдерлина — «bonum», то есть «пять».) По поведению у Шеллинга стоит «пять», затем «три», в 1793 году оценки не проставлены, потом снова «пять», но с оговоркой — «не всегда согласуется с предписаниями».

А вот более развернутая характеристика (которую получает каждый студент, начиная с третьего курса). Зимний семестр 1793/94 года.

«Способности: Обладает блестящими задатками, для своего возраста вполне зрелой способностью суждения, глубоким и острым умом; плодотворной силой воображения, замечательной памятью.

Прилежание: Непрестанное и упорядоченное личное прилежание; лекции как обязательные, так и факультативные посещает не совсем аккуратно; на семинарских занятиях по богословию отвечает прекрасно.

Поведение: Безупречное поведение, соответствующее установленному порядку; по отношению к начальству вежлив, с товарищами общителен.

Богословская литература: Знает отлично.

Экзегетика, догматика, нравственность: Отлично. Его основательное и с усердием выполненное сочинение свидетельствует о самостоятельности мысли, остроте ума и достойном похвалы знании новейшей литературы.

Полемика: Отлично.

Проповеди: Его изобилующие мыслями и выразительными образами проповеди выдают превосходную одаренность, он не дает себе труда учить их наизусть, но читает достойно.

История церкви: Отлично».

В характеристике за следующий семестр есть примечательное прибавление: «Ему нельзя отказать в религиозности». О тюбингенских студентах шла дурная молва: во время богослужения они читают книги и вообще ведут себя не так, как положено тем, кто готовит себя к духовному званию. Отсюда новое требование консистории — при оценке успехов того или иного учащегося особо отмечать в характеристике степень религиозного рвения.

А его-то как раз не хватает Шеллингу. В консисторию поступает докладная записка о том, как читаются учебные проповеди. С тех пор как в моду вошел Кант, Библия подвергается аллегорическому истолкованию. И грешит этим в первую очередь опять-таки Фриц Шеллинг.

Но он по-прежнему первый ученик, поражает своей одаренностью и усидчивостью. За это ему многое прощается. Даже 52 пропущенные в течение одного семестра обязательные лекции. «Так как мы уверены, что многие часы пропущенных им самовольно лекций все же использованы были для пользы дела, считаем необходимым предоставить ему 14-дневные каникулы». Вынося такое решение, консистория высказывает надежду, чего впредь Шеллинг будет ходить на лекции, я «тем самым докажет свое уважение к порядку». Благожелательные наставники попалась Шеллингу. Можно сказать, что ему повезло.

После двух лет обучения студентам полагалось защитить в публичном диспуте магистерскую диссертацию по философии, только после этого приступали к изучению собственно богословия. Материалом для диспута служила обычно работа, написанная профессором. ^[1] В виде исключения разрешалась вести диспут по собственной работе. Шеллинг решил воспользоваться такой возможностью.

Диссертация называется «Опыт критического в философского истолкования древнейшей философемы о происхождении человеческого зла по третьей главе книги Бытия». Написана она по-латыни, пестрит греческими и древнееврейскими цитатами. Написана за несколько дней, но свидетельствует о значительной начитанности автора. Он знает не только обязательную древнюю, но и новейшую литературу: Лессинга, Канта, Гердера.

Библейский рассказ о грехопадении Шеллинг трактует как философский миф, в древнейших сказаниях других народов он находит аналогичный мотив утраты «золотого века». Диссертация издана отдельной брошюрой и замечена критикой. В шести журналах появились благожелательные отклики. А автору всего семнадцать лет.

Вместе с текстом диссертации опубликован и отзыв профессора Шнуррера — торжественная латынь с прямым обращением к автору. «Я поздравляю тебя с первыми шагами твоего дарования и твоей учености, которые я нахожу у тебя столь многообещающими, что образованный: мир может возлагать на тебя свои надежды и упования. Я поздравляю высокочтимого отца, превосходного человека, старого и испытанного друга, с сыном, достойным отцовского имени, воспитание и образование которого, если не людностью, то все же в значительной степени, было его

собственным делом. А ты иди дальше своим путем, который так удачно начат, и развивай данную тебе Богом силу своего дарования».

Лиха беда начало! Юношу, познавшего вкус творчества, уже не остановишь. Развивая диссертационную тему, он пишет статью «О мифах, исторических сказаниях и философемах древности». Она увидела свет в 1793 году в журнале «Меморабилиен».

Просвещение третиrowало мифологию как порождение людского невежества, произвольные выдумки. «Не будем искать ничего другого в древних сказаниях, — говорил, например, Фонтевель, — кроме истории заблуждений человеческого разума». Шеллинг находит в мифе иное — порождение народной традиции, сила которой придает «гармонию и единство» человеческой общности. Мифология представляет собой «нечто унаследованное от отцов, перешедшее в дух, характер, нравы и законы народа, сохраняющееся долго еще после того, как достигло успехов эмпирическое объяснение явлений природы».

Нельзя сказать, что Шеллинг совершил открытие. Но он в курсе открытий своего времени. Геттингенский филолог Хайне видел в мифологии необходимый, законный плод народной фантазии. Шеллинг знаком с работами Хайне. Он размышляет над поставленными в них проблемами. В своей статье он проводит различие между мифами историческими и философскими. В основе первых — потребность запомнить случившееся, эти мифы фиксируют иногда действительные, чаще искаженные, бывает, что и просто вымышленные, рожденные фантазией события. Философский миф удовлетворяет потребность в объяснении. Истина предстает здесь в чувственной, наглядной форме. Это детский уровень философии. Причины явлений миф усматривает не в них самих, а в чем-то внешнем, постороннем. «Это был ленивый интеллект, который объяснял непонятное еще более непонятным, но таким, которое в силу своей непонятности давало ему покой и делало излишним все дальнейшие поиски, а с другой стороны, открывало широкие возможности для ивой способности духа. При трансцендентальном объяснении природы в дело вступала преимущественно сила воображения».

Сочинение о мифах выдержано в живой манере Гердера (Шеллинг и в дальнейшем будет писать столь же эмоционально, ясно и живо). Но следы знакомства с Кантом налицо. Об этом говорит и термин «трансцендентальный», и упоминание о силе воображения.

Познакомимся теперь с некоторыми аспектами учения Канта, только теми, которые нужно усвоить, чтобы понять духовное становление Шеллинга. Сущность решительного поворота, осуществленного Кантом в

философии, состояла в том, что он ввел воображение в теорию познания. Впервые был дан разумный ответ на вековечный вопрос философии: как образуются понятия. Наши знания не мертвый слепок с вещей и не божественное узрение сущности, это духовная конструкция, возведенная воображением из материала чувственности и каркаса доопытных (априорных) логических категорий. (Я употребляю здесь слово «конструкция» просто как «сооружение»; Кант вкладывал в него иной смысл, о чем в дальнейшем будет идти речь.)

Воображение — конструктор не только познавательного синтеза. Фактически в каждой части своей философской системы, решая встающие перед ним задачи, Кант прибегает к помощи воображения. И если попытаться кратко сформулировать ответ на основной вопрос кантовской философии — что такое человек, — то прозвучит он так: существо, наделенное продуктивной способностью воображения.

Могут возразить — а априоризм? Логический каркас категорий по Канту априорен, то есть дан нам до опыта в готовом виде, при чем тут воображение? Все дело, однако, в том, что «до опыта» и «в готовом виде» — для Канта разные вещи. Трансцендентальная философия — это не теория врожденных идей. Последнюю Кант отвергает на том основании, «что в таком случае категории были бы лишены необходимости, присущей их понятию». В самом деле, понятие причины, например, выражающее необходимость того или иного следствия при данном условии, было бы ложным, если бы оно основывалось только на произвольной, врожденной нам способности связывать те или иные эмпирические представления определенным образом. В таком случае нельзя было сказать: «Следствие связано причиной в объекте», а только следующее: «Я так устроен, что могу мыслить это представление связанным именно так, а не иначе». Это и желательно скептику. А со скептицизмом Кант боролся решительным образом.

Реальный смысл кантовской трансцендентальной философии состоит в том, что индивид, приступающий к процессу познания, обладает уже сложившимися до него познавательными формами. Кант отмечает «априорное происхождение категорий». Как он себе это представляет? Исключительно за счет работы воображения! Воображение порождает время, с помощью которого затем возникают основные логические категории.

Воображение — великий конструктор, но не всемогущий. Воображение помогает создать знание о мире, но не сам мир. Вещи существуют сами по себе, независимо от нашего сознания. Более того,

именно они возбуждают наши чувства, дают содержание созерцанию. Здесь Кант мыслит вполне материалистически. Непоследовательность в его рассуждениях появляется тогда, когда он отказывается признать адекватность нашего знания вещам самим по себе. Мы познаем, по Канту, только явления: мир вещей самих по себе нам недоступен. При попытке познать его разум впадает в противоречия.

В рассуждениях Канта есть доля правды, которая состоит в том, что познание неисчерпаемо, это бесконечный процесс все более глубокого проникновения в объективный мир. Но нет оснований отрывать мир явлений от мира вещей, принципиальной разницы между ними нет. Мы познаем мир правильно, адекватно, хотя наши знания всегда в какой-то мере относительны, неполны, могут быть расширены, уточнены.

Создавая учение о вещах самих по себе, Кант имел в виду и другое: в жизни человека есть сферы, где наука бессильна. Таково, в частности, поведение человека, который пребывает как бы в двух мирах. С одной стороны, человек — клеточка мира явлений, где все строго детерминировано, где характер формируют склонности, страсти, стремления индивида и условия, в которых он находится. Но помимо этого — эмпирического — характера, у человека есть другой — сверхчувственный, порожденный миром вещей самих по себе, где бессильны привходящие импульсы и властно диктует свою волю нравственный долг. Поэтому свободы нет (в мире явлений) и одновременно — свобода есть (в мире вещей самих по себе). Кант назвал это противоречие «антиномией свободы».

Другая антиномия касается «абсолютно необходимой сущности», то есть бога. В мире явлений места для него нет: здесь действуют законы природы. Его место только в мире вещей самих по себе. Но этот мир недоступен знанию. Это область веры.

О кантовскую вещь саму по себе спотыкались многие. Чертыхались и хотели мир устроить по-своему. Одни полагали, что видят ее насквозь, что она прозрачна, познаваема, более того — познана, абсолютная истина у них в кармане. Такие обвиняли Канта в скептицизме, называли врагом науки. Другим вещь сама по себе мешала основательнее, и они попросту стремились ее убрать с дороги. Эти упрекали Канта в непоследовательности: мол, совершил открытие, и тут же придумал закрыть его, возвестил активность познания, но поставил на его пути непроницаемую вещь саму по себе. Не лучше ли обойтись без нее? Богословам она стояла поперек дороги: теология — наука о боге. По Канту, увы, такая невозможна.

И все же при желании можно было совместить кантовскую философию с богословием. Ибо Кант не атеист. За господом богом он оставил суверенный домен — мораль. Бог не нужен Канту для объяснения явлений природы, но для обоснования нравственности идея бога не только полезна, она необходима. Верить в бога — значит быть добрым.

Мы помним, что тюрингенские профессора Штор и Флат, опираясь на Канта, строили свои богословские курсы. Магистр Диц им возражал. Но лекций он не читал и вообще скоро покинул Тюринген. А Штор и Флат остались.

К ним адресована ирония Шеллинга: «О великие кантианцы, которых теперь всюду полно. Они не пошли дальше буквы, и как они радуются, увидев перед собой столько всего. Я твердо убежден, что в головах большинства их старые предрассудки не только положительной, но и так называемой естественной религии комбинируются с буквой философии Канта. Забавно видеть, как они вяют веревку морального доказательства. И прежде чем ты успеешь опомниться, как уже перед тобой *deus ex machina* — личное, индивидуальное существо, восседающее высоко в небесах».

И перед этим о них же: «Собственно говоря, они выхватили некоторые составные части Кантовой системы (разумеется, поверхностные), из которых теперь как в машине стряпают густую похлебку теологических построений, так что зачахшая было теология теперь обретает силу и здоровье, как никогда».

Обе тирады — из письма Шеллинга к Гегелю. Последний осенью 1793 года закончил курс наук и теперь учителствует в Берне. Больше года он не давал о себе знать. В декабре 1794 года ему на глаза попало сообщение о статье его однокашника в «Меморабилиен», и он написал ему.

Шеллинг откликнулся немедленно: за истекший год кое-что произошло, статья о мифах — это пройденный этап, она «уже изрядно устарела», потом было увлечение «историческими изысканиями Ветхого и Нового света и духа первых веков христианства».

Сообщая об этом Гегелю, Шеллинг имел в виду целый ряд собственных работ, которые не увидела свет. О характере их можно судить по наброску предисловия к ним, которое опубликовал сын Шеллинга в своем очерке о юношеских годах отца. Шеллинг говорит о том, что теология находится в состоянии кризиса. «Новейшая революция» в философии не может помочь делу. Теология напяливает на себя «овечью шкуру философия», и это только путает карты. За этими непонятными на первый взгляд формулами кроется простая истина: яря ведем своим увлечением кантианством Шеллинг видит, как легко можно его

приспособить для нужд обветшалого догматизма. Став магистром философии, Шеллинг с недоверием относится к своей науке. Вывести теологию из кризиса может, по его мнению, только изучение истории. Надо приступить к исторической интерпретации Библии. Нельзя смотреть на Священное писание как на свалившееся с неба. Надо исследовать земные корни религии.

Зная работу Шеллинга о мифах, где речь идет о духе народа как их питательной среде, можно предположить, какова основная идея изысканий Шеллинга в области исторической критики Библии. Но почему он не завершил их? Почему не опубликовал то, что было уже написано? (Сын Шеллинга сообщает, что набросок предисловия был приложен к комментарию о детских годах Иисуса.) В чем дело?

Дело — в Фихте! Иоганн Готлиб Фихте — родоначальник немецкого классического идеализма. Это имя будет нам встречаться неоднократно, поэтому познакомимся ближе с тем, кому оно принадлежало. Фихте говорил: каков человек, такова его философия. Сам он был личностью решительной, бескомпромиссной, одержимой. Он считал себя жрецом истины и служил ей бескорыстно, самоотверженно. Сын ремесленника, Фихте не пошел по стопам отца. Феноменальная память открыла ему дорогу к высшему образованию. Он учился в Иене и Лейпциге; окончив курс, кое-как перебивался частными уроками в богатых домах. Ему исполнилось 28 лет, когда он впервые прочитал кантовские «Критики». И понял: перед ним истина. Особенно увлекла его кантовская этика, идея свобода как следование долгу. «Я принял его благородную мораль, — писал Фихте, — и вместо того, чтобы заниматься вещами вне меня сущими, стал заниматься больше самим собой».

Теперь ему нужно было лицезреть учителя. Через несколько месяцев (летом 1791 года) он уже стучался в дверь дома на Принцессинштрассе в Кенигсберге. Фихте жаждал живого общения, ответов на наболевшие вопросы, взаимного понимания. Ничего такого не получилось. При встрече Кант выглядел утомленным, был холоден и невнимателен. Но Фихте добился своего, он заставил обратить на себя внимание. Он заперся в гостинице и не выходил из нее тридцать пять дней, пока не написал объемистый труд по философии религии в духе, как ему казалось, кантовских принципов. И послал его Канту. Тот оценил способности автора и помог издать рукопись. Магистр Фихте приобрел литературную известность.

Его новое увлечение — французская революция. Он так любил ее, что захотел стать французским гражданином. До этого дело не дошло, но

свет в 1793 году увидел две его работы: «Попытка содействовать исправлению суждений публики о французской революции» и «Востребование от государей Европы свободы мысли, которую они до сих пор угнетали». Здесь Фихте уже занят не «самим собой», а «вещами вне его сущими» — социальным переустройством. Фихте убежденно доказывает, что народ имеет право насильственно изменить существующий строй, если он им недоволен, не только может, но и обязан совершить революцию. И тут же набрасывается на... евреев. Он называет их «государством в государстве», предлагает отвоевать «обетованную землю» и переселить их всех туда. Так Фихте смотрит теперь на истину.

Что касается Канта, то к нему Фихте стал относиться сдержанно: «Кант только наметил истину, но не изложил и не доказал ее». (Через несколько лет он скажет: «Кантовская философия, если ее не взять так, как мы ее берем, представляет собой сплошную бессмыслицу».) В его голове зреют идеи новой, собственной философии.

Фихте называет ее «учение о науке» (или «наукоучение», как обычно у нас несколько неточно и неуклюже переводят фихтевский термин «Wissenschaftslehre»). Рейнгольд пытался внести коррективы в Канта, но его философия была «без прозвища» и не оставила заметного следа. Важно найти название! «Учение о науке» — это звучит: беда Канта в отсутствии стройной, последовательной научности. «Учение о науке» лишено такого недостатка, оно превратит философию в «науку всех наук». Слово найдено, заклятие снято, успех обеспечен.

Теперь дело за тем, чтобы сделать найденную истину всеобщим достоянием. В самом начале 1794 года Фихте излагает свою систему в частных лекциях, которые читает в Цюрихе узкому кругу знакомых. Это своего рода репетиция: в его письменном столе лежит приглашение занять кафедру в Иене. Там его ждут к летнему семестру.

Шеллинг познакомился с Фихте, по-видимому, в июне 1793 года, когда тот, направляясь в Цюрих, был проездом в Тюбингене. Реформатора философии, тогда еще верного ученика и последователя Канта, встречали с помпой. Косвенные данные свидетельствуют о том, что среди собравшихся повидать Фихте находились студияус Шеллинг и его друзья Гегель и Гельдерлин.

Новая решающая встреча, о которой имеются уже прямые свидетельства, произошла в мае 1794 года. Фихте следует из Цюриха в Иену, чтобы занять там профессорское место. Он уже всем говорит о своем «открытии», о контурах и перспективах новой, созданной им философской системы. Говорит убежденно и увлекательно. Шеллинг слушает его с

вниманием и пониманием, которое не остается незамеченным. Приехав в Иену и издав программу курса, Фихте посылает ее своему юному адепту.

Брошюра называется «Понятие учения о науке или так называемой философии». Для Фихте «философия» — устаревший термин. Надо создать «науку всех наук», строго и доказательно вывести знание из единого принципа. Молчаливо подразумевается, что Канту это сделать не удалось.

В одном из писем Фихте связал «учение о науке» с французской революцией: «Моя система — это первая система свободы; как та нация освободила человека от внешних оков, моя система освобождает от вещей самих по себе». В программе курса не сказано ни слова о революции, но смысл тот же: деятельность человека определяет мир. Олицетворение деятельного принципа Я содержит в себе свою противоположность — не-Я. Единство этих противоположностей, их взаимодействие образует систему опосредований, составляющих действительность.

Ни личность Фихте, ни его учение не вызывают моей симпатии. Тем не менее надо быть объективным. Поэтому во избежание недоразумений уточним два обстоятельства. Когда Фихте говорит Я, он имеет в виду не свою персону, не личность отдельного человека вообще, не «эмпирическое» Я, а Я «абсолютное», некое всеобщее духовное начало. И второе обстоятельство: Я, по Фихте, не создает не-Я, а только обрабатывает. Субъект и объект изначально соположены, тождественны и одновременно различны.

Фихте писал весьма замысловато, однако Шеллинг был уже в курсе дела, он быстро схватывает суть. Пусть он понял не все, но что понял — принял, и вот он уже создает свои вариации на заданную тему. Иногда он просто повторяет Фихте, говорит о «науке всех наук», строит фихтевскую триаду: безусловное, обусловленное и их единство (Я, не-Я, то и другое вместе). Свою работу, названную им «О возможной форме философии вообще», Шеллинг заканчивает, слегка жеманясь и извиняясь за (мнимое) несовершенство своего стиля: «Не утратило ли данное исследование что-либо из-за той формы, которую избрал автор? Не ему судить об этом. Пусть будет так! Пусть те, которые нашли этот опыт достойным внимания, обратят его на сам предмет, а об авторе, который рад вручить публике свои записи без каких-либо претензий, как и о его манере, забудут. Пусть их не коробят выражения, которыми он иногда пользовался, чтобы показать — без презренных оговорок, — что оставили потомкам великие философы. Слово — звук пустой, как часто это гул металла или перезвон бубенчиков! Автор хотел бы, чтобы никому из его читателей не осталось неведомым глубокое переживание, порожденное близкой перспективой, наконец,

достигаемого, единства знания, веры и воли».

Сбылось ли пожелание автора? Анонимная рецензия, появившаяся в одном из философских журналов, начиналась убийственно: «Это произведение легко принять за пародию на совсем недавно расплодившуюся тонкую паутину бесплодных спекуляций». На горячую голову юноши, жаждавшего признания, вылили ушат холодной воды. Шеллинг взорвался и ответил короткой (в несколько строк) заметкой, в которой довольно резко выразил свое возмущение: рецензия — инсинуация, ее автор извратил смысл статьи.

Шеллинг послал свое сочинение Фихте и в ответ — в качестве одобрения — получил первую часть его новой работы «Основы общего учения о науке». Фихте — кумир Шеллинга. Упомянутое выше письмо к Гегелю написано в разгар увлечения новой звездой. «Кому охота закапывать себя в пыли древностей, когда поступь современности так и влечет за собой. Я обитаю и созидаю теперь в философии». (Вот почему остались незавершенными его историко-богословские штудии!) Философия еще не закончена. Кант дал только результаты, но где предпосылки. И кто в состоянии понять результаты без предпосылок? Все надежды на Фихте! Он «вознесет философию на такую высоту, от которой голова пойдет кругом у всех нынешних кантианцев... Я счастлив, что принадлежу к первым, кто приветствует Фихте, нового героя в стране Истины».

(Увлечение Фихте разделяет и Гельдерлин. Сейчас он в Иене, где слушает из первых уст «учение о науке». Гегель передает Шеллингу его восторженный отзыв о Фихте: «Титан, сражающийся за человечество».)

Девиз Шеллинга — «Не отставать!». Гегель напомнил об этом своему другу. И напрасно: юношу не нужно подстегивать. Он и так весь погружен в творчество, сочиняет «этику à la Спиноза», как он доверительно сообщает Гегелю, обещая изложить в ней «все высшие начала философии, в которых объединится теоретический и практический разум». Работа так увлекла Шеллинга, что он отказывается от предложения своего бывшего преподавателя Дица написать что-либо для только что возникшего в Иене «Философского журнала».

Вскоре труд завершен. До Спинозовской «Этики», конечно, ему далеко, и все же вещь достойна внимания. Называется она «Я как принцип философии, или Безусловное в человеческом знании». Мы ознакомимся с ней, но прежде бросим взгляд на второе письмо Шеллинга Гегелю, написанное в начале февраля 1795 года, месяца за полтора до окончания трактата. «Мы оба стремимся вперед, мы оба стремимся к тому, чтобы рожденное нашим временем великое дело не превратилось снова в

прокисшее тесто былых времен. В наших руках это дело должно сохранить свою чистоту, порожденную духом его создателя, и, может быть, мы донесем его грядущим поколениям, не исказив, не низведя его к старым, традиционным формам, но в полном совершенстве, во всем его возвышенном облике, объявив открытую войну не на жизнь, а на смерть всему тому, как был устроен мир и наука... С Канта занялась утренняя заря; что из того, что там и сям, где-то на болоте лежит еде туман, ведь на вершинах гор уже играют солнечные лучи. Заря предшествует солнцу, и природа по-матерински заботится о нашем зрении, постепенно рождая день; раз занялась заря, солнце взойдет, осветит светом и жизнью все уголки, рассеет болотный туман».

Вот так писали письма в позапрошлом столетии! Не боялись возвышенных слов, принимали их всерьез, верили им. (Письмо — заготовка для книги: весь пассаж насчет занявшейся зари, вершин, освещенных солнцем, болотного тумана и неизбежности наступления светлого дня, — все это переключает в трактат Шеллинга «Я как принцип...».)

Германия переживала философскую революцию. Во Франции бушевала революция политическая, лилась кровь на полях сражений, баррикадах, под тесаком гильотины. Здесь же кипели умственные страсти, скрипели перья, опустошая чернильницы, работали печатные станки.

Философия перестала быть уделом кабинетных мудрецов, схоластов, не спеша шлифующих дефиниции, чье предназначение сводилось к игре ума посвященных. И еще не превратилась в пустопорожнюю ученость, сухой реестр концепций, без знания которых нельзя будет назвать себя образованным человеком. Философия жила живой, животворящей жизнью, уверенная в своем высоком призвании. Казалось: еще одно интеллектуальное усилие, и все проблемы решены, человечество вздохнет свободно. Это не преувеличение, вот слова Шеллинга: «Дайте человеку сознание того, каков он *есть*, и он быстро станет Таким, каким он *должен* быть; внушите ему в *теории* уважение к самому себе, и оно быстро осуществится на *практике*. Чтобы стать лучше, надо быть хорошим, именно поэтому революция в человеке должна начинаться с осознания своей сущности».

Записывая эти слова, Шеллинг не думает о том, что он студент, что над ним наставники, что перед ним экзамены, он живет одной мыслью — скорей, скорей лицезреть истину, скорей пережить волшебное мгновение, когда она откроется ему, скорей сообщить ее другим, В том, что она где-то рядом, он не сомневается, он уже чувствует ее приближение. Он верит в

свои силы. Хотя и не переоценивает их. И не забывает об авторитетах. Кант — для него ориентир. Новый ориентир — Спиноза.

«За это время я стал спинозистом, — пишет он Гегелю, — ты скоро узнаешь, каким образом. Для Спинозы мир (объект, противостоящий субъекту) — это *все*. Для меня — это *Я*. Мне кажется, что подлинное отличие критической философии от догматической состоит в том, что первая исходит из абсолютного (никаким объектом еще не обусловленного) *Я*, а последняя — из абсолютного объекта или не-*Я*. В своих конечных выводах эта философия ведет к системе Спинозы, а первая — к системе Канта». Шеллинг пытается (и будет Это делать всю жизнь!) совместить то и другое. В этом его отличие от Фихте.

Шеллинг восторгается Фихте. Но если он и был когда-либо фихтеанцем, то самое короткое время. Преподнося одному из друзей в конце 1794 года свое первое (написанное в духе «учения о науке») философское произведение — «О возможной форме философии», он в дарственной надписи цитирует Спинозу и приписывает по-гречески сакраментальную формулу пантеизма «эн кай пан» — «все — единое».

Пантеизм — отождествление природы и бога. Все есть бог, единосущее. Вне бога нет ничего, и нет никакого бога вне мира. Учение зародилось в древности, прошло через средние века и обрело новую жизнь благодаря Спинозе. В 80-х годах XVIII века в Германии возник «спор о пантеизме», сыгравший огромную роль в духовной жизни страны. (Если выход «Критики чистого разума» был главным событием эпохи, то полемику о Спинозе можно рассматривать как второе по значению.)

Все началось с того, что философ Якоби опубликовал содержание своей беседы с недавно скончавшимся Лессингом, в которой последний признался ему в своей приверженности к спинозизму. Против этого возражал Мендельсон: спинозизм был синонимом атеизма. Гердер, однако, полагал, что учение Спинозы можно совместить с религией. Вскоре о Лессинге забыли и спорили о природе сущего, о возможностях его рационального познания. Участие в полемике принял Кант, в нее были вовлечены Гёте, Форстер и многие другие. Интерес Шеллинга к Спинозе явно восходит к этому спору. О том, что Шеллинг был в курсе дела, свидетельствует хотя бы фраза из того письма к Гегелю, что мы только что цитировали: «Ортодоксальные понятия о божестве не существуют больше для нас». Именно так, по свидетельству Якоби, выразился Лессинг, открываясь ему в своих симпатиях к голландскому еретику.

Кант и Спиноза — главные действующие лица в той духовной драме, которую придется пережить герою нашей книги. Пока он создает пролог-

трактат «Я как принцип философии, или Безусловное в человеческом знании». Уже в первых абзацах введения к этой работе встречаются имена Спинозы и Канта. А о Фихте, странным образом, ни слова на протяжении всего произведения.

Этому обстоятельству удивлялись. Прежде всего сам Фихте. «Сочинение Шеллинга, в какой мере я смог его прочитать, представляет собой целиком комментарий к моему, — говорится в одном из его писем. — Почему он об этом молчит, я не совсем понимаю... Смею полагать, он не хочет, чтобы его ошибки, в том случае, если он меня неправильно понял, были отнесены на мой счет, мне кажется, что он меня боится».

Философские книги рекомендуется читать внимательно. Шеллинг пользуется фихтевской терминологией: «Я» означает для него абсолютный субъект, «не-Я» — объект, «Начало и конец любой философии — свобода». Это прямо по Фихте. «Человек рожден для действия». Это тоже в духе Фихте.

И все же есть некоторые, едва уловимые нюансы, которые не заметил Фихте, но которые отличают взгляды Шеллинга от фихтевского «учения о науке». И хотя Шеллинг еще не решается говорить о собственном учении, Гегель заявляет ему решительно — «твоя система».

От фихтевской она отличается интересом и почтением к объективному началу. Догматизм Шеллинг отвергает из-за недооценки субъекта, критицизм — из-за его переоценки. Между двумя крайностями «посредине лежит принцип Я, обусловленного не-Я, или, что то же самое, не-Я, обусловленного Я».

У Фихте тоже субъект изначально тождествен объекту, они слиты вместе, образуя нечто единое: субъект-объект. В чем же различие между двумя новаторами в философии? Гегель впоследствии напишет об этом специальную работу: Фихте обосновывает «субъективный субъект-объект», Шеллинг — «объективный субъект-объект». Все дело пока в еле заметных нюансах.

Расхождения между Шеллингом и Фихте, тщательно завуалированные выпады первого против второго видны в новой его работе «Философские письма о догматизме и критицизме», появившейся вслед за трактатом о Я. Здесь опять противопоставление двух крайних точек зрения. «Или нет субъекта, но зато есть абсолютный объект, или нет объекта, но зато есть абсолютный субъект. Как решить этот спор?» Догматизм противостоит критицизму.

Но почему Шеллинг превозносит Канта? «„Критика чистого разума“... обладает значимостью для всех систем, — или, так как все остальные

системы являются только более или менее верными копиями двух главных систем, — для обеих систем... Пока стоит философия, будет вместе с нею стоять и „Критика чистого разума“, и только она одна». По мнению Шеллинга, «Критика чистого разума» содержит в себе подлинное учение о науке, ибо она обладает значимостью для любой науки. «Критика чистого разума» — канон всех возможных систем.

Кого имеет в виду Шеллинг, критикуя «критицизм»? О ком сказано: ничто более не возмущает философский ум, как утверждение, что отныне вся философия должна двигаться в рамках какой-нибудь определенной системы. Для Шеллинга нет более возвышающего зрелища, чем бесконечный простор расстилающегося впереди знания. Все величие философии для него в том, что она не может быть завершенной.

Что это за «критицизм», которому надо доказывать вред умственной тирании, убеждать в праве философской мысли на свободу, призывать к терпимости?

Кого надо убеждать в том, что термин «философия» целесообразно сохранить? «Философия — какое прекрасное слово! Если позволено будет автору участвовать в голосовании, то он отдаст свой голос за сохранение старого слова». Фихте ввел новый термин «учение о науке», говорил о «так называемой философии». Видимо, против него и направлен шеллинговский пафос обличения «критицизма».

Главная задача всякой философии состоит в разрешении проблемы бытия. Как критицизм, так и догматизм не могут справиться с этой проблемой. «Если последний требует моего уничтожения в абсолютном объекте, то первый, наоборот, должен требовать, чтобы все, что зовется объектом, исчезло в моем *интеллектуальном созерцании* себя самого. В обоих случаях для меня пропадает всякий объект». Термина «интеллектуальное созерцание» у Канта нет, созерцание, по Канту, может быть только чувственным. Об интеллектуальном созерцании заговорил Фихте. Следовательно, речь идет здесь о нем.

Впоследствии, в зрелые годы, Шеллинг без обиняков назовет Фихте антиподом Спинозы. «Идеализм Фихте выступает как полная противоположность спинозизму, как спинозизм наизуоборот, поскольку абсолютному, уничтожающему все субъективное объекту Спинозы он противопоставляет субъект в его абсолютности, неподвижному бытию Спинозы — действие».

Любопытна и такая деталь. Биографы Шеллинга пытаются выяснить, послал ли молодой философ свои произведения, написанные в 1795 году, Фихте или не послал. Скорее второе: не сохранилось ни сопроводительного

письма Шеллинга, ни благодарственного Фихте. А недоуменный отклик Фихте на трактат «Я как принцип...» — «мне кажется, что он меня боится» — нам известен.

Зная крутой нрав Фихте, Шеллинг мог его опасаться. Внутренне он чувствует себя на равных с иенским профессором. В письмах к Гегелю упоминания о Фихте идут теперь без особенных восторгов (хотя выдержаны в достаточно почтительных тонах). Шеллинг сообщает о неприятностях, которые выпали на долю Фихте в Иене. (Тот вздумал наводить порядок в студенческих организациях, за что был освистан и на некоторое время принужден прервать чтение курса; порядок в Иенском университете наводили солдаты.) Подробности о делах в Иене он мог узнать от Гельдерлина, приехавшего летом 1795 года в Тюбинген. Это их первая встреча с тех пор, как поэт покинул университет. Шеллинг жалуется на то, что немного достиг в философии. Гельдерлин в ответ смеется: «Успокойся, ты преуспел ничуть не меньше Фихте, ведь я его слушал».

Итак в двадцать лет Шеллинг уже созрел как ученый, достиг профессорского уровня. Через три года он станет профессором. А пока он все еще студент. В промежутках между занятиями, в преддверии экзаменов он создает трактаты, привлекающие внимание ученой публики. В июне предстоит защита богословской диссертации, венчающей курс в Тюбингене. Как и в случае с философской диссертацией, защищенной на втором курсе, была возможность воспользоваться работой, написанной профессором. Шеллинг снова сам пишет диссертацию — «Об исправлении Маркионом посланий Павла». Тема взята из истории Священного писания. Шеллинг защищает Маркиона от обвинений в фальсификации первоначального текста. Вина за искажение текста ложится только на переписчиков. Защита прошла успешно.

Два трактата (правда, один — «Философские письма...» еще не окончен) и диссертация, не слишком ли много для полугодия? Едва магистр Шеллинг обрел искомую степень, как слег от переутомления в постель. Родители взяли его домой, остаток лета он провел у них и быстро восстановил свои силы. Из далекого Берна Гегель прислал увещание: ради близких своих и друзей береги здоровье, не скупись на время, предназначенное для отдыха.

Теперь Шеллинг самостоятельный человек. Отец подыскал ему подходящее место: учителя и воспитателя двух юных баронов Ридезель. (Все выпускники Тюбингена, не желавшие идти по духовной части, как правило, становились домашними учителями. С этого начинали Гегель и Гельдерлин.)

Воспитанники Шеллинга — Людвиг Георг Фридрих Карл Герман семнадцати лет и Фридрих Людвиг Карл Вильгельм пятнадцати лет. Родителей нет в живых, и опекуны обеспокоены тем, чтобы сироты получили достойное воспитание. Первым делом от Шеллинга требуют заверения в том, что он не демократ, не масон, не просветитель. Ему обещано путешествие с детьми в Париж. Правда, с одной существенной оговоркой, о которой он узнал, уже приступив к работе, — после того как во Франции будет восстановлена королевская власть. Считай, что никогда! Пока что предстоит поездка в Лейпциг, где отпрыски покойного барона будут приобретать высшее образование. Шеллинг рад и этой возможности покинуть Вюртемберг («страну попов и писарей»), повидать чужие края.

Осенью 1795 года Шеллинг едет в Штутгарт, где живут его ученики. Он полон грандиозных планов. Разумеется, не педагогических, а философских. Он не изменил своего намерения создать «Этику» à la Спиноза. Сверх того, нужно написать «Философию истории человечества» (à la Гердер?) и «Критику способности суждения» (à la Кант, только на свой манер). Все это так и останется в чернильнице. В Штутгарте он довел до конца «Философские письма о догматизме и критицизме». (В январе 1796 года отправил их Нитхаммеру, издававшему в Иене «Философский журнал».) Здесь же возникла еще одна работа — «Новая дедукция естественного права». Воспитанники Шеллинга готовятся к поступлению на юридический факультет, немудрено, что их наставник занялся проблемами права.

В Штутгарте происходит новая встреча с Гельдерлином, который едет во Франкфурт, чтобы занять там место домашнего учителя. Они говорят о философии, и поэт (в одном из своих писем) резюмирует: «Шеллинг немного отказался от своих первоначальных убеждений».

Что имел в виду Гельдерлин? Сказать с полной определенностью нельзя. А гадать не стоит. Ясно одно: взгляды Шеллинга не устоялись. (Да как они могут устояться в двадцать-то лет, когда все впереди!) Философ по-прежнему ищет истину. Последуем за ним.

«Новая дедукция естественного права» необычна по форме. Это 163 афоризма на этические темы. Шеллинг здесь опять-таки ближе к Канту, чем к Фихте. Последний занят был проблемой государственного переустройства, обоснованием права народа на революцию. Шеллинг думает о правах личности. Как совместить волю одного человека с волей других? И со «всеобщей волей», выраженной в общественных институтах? «Всеобщая воля определяется индивидуальной, а не индивидуальная всеобщей» — таков ответ. И наподобие кантовского категорического

императива Шеллинг формулирует свою моральную заповедь: «Поступай так, чтобы... благодаря твоему действию ни одно разумное существо не полагалось только в качестве объекта, но как содействующий субъект».

Иногда термин «естественное право» Шеллинг берет в буквальном смысле слова как «право природы». Можно ли совместить природу и свободу? «Если я вынужден господствовать в мире явлений и управлять природой по моральным законам, то причинность свободы должна проявить себя как физическая причинность». Написав этот афоризм, Шеллинг сопровождает его одобрительным примечанием и обещает «в другом месте» объяснить его смысл.

В «другом месте», в главных своих трудах, будет Шеллинг развертывать смысл и значение этих слов. Всякое бытие для Шеллинга будет означать обнаружение свободы. Природа живет, природа обладает свободой, нет пропасти между телом и духом, они тождественны. Это уже решительная заявка на будущую философию тождества. И это совсем не по Фихте: последний наделял свободой только действующий субъект.

Редактор «Философского журнала» Нитхаммер предлагает Шеллингу написать рецензию на программную работу Фихте «Основы общего учения о науке» (ту самую, первую часть которой автор прислал ему как единомышленнику в листах, не дожидаясь, когда она будет напечатана вся). Шеллинг соглашается: «С тем большим удовольствием, что у меня не было до сих пор достаточно времени изучить произведение как следует. Поэтому лестное Ваше суждение, будто я близко знаком с философией Фихте, преувеличено. Мне думается, что я схватил ее дух лишь в общих чертах». Шеллинг просит два месяца. Срок проходит, работа не выполнена. И тут в новом письме к Нитхаммеру возникает хитроумный пассаж, из которого можно понять, что писать рецензию ему не хочется и в обозримые сроки она написана не будет.

Отношения между Шеллингом и Фихте установились сложные. Второй считает первого своим последователем и не замечает разногласий. Что мешает Шеллингу открыто заявить о своих расхождениях с Фихте? Может быть, боязнь оказаться в одиночестве, потерять «Философский журнал», где его охотно публикуют. У Шеллинга вообще нет уверенности в завтрашнем дне. Он не знает, останется ли он домашним учителем у Ридезелей: если ему будут предъявлять претензии, которые расходятся с его принципами, то он вынужден будет уйти. Не исключено, что ему самому укажут на дверь и на хлеб придется зарабатывать литературными трудами. Тут еще нежданно-негаданно его скомпрометировали в печати.

Берлинский писатель (и издатель) Николаи в своих путевых заметках

посвятил несколько страниц трактату «Я как принцип философии...» и вообще «шеллингизму». «Магистр Шеллинг Второй» («Первый» — его отец) довел идеалистический бред профессора Фихте до крайности. Как можно такому человеку доверять воспитание детей? Молодой Шеллинг всегда темпераментно отвечал на критику, теперь он кипит от негодования, ищет встречи с Николаи, чтобы высказать все, что он о нем думает, готовит ответный памфлет.

В качестве воспитателя юных баронов Парижа не увидеть. А в Париж хочется. Об этом мы узнаем из писем Шеллинга к Георгу Кернеру. Земляк Шеллинга, вюртембержец, Кернер увлекся революцией, уехал во Францию и сблизился там с известным нам тюбингенским воспитанником Рейнгардом. Рейнгард получил назначение в Гамбург в качестве посла Франции, Кернер — его личный секретарь. Кернер влюблен в родственницу Шеллинга, который выступает посредником в их переписке. Шеллинг свидетельствует свое почтение Рейнгарду, а заодно зондирует почву насчет возможности отправиться во Францию («только на один год»).

Такой возможности не оказалось. Вместо запада его путь лежит на восток. Баронам Ридезель пора поступать в Лейпцигский университет. 28 марта 1796 года тронулись наконец в путь. Ехали не спеша, навещая родственников и знакомых, осматривая достопримечательности, останавливаясь в иных местах по несколько дней. В письмах Шеллинга к родителям мы находим подробный дневник путешествия.

Первая остановка Хайльбронн. На следующее утро после прибытия Шеллинг спешит в известную здесь частную коллекцию картин и гравюр. Запомнилось ему полотно Рубенса — женщины у могилы Христа. «Как все картины Рубенса, она выдержана в тонах небесного огня и света. Некоторые лица изображены так, как их могла только измыслить фантазия живописца. Вся картина наполнена тишиной и изумлением. Головы ангелов окружены нимбами. Для той эпохи много, очень много, что ангелы у Рубенса изображены без крыльев».

Обедали у тетки Людвиг Георга Фридриха Карла Германа и Фридриха Людвиг Карла Вильгельма — графини Дегенфельд. За столом — строгий придворный этикет, говорят только по-французски. Шеллинга принимают вежливо, но холодно и настороженно. Граф в основном молчит (если разговор не идет о дворянах, собаках и лошадях). Графиня — чопорная дама с кругозором чуть пошире, чем у супруга, — выпытывает у Шеллинга, не ведет ли он среди ее племянников французскую пропаганду, не воспитывает ли из них демократов и революционеров. Философ, как мог, старался ее разуверить.

Шеллингу придется еще не раз вместе со своими питомцами побывать в знатных домах. Обычно его ждет холодная вежливость, стремление сохранить дистанцию, недоверие. «Дворянский хлеб мне не так вкусен, как бургерский», — пишет он домой.

Впрочем, иногда он встречает теплый прием: Шеллинг уже приобрел литературную известность. «Забавно, как людям импонирует написанное слово». И еще одно житейское наблюдение вынесено из путешествия: незаурядные личности подчас любят окружать себя ничтожествами.

В Дармштадте обедали у тайного советника Гацерта, одного из опекунов баронских отпрысков. Не успевал его превосходительство открыть рот, как гости замолкали в сервильном внимании, все сказанное им принималось с восторгом. После обеда хозяин решил дать указания Шеллингу относительно его задач как воспитателя. Философ приготовился к вопросам относительно того, не собирается ли он совершить революцию, к претенциозным наставлениям. Ничего подобного! Пусть дети вырастут дельными и знающими людьми. Выберите из них дворянскую спесь и аристократизм, требовал тайный советник от Шеллинга. Теперь такое время: дворянству приходится выдерживать натиск третьего сословия, а бургеры в своем большинстве народ способный, образованный, напористый. Шеллинг и это принял к сведению.

Дорога в Дармштадт лежала через Гейдельберг и Маннгейм. Здесь недавно прошла война, и всюду были видны ее опустошительные следы — разрушенные дома, неубранные трупы лошадей, разбитое вооружение и снаряжение. Военное счастье изменчиво/Давно ли в Маннгейме находилась главная квартира французского генерала Пишегрю? Теперь в городе хозяйничали австрийцы, Шеллинг видел их парад; отличившимся раздавали награды. «Это было красиво, — сообщал он домой. — Но какие убожества австрийские офицеры! Водка и его величество кайзер — единственная тема их разговоров, чуть дальше, и они теряются».

— Среди писем к родителям отсутствует одно, в котором, видимо, описывалось пребывание во Франкфурте. Здесь Шеллинг не мог не встретиться с Гельдерлином. Но в переписке последнего тоже есть пробел. Так что о новом свидании тюрбингенских однокашников мы ничего не знаем.

Дальнейший маршрут вел через Эйзенах. Рядом с городом — Вартбург, замок, в котором Лютер переводил на немецкий Библию. К сожалению, там побывать не удалось. «Священная гора — когда-то приют преследуемой свободы. Как мне хотелось подняться на нее и бросить взор на окружающую местность, грубую и дикую, но величественную, как дух

Лютера».

Затем Веймар. Город переживал сенсацию: в местном театре выступал знаменитый драматический актер Иффланд. И здесь Шеллинга ждала неудача: в день их приезда давали оперу. Музыка Моцарта ему понравилась, но он охотно прожил бы еще два дня, чтобы увидеть Иффланда в роли Эгмонта. Задерживаться, однако, было нельзя.

За Веймаром — Иена. «Всемирно известная Иена — не что иное, как маленький, местами скверно построенный городок, в котором нет никого, кроме студентов, профессоров и филистеров». Шеллинг рассчитывал встретить здесь Фихте, но тот находился к отъезда. Компенсацией был визит к Шиллеру. Увы, от свидания с поэтом осталось неприятное впечатление. «Пробыть с ним долго я не смог. Это удивительно, как знаменитый писатель может быть таким робким в разговоре. Он смущается в опускает глаза. Что остается делать собеседнику? Его робость передается в еще большей степени тому, кто говорит с ним. Этот человек, когда пишет, как властелин обращается с языком, и приходит в затруднение из-за простейшего слова, когда говорит; он прибегает к французскому языку, не находя немецкого слова. Когда он поднимает глаза, в его взоре появляется что-то понижывающее, уничтожающее, чего я ни у кого другого еще не встречал. Может быть, это так только при первой встрече. Но для меня, во всяком случае, страница Шиллера-писателя приятнее, чем часовой разговор с Шиллером-собеседником. Шиллер не в состоянии сказать что-либо неинтересное. Но то, что он говорит, стоит ему усилий. И неприятно приводить его в такое состояние. Общение с ним не доставляет радости».

И вот, наконец, цель путешествия, продолжавшегося почти месяц, — Лейпциг. Было время весенней ярмарки. Город полон приезжими. «Самое интересное — наблюдать различные народы, пестрый калейдоскоп костюмов и вавилонское смешение языков». Шеллинга потянуло на книжный рынок. Ничего примечательного он там не обнаружил. Очарован он был внешним видом города. «Множество чудесных насаждений, каких нет в Штутгарте, аллеи, парки, пруды, сады с увеселениями, всюду музыка (пока длится ярмарка)».

Здесь ему предстояло прожить более двух лет — до осени 1798 года. Обязанности гувернера времени отнимали немного, обеспечивая безбедное существование. Вместе со своими знатными питомцами Шеллинг посещал окрестные достопримечательности, принадлежавшие местным магнатам, куда при иных обстоятельствах доступ ему был бы закрыт.

Однажды в компании студентов-дворян, среди которых был принц Дармштадтский, отправились в Верлиц, в восьми милях от города. Дорога

обсажена деревьями. У нас в Вюртемберге, объяснил Шеллинг родителям, это не принято: ландшафт живописен сам по себе, в Саксонии посадки единственная возможность скрасить унылую равнину. В Верлице все устроено «под античность». Комнаты в доме Для приезжих носят имена наиболее известных итальянских городов и украшены гравюрами с их изображениями. Шеллинг жил в «Геркулануме». Обычно летом в Верлице устраивали «праздник роз» — выдавали замуж самую добродетельную девушку. На этот раз хозяйка имения путешествовала по Италии, и праздник не состоялся. Шеллинг был рад: вся затея с выбором добродетели представлялась ему нелепой и лицемерной.

При осмотре замка Шеллинг, естественно, застрял в библиотеке. Его внимание привлек также парк. Среди густого кустарника — вход в «лабиринт». Над покрытым мхом каменным сводом надпись: «Путник, будь мудрым при выборе пути». Но никакого выбора не дано: идти можно только в подземелье. Идешь, и снова надпись: «Вернись назад, путник». Да идти, собственно, дальше и некуда — перед тобой глухая стена. Поворачиваешь назад и только тогда замечаешь, что в подземелье есть еще один ход. Над ним надпись: «Выбор труден, но в нем все дело». Этот ход выводит на поляну. Кругом тишина и благоухание акаций. С трудом находишь дорожку, идешь по ней, и перед тобой ротонда, а в ней бюст Лафатера и его изречение: «Пусть мои чувства сольются с твоими!» Входит ли в намерение Лафатера, чтобы его чувства слились с чувствами тупого виттенбергского бурша или подмастерья, который на него глазееет? Шеллингу смешны эти сентиментальные потуги.

В парке много красивых водоемов, через которые переброшены живописные мостики. Сам замок прост, но прекрасен. Князь построил его для своей жены, отсюда новая надпись: «Это воздвигла любовь». В замке им показали все комнаты: но где же хозяин, который, по словам проводника, был дома? Князь, оказывается, переходил из комнаты в комнату, чтобы не мешать посетителям.

И снова они выходят в парк, в этой его части храм иудейский, и храм греческий, посвященный Венере, и пантеон. Статуи греческих богов. Египетские истуканы. И еще одно величественное здание — храм Ночи, построенный из необтесанных камней. По лестнице можно подняться на крышу, верх выложен из черного камня, и ночью, если внизу горит огонь, здесь пляшут причудливые отблески. Как в Везувии, утверждает чичероне. (Сомневаюсь, комментирует Шеллинг, что это за Везувий над водами!) Внутри храма полная темнота, только над головой сияют звезды. Каких чудовищных расходов стоило все это великолепие!

В Верлице Шеллинг провел два дня. «Они принадлежат к самым приятным в моей жизни».

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРОИЗВОДЯЩАЯ ПРИРОДА

*Не то, что мните вы, природа,
Не слепок, не бездушный лик.*

Ф. Тютчев

В начале нашего века на одном из литературных аукционов Прусская королевская библиотека среди прочих рукописей приобрела пожелтевший исписанный листок. Знаток немецкой классики Франц Розенцвейг узнал руку молодого Гегеля и определил (по почерку!) время написания — 1796 год. Вчитываясь в текст, он поразился: содержание не укладывалось в традиционные представления о Гегеле. Розенцвейг читал Шеллинга и ему приписал авторство найденного фрагмента. Гегель, мол, выступил в роли простого переписчика. Под условным названием «Первая программа системы немецкого идеализма» фрагмент стали включать в сборники работ Шеллинга.

Фрагмент не имеет начала. Написан он ярко, темпераментно, афористично. Вот наиболее существенные его места: «В будущем вся метафизика сольется с моралью... Этика станет не чем иным, как завершенной системой всех идей, или, что то же самое, всех практических постулатов. Первую идею, естественно, составляет представление о себе самом как об абсолютно свободном существе. Одновременно со свободным, сознающим себя существом возникает целый мир — из ничего — единственно истинное и мыслимое творение из ничего. Здесь снизойду я на нивы физики... Только в том случае, если философия даст идеи, а опыт — данные, мы сможем, наконец, получить большую физику, которую я предвижу в будущем...

От природы я перехожу к делам человеческим. Прежде всего идея человечества; я покажу, что не существует идеи государства (ибо государство есть нечто механическое), так же как и не может быть идеи машины. Идею составляет только то, что имеет своим предметом свободу. Следовательно, мы должны выйти за пределы государства! Ибо любое государство не может не рассматривать людей как механические шестеренки, а этого как раз делать нельзя, следовательно, оно должно

исчезнуть... Одновременно я изложу принципы истории человечества и разоблачу до конца все эти жалкие творения рук человеческих — государство, конституцию, правительство, законодательство...

В завершение идея, которая все объединяет, идея красоты в самом высшем платоновском смысле слова. Я убежден, что высший акт разума, охватывающий все идеи, есть акт эстетический и что истина и благо соединяются родственными узами лишь в красоте. Философ, подобно поэту, должен обладать эстетической силой. Люди, лишенные эстетического чувства, а таковы наши философы, — буквоеды. Философия духа — это эстетическая философия. Ни в одной области нельзя быть духовно развитым, даже об истории нельзя рассуждать серьезно, не обладая эстетическим чувством...

А поэзия благодаря этому обретает высшее достоинство, она в конце концов становится тем, чем была вначале, — наставницей человечества; не станет более философии, не будет истории, одна поэзия переживет все науки и искусства...

...Я разовью идею, которая, насколько мне известно, Никому не приходила в голову: мы должны создать новую мифологию, но эта мифология должна стоять на службе идей, быть мифологией разума».

И тогда, по мнению автора, наступит рай на земле. «Только тогда станет возможным равное развитие всех сил как каждого, так и всех индивидов, воцарится всеобщая свобода и равенство духа! Высший дух — посланец неба — создаст среди нас эту новую религию, которая Станет последним, самым великим деянием человечества».

Фрагмент привлек внимание исследователей. Смущало при этом одно обстоятельство: Шеллинг, хотя и был натурой поэтической, хотя и обладал развитым чувством красоты, но в юные годы не ставил эстетику в центр философской системы. Весь абзац, прославляющий поэзию как высшую потенцию духа, казался вышедшим из-под пера Гельдерлина. И вскоре появилась работа, которая обосновывала принадлежность фрагмента Гельдерлину. При издании Полного собрания сочинений поэта фрагмент был в него включен.

Помилуйте, протестовали гегелеведы, нарушена презумпция авторства, фрагмент написан рукой Гегеля, докажете сначала, что он не был его автором, а потом уже стройте предположения, кто бы еще мог его написать. Текст не укладывается в систему взглядов зрелого Гегеля, не ведь зрелый и ранний Гегель в некоторых аспектах — антиподы. «Первая программа системы немецкого идеализма» вошла в сборник ранних работ Гегеля и в все его Собрание сочинений, В 1969 году в ФРГ собралась

научная конференция, посвященная вопросу, кто автор загадочного листочка. Опубликованные ее материалы составляют целый фолиант. Судили-рядили, но к единому мнению не пришли. Чуть ли не каждое слово фрагмента стало предметом внимательного рассмотрения. Смотрите, говорил оратор, приписывавший авторство Шеллингу, вот оборот «нивы физики», у Гегеля такого нет, а у Шеллинга в одной из работ он встречается. Но, впрочем, возражал он сам себе, слово «шестеренки» не шеллинговское, а гегелевское. И приводил соответствующую цитату.

Большинство участников конференции склонялись к тому, чтобы признать автором фрагмента Гегеля. Мне представляется это справедливым. Пусть зрелый Гегель обожествлял государство, но в юности он держался иных взглядов. Вот что он писал летом 1795 года Шеллингу: «Я внутренне ощущаю плачевность такого состояния, когда государство проникает в сокровенные глубины нравственности с намерением управлять ею; состояние это плачевно даже в том случае, если государство руководствуется благими намерениями, и бесконечно печальнее, когда у кормила стоят лицемеры; последнее должно обязательно произойти, если даже вначале имелись добрые намерения». Прочтите «Жизнь Иисуса», написанную Гегелем в то же время, и вы убедитесь: приведенная цитата не обмолвка. «Жизнь Иисуса», кстати, свидетельствует и том, что Гегель мог не быть серым стилистом.

Против авторства Шеллинга говорит еще одно обстоятельство: тон фрагмента самоуверенный, но все же недостаточно уверенный. За непререкаемостью формулировок прячется почти детская амбициозность. Шеллинг, уже будучи студентом, сложился как знающий себе цену литератор. Его планы — это книги (мы помним: «Этика» à la Спиноза, «Философия истории человечества» à la Гердер, «Критика способности суждения» à la Кант), об утопическом переустройстве человечества он не помышляет.

И все же было бы неверно исключать «Первую программу системы немецкого идеализма» из числа документов идейного развития Шеллинга. Рукою Гегеля (пусть косвенно!) водили мысли Гельдерлина и Шеллинга. От последнего идет и идея «новой мифологии», и особенно интерес к «большой физике».

В Лейпциге Шеллинг не только развлекался. Он ходил на лекции в университет, слушал естественнонаучные курсы, увлекался медициной. И корпел над книгами. Любовь к природе, возникавшая еще в детстве, дополнилась стремлением проникнуть в ее суть.

«Природа! Окруженные и охваченные ею, мы не можем ни выйти из

нее, ни глубже в нее проникнуть. Непрошенная, неожиданная, захватывает она в вихрь своей пляски и несется с нами, пока, утомленные, мы не выпадаем из рук ее.

Она творит вечно новые образы; что есть в ней, того еще не было; что было, не будет, все ново, — а все только старое. Мы живем посреди нее, но чужды ей. Она вечно говорит с нами, но тайн своих не открывает. Мы постоянно действуем на нее, но нет у нас над нею никакой власти.

Она все. Она сама себя и награждает, и наказывает, и радуется, и мучит. Она сурова и кротка, любит и ужасает, немощна и вселюбяща. Все в ней непрестанно. Она не ведает прешедшего и будущего; настоящее ее — вечность. Она добра. Я словословлю ее со всеми ее делами. Она премудра и тиха. Не вырвешь у ней признания в любви, не выманишь у ней подарка, разве добровольно подарит она».

Этот отрывок заимствован из статьи «Природа», которую долгое время считали произведением Гёте. Сам поэт на склоне лет считал так, хотя в действительности она была написана чужой рукой и лишь просмотрена (в 1782 г.) Гёте перед публикацией в рукописном журнале. Шеллинг вряд ли был с ней знаком, но она прекрасно передает новое умонастроение магистра богословия, повернувшегося лицом к природе. Здесь и благоговейное отношение к прародительнице, и стремление проникнуть в ее тайны. О насилии над природой пока речи быть не может: человек полон пиетета к ней, клянется в любви и верности. И совсем не уверен в своих силах.

Детство и молодость Шеллинга были отмечены выдающимися достижениями естествознания и техники. За год до его появления на свет Пристли открыл кислород. В 1777 году Лавуазье создал теорию горения, а Форстер отправился в кругосветное путешествие, описание которого расширило знания европейцев о заморских странах. В 1781 году Гершель открыл планету Уран. Через два года поднялся в воздух аэростат братьев Монгольфье, а Лавуазье осуществил синтез воды. Еще через год Уатт создал паровую машину. В 1785 году Кулон формулирует закон взаимодействия электрических зарядов. В девяностые годы разгорается спор между Гальвани и Вольтой о «животном электричестве». (Гальвани обнаружил удивительное явление: мышцы препарированной лягушки сокращаются, если коснуться их и одновременно нервов металлическим предметом; он высказал предположение, что живому организму присущ особый вид электричества. Вольта доказал, что в опытах Гальвани лягушка представляет собой не источник электричества, которое возникает в металле, а только измерительный прибор. Так был открыт электрический

ток.)

Может ли философ помочь естествоиспытателю? Он может и помешать ему, полагает Шеллинг. Пришел черед Шеллинга споткнуться о кантовскую вещь «саму по себе». Давно ли он превозносил «Критику чистого разума», видел в ней всеобщий канон? Теперь Шеллинг утверждает иное: «В то время как кантианцы — в неведении относительно того, что происходит вокруг, — все еще носятся с призраком вещи самой по себе, ученые подлинно философского склада без шумихи совершают открытия, на которые вскоре непосредственно будет опираться вся здоровая философия».

Шеллинг советует противопоставить дух кантовского учения его букве и исходить из того, что «мы действительно познаем вещи, каковы они сами по себе, т. е. между представляемым и действительным предметом нет никакой разницы». (Совет противопоставить дух букве всегда хорош; и все же есть существенная разница между предметом и представлением: первый действительно существует сам по себе, а второе исчезает вместе с представляющим субъектом; кроме того, представление хоть и дает правильное знание о реальном предмете, но не исчерпывает его. Это и имел в виду Кант, создавая свое учение о вещах «самих по себе».)

Обе приведенные цитаты заимствованы из новой работы Шеллинга, опубликованной в 1797 году в иенском «философском журнале», «Общий взгляд на новейшую философскую литературу». Впоследствии Шеллинг дал этой работе другой заголовок, более точно передающий содержание: «Очерки, поясняющие идеализм учения о науке».

Здесь впервые Фихте назван им как глава нового направления. Шеллинг говорит о фихтеанстве как о «более высокой философии» по сравнению с учением Канта. Кант преодолел дуализм лишь в этике, провозгласив автономию воли; Фихте распространил этот принцип на всю философию.

Превознося Фихте, Шеллинг все же ищет свой собственный путь: Фихте весь погружен в дела человеческие, Шеллинга волнует проблема природы.

В природе он видит духовное начало. «Это всеобщий дух природы, который постепенно формирует для себя грубую материю. От порослей мха, в котором едва заметен след организации, до благородных образов, которые как бы сбросили оковы материи, господствует всюду один и тот же порыв, который устремлен к одному и тому же идеалу целесообразности, приближаясь бесконечно вперед к одному и тому же прообразу, воспроизводящему чистую форму нашего духа.

Никакая организация немыслима без продуктивной силы. Хотелось бы мне знать, как подобная сила может проникнуть в материю, если рассматривать ее как вещь саму по себе. Не надо бояться определений. Нельзя сомневаться в том, что ежедневно происходит на наших глазах. В вещах вне нас есть продуктивная сила. Но такая сила может быть только силой духа. Вещи не могут быть вещами самими по себе, вещами благодаря самим себе. Они могут быть только продуктами духа».

Шеллинг говорит об «иерархии организаций», «переходе от неживой к живой природе» и видит в этом творческую силу духа. Источником духовной силы является «хотение», волевой импульс.

Только не следует Шеллингу приписывать абсурдный взгляд, будто «Я создает себе не-Я». Так утверждал Рейнгольд, которого Шеллинг критикует в своей статье. Шеллинг настаивает на «изначальной нераздельности деятельности и страдательности», на том, что изначально существует только «самовозбуждающаяся, самоопределяющаяся природа».

Когда философ основательно интересуется природой, то должна возникнуть философия природы. С Шеллингом так и получилось. Полное название его труда, который он выпустил, едва достигнув двадцати двух лет, и который принес ему не просто известность, но и громкую славу, — «Идеи к философии природы как введение в изучение этой науки». В заголовке можно увидеть определенную перекличку с главным трудом Гердера — «Идеи к философии истории человечества». Есть только одно еле уловимое, для русского читателя трудно объяснимое раз личие. Гердер не сомневается в правильности найденного решения и употребляет определенный артикль, указывающий на то, что может существовать только одна философия истории — *Ideen zur Philosophie der Geschichte*. Шеллинг пользуется неопределенным артиклем — *Ideen zu einer Philosophie der Natur* — строгий перевод: «Идеи к одной философии природы» (которая не исключает возможности другой). Шеллинг уверен в себе, но не самоуверен, терпим и осмотрителен. Претензия на исключительное обладание истиной ему всегда будет чужда и противна. Гегель начнет позднее, но, начав, уже не будет останавливаться, том за томом последовательно строить систему. Шеллинг же так и останется при изложении общих принципов. Он будет начинать, бросать, браться за другое, утверждать прямо противоположное с тем, чтобы в зрелые годы бросить все публикации совсем. Из-под его дера будут выходить только гениальные фрагменты.

Таким фрагментом остались и «Идеи к философии природы». Вопросов здесь больше, чем ответов. Шеллинг выпустил две части, обещал

третью, но она так и не возникла.

Открывает книгу своеобразное историко-философское введение. В нем ставится кардинальный вопрос, как возникают у нас представления о вещах. Предмет и знание о нем — причина и действие. Казалось бы, все ясно. Но почему философы не могут договориться и ведут непрекращающиеся споры о духе и материи, создают системы одна головоломнее другой. Странные люди — философы: казалось бы, повседневный опыт опровергает их хитроумные построения. Как можно плыть против течения в потоке очевидностей? Если бы Платон прочитал Локка, он устыдился бы и удалился с позором, неужели так? Иной готов поучать самого Лейбница и убежден, что за час разговора смог бы объяснить ему все ошибки и обратить в свою веру. Сколько неоперившихся глупцов потешались над прахом Спинозы!

Спиноза был первым, кто отождествил материю и дух. И все же вопрос — как я, мыслящая материя, осознаю окружающий мир — остался у него без ответа. Попытку ответа мы находим у Лейбница, утверждавшего изначальное бытие мыслящих индивидуальностей и «предустановленную гармонию» между порядком вещей и порядком идей. Увы, это не ответ.

Ответ можно получить, только обратившись к изучению самой природы. К природе надо применить лейбницевскую идею вечного становления (бытия нет, есть становление!). Природа — это жизнь, мертвой природы нет; пусть в ограниченной степени, но и в неорганической материи бьется пульс жизни, теплится всеоживляющая мировая душа. Слабость Лейбница в том, что он смотрел на мир как на механизм. А мир — это органическое целое. Природа должна быть понята как зримый дух, а дух — как невидимая природа, оба начала едины, более того — тождественны. Проблему надо решать не «сверху», путем установления общих принципов, а «снизу», исходя из опыта и достигнутых на его основе обобщений. Поэтому изучайте природу, наблюдайте за ней, испытывайте ее — и перед вами раскроется величественная картина ее единства!

Шеллинг в курсе новейших достижений естествознания. Осмысливая их, он пролагает пути для новых открытий. Он много размышляет над волнующей загадкой природы, с которой совсем недавно столкнулась наука, — над электричеством. Сопоставляя электричество с магнетизмом, находит между ними много общего. Пройдет четверть века, и датчанин Эрстед откроет явление электромагнетизма.

Открытие Эрстеда произошло случайно. Но, как отмечает Дж. Бернал в своей книге «Наука в истории общества», Эрстед, «вдохновленный унитарными идеями *натурфилософии*, в течение тринадцати лет

несомненно пытался найти связь между электричеством и магнетизмом». Философ дает натуралисту направление поиска, эвристический импульс.

«Унитарные идеи», которые вынашивая Шеллинг, — это мысли о единстве природы. Нет в ней разобщенных субстанций, неразложимых первоэлементов, какими с древних времен привыкли считать воздух, воду, огонь. Разложить на составные части воздух и воду удалось химикам в XVIII веке. Что касается огня, то восемнадцатое столетие сначала укрепило, но потом начисто отвергло, теорию флогистона — специального вещества, которое будто бы выделяется при горении. Было доказано, что нет и «теплорода», специальной материи теплоты. «Отпадают, — пишет Шеллинг, — все абсолютные качественные различия материи, которые ложная физика фиксирует и закрепляет в понятиях так называемых „субстанций“: вся материя внутренне едина и по существу представляет собой тождество». Материя для Шеллинга — «всеобщий зародыш универсума», отсюда можно вывести всё сущее. «Дайте мне атом материй, и я покажу вам, как познать вселенную!» — таков его девиз.

Обращает на себя внимание тот живой интерес, какой идеалист Шеллинг проявляет к проблеме материи. Эта проблема будет волновать его долгие годы, и это неудивительно: ведь естествоиспытатель не может не быть стихийным материалистом. А Шеллинг полон почтения к естествознанию.

Пока он считает материю косным началом: «Невозможно движение материи без внешней причины». Вместе с тем на движение он смотрит достаточно широко, говорит не только о механическом перемещении тела в пространстве, но и о других видах движения, в частности о химическом.

Проблемами химии завершается труд. Его продолжение Шеллинг мыслил как учение об органической природе и научной психологии. Но продолжение так и не появилось. Почему?

Об этом можно только догадываться. Но догадаться можно! Год спустя, после выхода «Идей...», Шеллинг выпускает новую работу — «О мировой душе». Здесь он как бы начинает все сначала, речь идет опять о свете и горении, магнетизме и электричестве. Но некоторые акценты расставлены иначе. Заслуживает внимания следующий тезис: «Изначальное движение свойственно материи как таковой... Всякий покой, всякое устойчивое состояние тела относительно. Тело покоится лишь относительно данного определенного состояния материи».

И еще одна важная мысль (промелькнувшая в «Идеях...») ставится здесь во главу угла — материя представляет собой единство противоположностей. Шеллинг рассматривает «закон полярности как

всеобщий мировой закон», он говорит о «всеобщем дуализме» природы.

«Любая действительность предполагает уже раздвоение. В явлениях действуют противоположные силы. Учение о природе, следовательно, предполагает в качестве исходного принципа *всеобщую двойственность*, а чтобы постичь ее — *всеобщее тождество* материи. Ни принцип абсолютного различия, ни принцип абсолютного тождества не дают истины, истина заключена в *их объединении*».

Ради таких выводов стоило начать все сначала! И это не все.

Вот методологическое приложение найденных принципов к конкретной научной проблеме. Речь идет о природе света. Со времен Ньютона и Гюйгенса боролись две теории — корпускулярная и волновая. «Если я утверждаю материальность света, — пишет Шеллинг, — то я не исключаю противоположного взгляда, а именно, что свет представляет собой феномен колеблющейся среды... Насколько мне известно, и сторонники Ньютона, и сторонники Эйлера признают, что каждая из этих теорий имеет свои трудности, которые устранят противоположные. Может быть, лучше, чем противопоставлять эти взгляды, рассматривать их как взаимные дополнения с тем, чтобы объединить их сильные стороны в *единой гипотезе*».

(Пройдет сто с лишним лет, и в 1923 году Луи де Бройль создаст синтетическую теорию света, объединившую идеи корпускулы и волны. Эйнштейн скажет о работе де Бройля: «Хотя кажется, что ее писал сумасшедший, написана она солидно». Философия — резервуар «безумных» идей, в которых нуждается естествознание!)

Опираясь на идею единства противоположностей, Шеллинг пытается разгадать тайну жизни. Кант в своей «Критике способности суждения», обрисовав специфику органических явлений, заявил о невозможности объяснить их на основе доступных науке того времени принципов. (Наука отождествлялась тогда с механикой.) Одного механизма природы еще недостаточно, чтобы по нему мыслить себе возможность организма. Эта возможность, по мнению Канта, заложена в «сверхчувственном субстрате» природы.

Для «сверхчувственного субстрата» природы придумали название — «жизненная сила». Среди естествоиспытателей XVIII столетия был широко распространен взгляд, согласно которому носителем жизни служит эта магическая сила, недоступная научному разумению. Были, впрочем, и такие, которые считали, что для объяснения жизнедеятельности достаточно «мертвых химических сил». Шеллинг, как и в проблеме света, предлагает найти компромиссное решение, «объединить то и другое». На этот раз,

правда, он не опережает натуралистов, а использует их результаты.

Речь идет о работах Александра Гумбольдта. Он начинал с увлечения теорией «жизненной силы». С достаточной строгостью не раскрыв этого понятия, Гумбольдт пытался дать ему образное выражение. В шиллеровском журнале «Оры» появился в 1795 году его этюд «Жизненная сила, или Родосский гений».

«Родосский гений» — название аллегорической картины, смысл которой не могли постигнуть жителя города Сиракузы, где она хранилась. На полотне были изображены обнаженные юноши и девушки. Охваченные чувственным порывом, они простирали друг к другу руки, но глаза их были устремлены к гению, который парад над ними. На плече у него сидел мотылек, в руке он держал горящий факел. Гений повелительно смотрел на толпу, и она подчинялась его взору. Никто не мог дать правильное толкование картины, пока в Сиракузах не появилось другое аналогичное произведение. На новой картине гений был изображен без мотылька на плече, с опущенной головой, с потухшим факелом. Окружавшие его юноши и девушки держали друг друга в объятиях, их взоры не были тусклы и покорны, как раньше, в них светилась радость освобождения от оков.

Философ Эпихарм, повествовал Гумбольдт, сравнив обе картины, раскрыл их тайный смысл. Гений и мотылек на его плече — символ жизненной силы; земные начала стремятся сочетать себя друг с другом, но гений заставляет их подчиниться его власти. Но вот жизненная сила иссякла, мотылек улетел, угас опрокинутый факел, земные вещества снова вступают в свои права, освободившись от посторонней им силы, они отдаются своим влечениям. День смерти становится для них днем обручения.

«Родосский гений» понравился публике, но не принес успокоения автору. Гумбольдт — естественник, и он ставит опыты. И вдруг они убеждают его в том, что никакой «жизненной силы» нет и быть не может. Нельзя называть особыми силами то, что происходит как взаимодействие материальных сил, ранее уже известных в отдельности. Органическая жизнь — особый тип связей, равновесие элементов в живой материи сохраняется благодаря тому, что они являются частями целого, нарушение связи между частями ведет к гибели целого и частей.

Об этом говорит А. Гумбольдт в новой своей работе «Опыты о раздраженных мускульных и нервных тканях, наряду с предположениями о химическом процессе жизни в животном и растительном мире». Работа увидела свет за год до появления книги «О мировой душе», Шеллинг хорошо знаком с ней. К формулировкам Гумбольдта он добавляет свои не

менее категоричные:

«Понятие жизненной силы — абсолютно пустое понятие».

«Принцип жизни не внесен извне в органическую материю (наподобие некоей инъекции), наоборот, этот принцип создала себе сама органическая материя».

«Я полностью убежден, что органические процессы в природе можно объяснить, исходя из естественных принципов».

Трудность состоит в том, что в живом организме природа реализует принцип индивидуальности: в каждом живом существе протекают сходные процессы, но протекают уникально. В организме реализует себя и принцип свободы, хотя последняя не устраняет действия закономерностей. Жизнь — единство общего и индивидуального.

Общее свойство живого организма — раздражимость, способность реагировать на нарушение внешнего и внутреннего равновесия. «Открыть ее причины — значило бы разгадать тайну жизни». В поисках разгадки Шеллинг идет здесь путем диалектически мыслящего натуралиста. Жизнь, настаивает он, представляет собой единство двух материальных процессов — распада и восстановления веществ. «В живом организме должна поддерживаться непрерывная смена материи». Питание и окисление пищи — вот что составляет жизнедеятельность.

А как быть с «мировой душой», упоминание о которой вынесено в заголовок работы Шеллинга? Философ вспоминает о ней лишь в последнем абзаце книги. Он говорит о всеобщей непрерывности естественных причин и отмечает, что еще древняя философия предвосхитила эту идею в рассуждениях о «мировой душе».

Название «О мировой душе» могло бы больше подойти к следующему труду, опубликованному в следующем (1799) году, — «Первый набросок системы натурфилософии». Строго говоря, это уже третья попытка изложить принципы философии природы. Но Шеллинг только здесь впервые использует термин «натурфилософия» для обозначения своего учения (как называл Кант «критицизмом» свою философию, а Фихте «учением о науке» свою).

В «Первом наброске...» четко сформулирован тезис о деятельном, производящем характере природы, о ее развитии. Изначально природа — не продукт, а продуктивность. Шеллинг говорит об эволюции природы. Было бы вместе с тем ошибкой видеть в его словах современную эволюционную теорию. В XVIII веке эволюцией называли развертывание

уже имеющихся признаков (находившихся в свернутом состоянии). Эволюции предшествует инволюция — свертывание, реформация, то есть предварительное образование признаков. Итог размышлений Шеллинга в этой книге: «Природа представляет собой развитие из первоначальной инволюции. Эта инволюция не может быть, судя по вышеизложенному, чем-либо реальным, ее можно представить себе как абсолютный синтез, который лишь идеален».

Шеллинг набрасывает картину одухотворенной природы, ее эволюция идет от организма к... механизму. Шеллинг говорит о ступенях, «по которым природа постепенно спускается от органического к неорганическому». Распад организма дает неорганические вещества. Мертвая материя — кладбище живой.

Происхождение небесных миров нельзя объяснить механическими законами (как это делал Кант). Наша планетная система возникла не в результате концентрации и нагревания первоначально холодной массы, а в результате взрыва и «экспансии» материи. Возможен и обратный процесс инволюции, «возвращения природы к себе самой». Перед глазами Шеллинга встает картина своего рода пульсирующей вселенной, как бы живого организма, который живет, умирая и рождаясь заново.

Проходит несколько месяцев, и выходит еще одна работа Шеллинга. Он назвал ее «Введение к наброску системы натурфилософии». На самом деле она не столько «вводит» в изложенную выше концепцию, сколько исправляет ее. Свои исходные принципы философ меняет как перчатки. Теперь Шеллинг разделил свою область знания на две самостоятельные науки с прямо противоположными основоположениями — натурфилософию и трансцендентальную философию. Первая — наука о природе, она выводит идеальное из реального, вторая — наука о духе, она поступает наоборот. Перед нами своеобразный вариант дуализма. Стремление совместить противоположности сказалось и на самом мировоззрении Шеллинга.

«Спинозизмом физики» называет теперь Шеллинг натурфилософию. «Отсюда следует, что в этой науке невозможны никакие идеалистические способы объяснения... Любой идеалистический способ объяснения, перенесенный из своей специфической области в природу, вырождается в авантюристическую бессмыслицу, примеры которой известны. Первое правило подлинного естествознания — объяснять все естественными силами — принимается нашей наукой в полном объеме и распространяется на ту область, перед которой доньше привыкла останавливаться естественнонаучная мысль».

Наша наука, поясняет Шеллинг, «не что иное, как физика, только физика умозрительная; по своей тенденции это то же самое, что представляют собой системы древних физиков, а в новейшее время — система восстановителя эпикурейской философии Лесажа, благодаря которой после долгого научного сна в физике снова пробудился дух умозрения».

И опять Шеллинг повторяет: не смотрите на природу только как на продукт, она сама производит свои феномены. «Природу только как продукт (*natura naturata*) мы называем природой в качестве объекта (любая эмпирия этим ограничивается). Природу как продуктивность (*natura naturans*) мы называем природой в качестве субъекта (этим занимается теория)».

Если рассматривать природу только в качестве объекта, то неведомым останется источник ее движения. Он в ней самой. Чтобы его обнаружить, необходимо найти в природе субъективное начало, заложенную в ней раздвоенность. Электричество представляет собой всеобщую схему структуры материи.

Во «Введении к наброску...» Шеллинг упоминает вновь о ступенях бытия («потенциях») природы. Он имеет в виду теперь не нисхождение, а восхождение форм. И вот уже принципиально новый вывод: «Неорганическая природа представляет собой продукт первой потенции, органическая — второй... Поэтому неорганическая природа предстает как существующая от века, а органическая как возникшая». Материалистический вывод? Вполне. Можно ли Шеллинга считать материалистом? Не следует, «Введение к наброску...» заканчивается компромиссом: «Различие между органическим и неорганическим лежит в природе как объекте: априорно изначальная продуктивность природы витает над тем и другим».

В своих сомнениях, шатаниях и исканиях Шеллинг доходил иногда до весьма решительных заявлений. Вскоре после «Введения к наброску...» он сочинил поэму (320 строк) «Эпикурейский символ веры Гейнца Видерпоста». Это удивительное произведение. Прекрати он писать после нее, сохранись только она одна, мы могли бы считать, что немецкая философия в лице Шеллинга располагала отчаянным материалистом и атеистом.

Одно я усвоил раз навсегда:
Кроме материи — все ерунда.
Она — наш верный друг и хранитель,

Всего, что на свете есть, прародитель.
Она всех мыслей мать и отец,
Познания начало, незнания конец.
И тут совсем ни ври чем откровенье,
Чего-то незримого благоволение.
Если я верю в какого-то бога,
То только в такого, что можно потрогать.

К. Маркс не случайно сравнил молодого Шеллинга с Фейербахом; обращаясь к Фейербаху, он говорил: «Искренняя юношеская мысль Шеллинга, которая осталась у него фантастической мечтой, для Вас стала истиной, серьезным мужественным делом».^[2]

У А. Герцена были все основания сопоставить Шеллинга с Гёте. В «Письмах об изучении природы» он славит Гёте — «поэта-мыслителя», объединившего философское умозрение с эмпирическим естествознанием. (И приводит в собственном переводе, который я цитировал, стихотворение в прозе «Природа», считая, что оно принадлежит Гёте.) Рядом с «поэтом-мыслителем» он называет «мыслителя-поэта» — Шеллинга. И пишет: «Он обращал философию к природе как к необходимому Дополнению, как к своему зеркалу. Торжественно было зрелище возвращающегося на землю человечества в лице передовых людей своих — в лице поэта-мыслителя и мыслителя-поэта, склонявшихся на родную грудь общей матери...

Шеллинг, как Вергилий Данте, только указал дорогу, но так указывает и таким перстом один гений. Шеллинг принадлежит к тем великанам и художественным натурам, которые непосредственно, инстинктуально, вдохновенно овладевают истиной... Шеллинг — vates ^[3] науки».

Любопытно, что Гёте в старости, признав статью «Природа» за свою, критически к ней отнесся. Статье, по его мнению, не хватает двух понятий — полярности и потенцирования (ступеней бытия). «Первое принадлежит материи, поскольку мы мыслим ее материальной, второе, напротив, ей же, поскольку мы мыслим ее духовной; первое состоит в непрестанном притяжении и отталкивании, второе — в вечно стремящемся подъеме. Но так как материя без духа, а дух без материи никогда не существует и не может действовать, то и материя способна подниматься по ступеням, так же как и дух не в состоянии обойтись без притяжения и отталкивания». Гёте говорит здесь языком Шеллинга, мыслит его категориями.

Мы познакомились с течением мысли молодого Шеллинга. А как течет его жизнь? О чем думает он, помимо натурфилософии? Что заботит его?

Главная литературная забота Шеллинга по приезде его в Лейпциг — ответ Николаи. Рассудительный Нитхаммер в письмах отговаривает его от этой затеи. Связываться с влиятельным берлинским издателем опасно. Но Шеллинг жаждет мести. «Разоблачить и высечь» обидчика — вот что он должен сделать. «Я выведу Николаи на чистую воду как жалкого пакостника, я заставлю его, как школьника, повторять урок, а сам появлюсь потом с клеткой и передам дело в суд».

На сочинение своего «Анти-Николаи» Шеллинг потратил уйму времени. Но памфлет не появился: то ли благоразумие взяло верх, то ли не нашлось издателя, сказать трудно. До нас памфлет не дошел. Рукопись долго лежала в Иене у Нитхаммера; в одном из писем к нему Шеллинг просит извинения за причиненные хлопоты и предлагает «бросить весь этот хлам в огонь». Нитхаммер, видимо, не преминул воспользоваться советом. Шеллинг утешился тем, что, отвечая в печати другому критику трактата «Я как принцип философии», позволил себе мимоходом лягнуть и Николаи. И тем, что Шиллер (которого также задела в «Путевых заметках») опубликовал 20 эпиграмм, высмеивающих берлинского издателя. Одна из них особенно понравилась Шеллингу, и он процитировал ее в письме к отцу:

Много диковинных мест исколесил Николаи.

Только в стране разума ему никогда не бывать.

Шеллинг часто пишет домой: его беспокоит судьба близких. В родные края пришла война. На швабскую землю вторглись французы, немецкие поражения следуют одно за другим. В июле 1796 года герцог Вюртембергский Фридрих Евгений запросил мира. Условия прекращения военных действий суровы: огромная контрибуция деньгами и натуральными, а также расквартирование французских войск на территории Вюртемберга. Французы заняли Штутгарт и Тюбинген.

Родным он пишет: «Как часто мне хотелось быть вместе с вами, быть так или иначе вам полезным. Я рад, что у вас все обошлось, и желаю, чтобы так было и в дальнейшем. Вы не можете себе представить, как

неприятно мне пребывать здесь в бездеятельности и как горит земля у меня под ногами, когда я думаю о том, что происходит дома». Кто бы мог подумать два года назад, что немецкие князья заключат заговор с французами против собственного народа! Что это будет за мир, «который купят такой позорной ценой и подпишут в страхе и судорогах»!

У Шеллинга проснулось национальное чувство. Теперь французы — враги, и он честит своего монарха за отсутствие воли в борьбе с вторжением, за уступчивость в переговорах. Симпатии к революции улетучились. В том же письме Шеллинг называет брата казненного французского короля «Людвигом XVIII», хотя до престола тому еще далеко и для революционной Франции он всего лишь эмигрант Бурбон.

Брат Шеллинга Готтлиб на военной службе. От него давно нет известий. Шеллинг успокаивает родителей: на войне не до писем, волноваться не надо. «Самое лучшее, если бы он угодил в плен к французам». Звучит это не слишком патриотично, но боевой пыл философа улетучился довольно быстро. Особенно когда он узнал, что на мирных переговорах французы выдвинули сравнительно мягкие условия. Он даже рад смерти русской императрицы Екатерины, которая могла бы разжечь войну. Новая царица (жена императора Павла I) — вюртембергская принцесса. Говорят, что она благоволит землякам. Не поехать ли ему, Фрицу Шеллингу, в Россию?

Готтлиб вскоре объявился, живой и невредимый. Фриц вспоминает о других своих братьях. Пятнадцатилетнему Августу он желает, чтобы тот «не заучился»: братец прислал ему такое ученое письмо, что философ не знал, как ему ответить. Тринадцатилетний Карл высказал намерение стать купцом, мать просит подыскать ему место ученика в Лейпциге. Шеллинг против: купцу нужен капитал, начинать без денег — значит обречь себя на жалкое существование, вечно изворачиваться, копить, думать только о барыше. А ученичество в Лейпциге — сомнительная затея, это «город избыточной роскоши и распущенных нравов». Шеллинг советует брату стать врачом: «Если он посвятит себя медицине, то через шесть-семь лет выйдет в люди. Эта наука сделала за последнее время огромные успехи, и к тому времени, когда он поступит в университет, станет такой простой, что он за несколько лет сможет овладеть ею мастерски. Я счастлив, что у меня есть возможность заниматься этой наукой, я действительно начал ее штудировать».

В Россию Шеллинг не поехал. Вместе со своими питомцами баронами Ридезель он выбрался на короткое время в столицу Пруссии Берлин. Шеллинг подробно рассказал о своей поездке в письме к родителям, и мы

тоже можем выслушать его рассказ. Дело происходит в конце апреля 1797 года. В наши дни езда по автострате Лейпциг — Берлин занимает два часа с небольшим. В те времена на дорогу уходило два дня. За Виттенбергом пересекли прусскую границу, чаевыми упростили строгие таможенные формальности и ускорили движение почтовой кареты. Первая прусская достопримечательность — Потсдам. Впечатление от города осталось неприятное — «солдатская тюрьма». Потсдам со всех сторон окружен водой, на каждом мосту часовые, убежать отсюда нельзя. Постройки выглядят хорошо, но жуть наводит мертвая тишина на улицах. Отсюда вышли герои Семилетней войны. Но «какими страшными жестокостями была куплена эта слава»!

Перед городскими воротами Берлина новый таможенный досмотр, пришлось снова раскошелиться. И вот путники в прусской столице. Остановились они в доме тетки юных баронов на Вильгельмштрассе, где жила местная знать. Берлин в отличие от Потсдама Шеллингу понравился. «Берлин — красивый город, я не нашел в нем никакой пышности. Дома в значительной степени построены в итальянском вкусе, не очень высокие, большинство в три этажа. От этого возникает в целом благоприятное впечатление».

Главная улица города усажена липами в шесть рядов, одним концом упирается она в красивые Бранденбургские ворота, а другим — в дворцовую площадь. Под названием Берлин объединены пять близлежащих городов: собственно Берлин, Кельн, Фридрихсвердер, Фридрихштадт и Нейштадт. (Сейчас все это составляет территорию одного из 20 районов Берлина — Митте.)

На другой день после приезда Шеллинг попал в театр, где играл Иффланд. То, чего не удалось достичь в Веймаре, совершилось: Шеллинг увидел первого актера Германии. Игра была великолепна. Жаль только, что играл он бездарную пьесу собственного сочинения.

Побывал Шеллинг в окрестностях Берлина, полюбовался загородными дворцами в Шарлоттенбурге, Груневальде, Фридрихсфельде. Посетил королевскую библиотеку, одну из самых крупных в Европе. Присутствовал на экзамене в реальной гимназии. (Здесь Шеллингу понравилось обучение ораторскому искусству.)

Многого ожидал Шеллинг от посещения литературного клуба, где собирается цвет берлинской науки. Ожидания не сбылись. Ему хотелось живого общения, а его заставили присутствовать на нудной лекции. «Для пустой головы, которую никто никогда не станет ни читать, ни слушать, это лучший способ приковать к себе внимание». С удивительным

самодовольством вещал оратор прописные банальности. Тема «О долге врача». Шеллинг с удивлением рассматривал аудиторию, которая с восторженным вниманием слушала пошлости. Что за народ! Только внешность некоторых дам немного Шеллинга развлекла, а то заснул бы. Как беден Берлин талантами! При том, что каждый мнит себя корифеем. Совсем недавно еще здесь билась живая мысль, а теперь — пустота. На этом фоне выделяется Бистер, издатель сочинений Платона и «Берлинского ежемесячника», где печатался Кант. Николаи в Берлине не было: неутомимый издатель вечно в разъездах. Шеллинг вспомнил о нем: «разоблачить и высечь» его он больше не собирается. «Глядя на здешнюю ученую публику, начинаешь уважать Николаи, он по крайней мере работает, хотя и не всегда при этом думает».

Когда Шеллинг вернулся в Лейпциг, его ждала собственная только что вышедшая книга «Идеи к философии природы». Относительно рассылки авторских экземпляров он распорядился еще до отъезда — в Тюбинген и Штутгарт, бывшим своим профессорам, начальству, родственникам, знакомым. В конце предисловия он заметил опечатку — вместо «Телеология» — «теология» — и просит отца вписать в посланные экземпляры две недостающие буквы.

Книга подросла как нельзя кстати: в голове Шеллинга-старшего родился дерзкий план добиться для сына приглашения на должность профессора в Тюбинген. Как ученый юноша созрел, неужели он не справится с чтением лекций? В Тюбингенском университете, по его расчетам, должно освободиться профессорское место. Шеллинг-младший вначале скептически относится к отцовской идее. «Насчет профессуры вы, конечно, пошутили», — пишет он родителям.

Но не потому, что он себя считает слишком молодым или неподготовленным. Нет, он уже давно думает об академической карьере. Нельзя же вечно сидеть в домашних учителях. Если состаришься в этом качестве, значит, ты ничтожество. «Для теологии я не гожусь, ибо за это время не стал ни на йоту ортодоксальнее». (Что правда, то правда, вспомним «Ганса Видерпоста».) Остается преподавание философии.

Трудность, однако, состоит в том, что Шеллинг не желает идти проторенной дорогой — занять место ассистента, защитить габилитационную диссертацию (дававшую право на чтение лекций), стать приват-доцентом. Либо все, либо ничего! Он должен сразу получить профессуру!

В конце лета возникает перспектива приглашения в Иену. За него ходатайствует богослов Паулюс, земляк Шеллинга, родившийся на

четырнадцать лет раньше в том же городе, что и он, и в том же доме. (В журнале Паулюса «Меморабилиен» Шеллинг напечатал свою первую статью — о мифах.) Фихте поддерживает его кандидатуру, но пока все старания напрасны. Год кончается, и довольно меланхолически звучит предновогоднее пожелание Шеллинга родителям: «Вашим прекрасным планам моего счастья я желаю большего успеха, чем выпало моим». Надежды на Тюбинген ему кажутся теперь реальнее, чем на Йену.

Новый год приносит новые варианты и новые разочарования. Открылась вакансия в Геттингене, но его туда не зовут. Йена решительно от него отказывается. В Тюбингене должен оставить свой пост профессор Бэк. Но кто поддержит кандидатуру Шеллинга? Разве что сам Бэк, который думает выдать за него свою дочь. (Такая перспектива юношу не устраивает.) Беда в том, что тюбингенские богословы считают его атеистом.

На пасху 1798 года выходит трактат Шеллинга «О мировой душе». Это сильный козырь в борьбе за профессию. И из Йены вскоре приходит благая весть: вопрос о его приглашении снова поставлен и как будто близок к положительному решению.

Между тем Шеллинг-отец решительно стучится в тюбингенские двери. Он пишет письмо в сенат университета и своему знакомому, профессору Шнурреру. Его сыну предложено профессорское место в «иностранном» университете (Йена ведь в другом государстве, в веймарской Саксонии!). Но он, Шеллинг-старший, патриот и хотел бы видеть будущего главу своей семьи в отечественном, Вюртембергском университете. Шнурреру он посылает несколько еще не переплетенных экземпляров только что вышедшего труда своего сына и просит — если время терпит — отдать их в переплет, а затем преподнести нужным людям, а если не терпит, то вручить без переплета с извинениями и обещанием переплести книгу позднее. Если потребуются еще экземпляры, то приобрести их у тюбингенских книготорговцев. Все расходы, разумеется, берет на себя Шеллинг-старший.

Судьба Шеллинга-младшего решается помимо усилий отца. За молодого ученого в Йене хлопочут теперь не только Паулюс, Нитхаммер, Фихте, но и прославленный его земляк Шиллер, который пытается привлечь к делу и господина тайного советника Иоганна Вольфганга фон Гёте.

Гёте начал новый, 1798 год с чтения Шеллинга. 1 января запись в дневнике: «Утром „Идеи“ Шеллинга». Книга не произвела на великого поэта-естествоиспытателя благоприятного впечатления. «По поводу книги

Шеллинга я хочу заметить, что от новой философии помощи ждать не приходится», — писал он Шиллеру. Книга показалась ему модной спекуляцией в духе Фихте. А что, если молодой шваб обладает еще и беспокойным характером Фихте? И его революционными настроениями? Тайный советник решил пока ничего не предпринимать.

28 мая они случайно встретились. В доме Шиллера в Иене. Гёте был приятно разочарован, более того, очарован Шеллингом. На следующий день они вместе уже ставили оптические опыты, а Гёте писал влиятельному веймарскому министру Фойгту, рекомендуя Шеллинга в иенские профессора: у молодого человека ясная и энергичная голова, «устроенная по новейшей моде». Гёте не обнаружил у него ни следа санкюлотских замашек, напротив, он показался ему умеренным и образованным. «Уверен, что он сделает нам честь и окажется полезным университету».

Гёте укрепился в своем мнении после прочтения трактата «О мировой душе», который Шеллинг поспешил ему преподнести. Здесь Гёте нашел то, чего ему не хватало в «Идеях», — близкий ему взгляд на природу как на живое целое. Гёте внимательно, с удовлетворением и удовольствием штудировал книгу. Фойгту Гёте напоминает о своем протее: «Остается только пожелать, чтобы он был привлечен сюда. Это необходимо и ему и нам. Ему — потому, что он найдет здесь деятельное, целеустремленное общество, которого он лишен в Лейпциге, и направит свой духовный талант на усердное исследование природы. Для нас его присутствие здесь также окажется весьма полезным: иенский кружок, получив такого члена, усилит свою деятельность, для меня он будет сильным стимулом в моей работе». Новые работы Шеллинга («Первый набросок...» и «Введение к наброску...») укрепили его в этом мнении.

Третий раз Гёте писать не пришлось. В течение нескольких дней вопрос был решен. Фойгт не стал сноситься ни с университетским начальством, ни с другими правительствами. (Иенский университет находился на территории герцогства Саксен-Веймар, но содержали его еще три государства — Саксен-Гота, Саксен-Кобург и Саксен-Мейнинген, нужно было согласие четырех монархов, чтобы какое-либо университетское назначение приобрело силу закона.) Фойгт просто поставил их всех в известность о совершившемся факте. Свою поспешность Фойгт объяснял опасением потерять Шеллинга: о видах его на Тюбинген было известно.

6 июля 1798 года Шеллинг держал в руках поступивший из Веймара пакет. Распечатав его, он увидел в письме неожиданное к себе обращение:

«Благородный, особо высокочтимый господин профессор!» Гёте пересылал герцогский рескрипт о приглашении его в Иену. В 23 года профессор! Без защиты диссертации, без приват-доцентуры!

Отвечая Гёте, Шеллинг благодарил его за участие в его судьбе. Господин тайный советник первым сообщил ему радостную весть, он же и причина его счастья. Свое почтение к нему, свою глубочайшую признательность Шеллинг постарается выразить не словами, а делами.

Раньше, чем ответить Гёте, Шеллинг написал отцу: его судьба решена. Но Шеллинг-старший был иного мнения. Он рассматривал иенскую депешу всего лишь как дополнительный аргумент, который должен подействовать на тюрингенское начальство. Университет в Тюрингене менее знаменит, чем в Иене. Но было одно обстоятельство, которое могло привлечь внимание Шеллинга-младшего к исходу профессорских выборов в воспитавшей его высшей школе, назначенных на конец июля. Не локальный патриотизм (на что напирал его отец), не престижные соображения (появиться на кафедре в той аудитории, где три года назад ты сидел на студенческой скамье). Иена предлагала Шеллингу пост экстраординарного (то есть внештатного, неоплачиваемого), профессора, который должен получать плату за лекции от студентов, а в Тюрингене вакантной была ординатура, место с постоянным профессорским окладом. Вот почему до конца июля было неясно, куда направит свои стопы молодой философ.

Суждено было ему ехать в Иену. Тюрингенцы его прокатили. Шеллинг-старший горевал по этому поводу, младший его утешал: через несколько месяцев он станет ординариусом в Иене. Конечно, хорошо быть рядом с родителями, часто видеть их, но ведь в Тюрингене можно сдохнуть от скуки и злости, глядя на тамошнюю серость.

Вюртембергское правительство не чинит ему препятствий. Как стипендиат герцога, он обязан испрашивать у своего монарха разрешение на службу за границей. Такое разрешение ему дается «*Salva repressu in patriam*» («с правом возвращения на родину»). Шеллинг доволен тем, как складывается его судьба. Питомцы его подросли и не нуждаются больше в духовной опеке. В августе семейство Ридезель дает ему расчет, 18-го числа он покидает Лейпциг, До начала занятий в Иене еще полтора месяца, остаток лета он намерен провести в Дрездене.

Там ждут его не только богатейшие художественные коллекции, не только окрестности красоты неопишуемой, но и интереснейшие люди. В декабре прошлого года он познакомился с молодым дворянином Фридрихом фон Гарденбергом, окончившим Иенский университет и теперь

изучающим горное дело во Фрейберге. Вскоре этот человек войдет в немецкую литературу под псевдонимом Новалис. Гарденберг сотрудничает в журнале «Атеней», который издают братья Шлегель.

Со старшим из них — Августом Вильгельмом — Шеллинг тоже знаком. О младшем — Фридрихе — он много слышал (как и тот о нем). Братья Шлегель проводят конец августа в Дрездене. Туда же должен приехать Гарденберг. Ожидают и Фихте. Шеллинг находит в Дрездене избранное общество.

Обычно по свежим следам он записывал подробно свои впечатления и записи отправлял родителям. В Дрездене ему некогда. Он бродит по залам Цвингера, подолгу простаивая перед Мадонной Рафаэля и Венерой Корреджио, перед античными статуями. Иногда день-другой уходит на увеселительные поездки по живописной долине Эльбы, по Саксонской Швейцарии вплоть до самой чешской границы. Вечерами он у Шлегелей, где идет изысканная беседа о литературе, искусстве, философии. Кроме того, надо работать: Шеллинг помнит о предстоящем университетском дебюте и усердно готовится. На столе его растет рукопись — «Первый набросок системы натурфилософии». Он начнет издавать ее листами еще до конца года, а на будущую пасху она выйдет книгой. Это пособие к лекционному курсу.

Быстро пролетел месяц. И только тут напомнил о себе сыновний долг. Пишется письмо домой с извинениями и самообвинениями в безответственности. Рассказать о том, что он видел, что узнал, что пережил, нет никакой возможности. Об этом при встрече. Тем более что она не за горами: через год он приедет к родителям. А что такое год? Только 365 дней. О своем пребывании в Дрездене ему хочется сказать коротко: «Здесь он так счастлив, как никогда ранее». К родителям просьба: в Иене время от времени ему хотелось бы выпить стаканчик родного ремсталерского. Если есть возможность, пусть пришлют маленький бочонок. Теперь он может себе такое позволить. И деньги вышлет сразу.

...Немного позднее (когда он обоснуется в Иене, прикинет доходы свои и расходы) Шеллинг попросит родителей подыскать ему на родине слугу: здешней публике он не доверяет. Мальчика лет 15–16, приятного вида и веселого нрава, грамотного или такого, чтобы хотел научиться читать и писать, — он найдет ему учителя. Дело в том, что нашему профессору необходим переписчик его трудов. Другие обязанности — варить утром кофе, топить печь, чистить обувь. За это он ему предоставит бесплатный кров и одежду (в год две ливреи, две пары сапог, куртку на зиму, колет на лето, кожаные штаны и шляпу), даст, сколько нужно, на

питание и еще 30–50 гульденов ежегодно. Главное, чтобы был старательный и веселый...

В Иену Шеллинг выехал первого октября. Путь лежал через Рудные горы. Короткая остановка во Фрейберге. Гарденберг был в отлучке, гостей (Шеллинга и его спутника, переводчика Гриза) принимал Август Гердер, сын знаменитого философа. Спустились в шахту, осмотрели химические лаборатории. Шеллинг рассчитывал третьего или четвертого быть на месте. Но погода стояла плохая, дороги размыло. Только пятого добрались наконец до желанной Иены.

По приезде Шеллинг сразу бросился к Шиллеру. В его судьбе поэт принимал живое участие. Конечно, прежде всего благодарить надо было Гёте. К сожалению, он в Веймаре, о нем можно только вспоминать. Поговорили о новых работах Гёте по теории цвета. Шеллинг знал, что разработку этой теории поэт считал главной задачей своей жизни. Готовясь к предстоящей встрече со своим благодетелем, Шеллинг старался быть в курсе дела, читал его последние статьи.

Шеллинг и Шиллер ценили друг друга, взаимно симпатизировали, но духовная близость между ними так и не возникла. Мы помним, как тягостно было Шеллингу при первой встрече с поэтом. А вот что пишет Шиллер о философе после того, как они прожили более двух месяцев в одном городе. «Шеллинга я вижу только раз в неделю, и мы, к стыду философии будь сказано, играем в карты. Для меня это развлечение, поскольку я лишен всех других, стало почти необходимостью. Жаль, что мы не можем заняться ничем более разумным... Он все еще мало информативен и неуверен, как и прежде». Как странно и необъяснимо складываются отношения между людьми. Два близких по духу человека, два блестящих оратора оказались наедине никудышными собеседниками.

Свои лекторские способности Шеллинг продемонстрировал публично. Ему удалось миновать габилитационный экзамен и диссертационный диспут. Пробную лекцию ему все же пришлось прочитать. О том, какое он произвел впечатление, рассказывает очевидец: «Шеллинг поднялся на кафедру. Он выглядел молодо, был на два года моложе меня, первый из числа знаменитых мужей, с кем я страстно желал познакомиться. В его внешности было что-то очень уверенное, упрямое — широкие скулы и виски сильно выступали вперед, высокий лоб, энергичные черты лица, слегка вздернутый нос, в больших ясных глазах светилась повелевающая духовная сила. Начав говорить, он лишь несколько мгновений казался смущенным. Предмет разговора в то время заполнял целиком его душу. Он говорил об идее натурфилософии, о необходимости постигнуть природу в

ее единстве, о том свете, который прольется на все сущее, если рассмотреть его глазами единого разума. Он увлек меня целиком».

Шеллинг на всю жизнь запомнил подробности дебюта. Сорок шесть лет спустя он мог воссоздать все детали своих переживаний. Как он сидел дома, измученный, в вечерних сумерках и размышлял над случившемся. Думал о том, что он говорил, настаивая на поисках пути от природы к духу, подобного тому, который Фихте ищет от духа к природе. Он был недоволен тем, как он говорил, ему казалось, что он не нашел нужных слов для своих мыслей, плохо распорядился временем, плохо держался, что он вообще непригоден для университетской деятельности.

В его дверь постучали. Вошел молодой человек и представился: доктор Генрик Стеффенс, родом из Норвегии, изучает естественные науки. Был на лекции господина профессора. Мы цитировали его рассказ и теперь снова даем ему слово.

«Шеллинг принял меня не просто дружески, но радостно. Я был первым из профессиональных естествоиспытателей, который присоединился к нему безоговорочно и с воодушевлением. До этого он находил среди них только противников, которые к тому же его просто не понимали. Наш разговор обогатил меня необычайно. Я уже знал его работы, я разделял его взгляды, я ожидал, как и он сам, что его начинания решительно всколыхнут не только одни естественные науки. Я не мог задерживаться дольше: молодому преподавателю нужно было готовиться к лекциям. Но немногие эти мгновения были столь содержательны, что потом я мог часами вспоминать о них. И хотя он был моложе меня, он обладал могучими природными задатками, воспитан в благоприятных условиях, рано создал себе большое имя, грозно и мужественно выступал против целого войска, теряющего свои позиции времени, чьи полководцы, ворча и ругаясь, уже начали в страхе свое отступление».

Шеллинг быстро освоился на кафедре. Каждая лекция — новый триумф. Его сравнивают с генералами Конвента. Он столь же молод, держится гордо и вызывающе. И столь же легко добивается успеха, увлекая за собой аудиторию, как те — революционные войска. Разница только в том, что битва идет здесь на полях умозрения. Вместо артиллерийской канонады, барабанной дроби и воинских команд звучит в притихшем зале властный голос профессора. Но и там и тут — перед трехцветными боевыми знаменами и перед неумолимой логикой философа — не может устоять «старый порядок» — в жизни политической и в жизни духа.

Европейские битвы пока еще гремят далеко от Иены. Поэтому философия здесь оттесняет на задний план политику. Вот воспоминания

еще одного очевидца: «Пришел Шеллинг, сам еще молодой и впервые выступающий в качестве преподавателя, и быстро повел за собой впечатлительную молодежь, так что философия стала той стихией, которой дышало и жило студенчество Иены. В это время происходили важнейшие политические и военные события, но они оставались в тени философии. Бонапарт стал первым консулом, выиграл Маренго, приобрел по Люневильскому миру левый берег Рейна, заключил конкордат с папой — это беспокоило немногих, я просто об этом ничего не знал. Перед нашей философией, перед Абсолютом все это было так ничтожно...»

Шеллинг читал «в небольшом, но битком набитом зале. Бросалось в глаза всегда значительное выражение лица. Говорил он красиво и свободно, выразительно, но без малейших следов риторики. Перед ним стояли два светильника, остальная часть помещения была погружена в полутьму. Слушатели сидели в глубочайшем безмолвии и величайшем напряжении. Он являл собой что-то чудотворное, магическое». Иногда ему удавалось исторгнуть у аудитории слезы.

Европейские битвы далеко. Здесь же разыгрываются свои баталии — мелкие, академические. В Париже казнили Робеспьера, а здесь подсиживают Фихте. Дело началось еще до прибытия Шеллинга в Иену. В 1798 году в первом номере «Философского журнала», ответственным редактором которого был теперь не только Нитхаммер, но и Фихте, появилась статья Фридриха Карла Форберга «Развитие понятия религии». Религию автор понимал не как веру в бога, а как нравственное поведение человека. Никому нет никакого дела до существа, чье бытие с точки зрения доказательства неопределенно и таковым всегда останется. Умозрительные понятия о боге как о сверхреальном, бесконечном, абсолютном существе противоречат религии, утверждал он, или безразличны ей. Религия не является ни результатом опыта, ни плодом спекуляции, она детище доброго сердца. Религия возникает из стремления человека к тому, чтобы добро взяло верх над злом, чтобы возникло на земле «царство правды». Церковь — это объединение честных людей для общественного поощрения добра.

Фихте не разделял точки зрения Форберга, но, будучи убежденным сторонником свободы печати, решил ее опубликовать. Первоначально он намеревался снабдить статью подстрочными примечаниями, излагающими точку зрения редакции; Форберг на это не согласился. Тогда Фихте написал от своего имени небольшую статью и при публикации предпослал ее статье Форберга. Фихте возражал против высказанных Форбергом сомнений в бытии бога. В этом не только нельзя сомневаться, но это самое достоверное из всего, что существует, это основа любой достоверности, единственная

абсолютная реальность. Казалось бы в чем, в чем, а в атеизме Фихте обвинить нельзя.

И тем не менее обвинили. Появилась анонимная брошюра «Послание отца своему сыну-студенту об атеизме Фихте и Форберга». Брошюра распространялась в курфюршестве Саксонском, и тамошние доброхоты довели ее, видимо, до сведения начальства. Во всяком случае, вскоре последовал рескрипт дрезденского правительства (обращенный к двум саксонским университетам — в Лейпциге и Виттенберге) конфисковать одиозный номер «Философского журнала». Затем было предъявлено требование Веймару наказать издателей журнала. Фихте предложили объясниться. Дело хотели закончить келейно, успокоить дрезденских охранителей и в то же время не дать в обиду своих вольнодумцев. Фихте вынес, однако, скандал на публику. Он ответил двумя статьями одна резче другой. Во второй он говорил, что его преследуют не за атеизм, а за демократизм, за якобинство. На самом же деле он не представляет опасности для общественного спокойствия: он не политический честолюбец; он занятой человек, и на революцию у него просто нет времени. Фихте требовал оправдания через суд.

Ему пригрозили выговором. Тогда он нависал тайному советнику Фойгту, что на выговор ответит прошением об отставке и что его примеру последуют многие его коллеги-единомышленники по университету. Какое правительство потерпит, чтобы с ним говорили таким тоном? В конце марта 1799 года выговор был объявлен и отставка принята. Фихте отправился в Берлин.

Фихте возмущало то обстоятельство, что обвинение в атеизме поддерживали веймарские власти, среди которых свободомыслие давно уже пустило глубокие корни. Глава веймарской церкви генеральный суперинтендент Гердер не скрывает своих симпатий к Спинозе. Он публично изложил систему, которая отличается от атеизма, как одно яйцо от другого. Почему его не привлекают к ответственности? Фихте грозил поднять вопрос в печати.

Слухи об этом ползли, причем называли и имя Шеллингу как человека, который готовит памфлет против веймарского суперинтендента. Литератор Гарлиб Меркель рассказывает, как однажды в необычное время его пригласила жена Гердера и в слезах сказала ему, будто иенский профессор Шеллинг намеревается опубликовать памфлет против ее мужа. Гердер не скрывал своей антипатии к «метафизикам», и говорил об этом достаточно громко. Какой это будет скандал, если генеральному суперинтенденту и вице-президенту консистории придется защищать себя

от обвинений в безбожии! «Помогите, — просила в слезах старая дама. — Помогите, если можете». Меркель немедленно вызвал карету и помчался в Иену, Рано утром на следующий день он пошел к Шеллингу, с которым не был знаком.

После обмена любезностями Меркель завел разговор о Фихте. Он назвал имена тех, кто был подлинным виновником его ухода. Шеллинг не возражал. Меркель уверил его, что Гердер не имеет к делу никакого отношения. У Гердера есть основания, подтвердил Шеллинг, не влезать в это дело. Тогда Меркель прямо поставил вопрос, не собирается ли он впутать в неприятную историю Гердера, явно к ней непричастного. Последовал неопределенный ответ. «Я обрисовал ему ужасные последствия, какие возникнут для Гердера, в его годы нельзя волноваться, он просто сойдет в могилу, при том, что для Фихте от этого не будет ни малейшей выгоды, на это я особенно напирал. Я изобразил все это как совершенно бессмысленную злую выходку».

Шеллинг уверил Меркеля в том, что он никогда серьезно не намеревался осуществить задуманное. Он дал слово не выступать в печати. Меркель вернулся в Веймар па час раньше, чем обещал. Но жена Гердера уже стояла в окне, и радости ее не было предела. С самим Гердером Меркель никогда не говорил о случившемся, можно было лишь понять, что тот в курсе дела.

Во всей этой истории, получившей название «Спор об атеизме», Шеллинг был на стороне своего коллеги, стараясь вместе с тем избегать крайностей. В Иене вместе они работали один семестр. Виделись редко и друзьями не стали. Фихте не читал работ Шеллинга и считал его своим учеником и единомышленником. Он ожидал, что Шеллинг последует за ним прочь из университета, хлопнет дверью по его примеру. Этого не произошло. Планы Фихте перетянуть за собой в Берлин интеллектуальную Иену не осуществились.

Но когда Шеллингу предложили принять курсы Фихте, он отказался. Когда Фихте пришлось защищаться от нападок Канта, Шеллинг поддержал Фихте.

Эта новая беда свалилась на Фихте совершенно неожиданно. В своих произведениях он не устал повторять, что «учение о науке» представляет собой не что иное, как только развитие учения Канта, не буквы его, а духа. Кант не возражая. Он просто не читал Фихте (как тот Шеллинга). Складывалось впечатление, что старику нечего возразить. Но вот однажды он таки прочитав своего ученика. И пришел в ужас. А поскольку ему давно предлагали высказать в печати свое отношение к фихтеанству, он послал в

иенскую «Всеобщую литературную газету» короткое письмо. Оно появилось 28 августа, когда еще не утихли страсти, вызванные «Спором об атеизме».

Кант не стеснялся в выражениях. «Учение о науке» он называл совершенно несостоятельной системой. Это чисто логическая конструкция, попытка «выковырнуть» из нее объект обречена на неудачу. Его собственная философия — законченная система, а не некое введение, которое нужно развивать дальше. По поводу подобных претензий Фихте он вспоминал итальянскую поговорку: «Боже, спаси нас от наших друзей, с врагами мы справимся сами».

Шеллинг заподозрил недоброе. Конечно, возраст и слава Канта требуют того, чтобы к нему относились с почтением и снисходительностью. Но почему он молчал все время, дождался, когда у Фихте начались неприятности? Неужели испугался, что его самого зачислят в неблагонадежные? Сейчас Фихте с трудом устроился в прусской столице, а прусский профессор публично на него нападает. Какую каверзу он задумал?

Фихте в письмах из Берлина успокаивал Шеллинга. По собственному опыту пребывания в Кенигсберге он знает, как оторвана эта дыра от культурной жизни Германии, литературные новости приходят туда слишком поздно. Злого умысла нет. Просто старик выжил из ума, не знает и не понимает собственную философию, с которой всегда был не в ладах.

Ответ Канту появился за подписью Шеллинга. Во «Всеобщей литературной газете» (а затем еще в двух других) Шеллинг напечатал отрывок из адресованного ему письма Фихте. Это был предельно сдержанный текст, в котором напоминалось, что два года назад Кант относился к Фихте иначе. Приводилась цитата из старого письма Канта к Фихте, где, ссылаясь на свою старческую слабость, кенигсбергский философ говорил, что он не занимается больше теоретическими проблемами, предоставляя это другим. С трудами Фихте он выражал тогда свою полную солидарность. (Вот что значит не читать труды своих учеников!) Относительно же того, что есть логика, а что метафизика, Фихте советовал идти на выучку к Гердеру. (Это был намек на то, что на Канта не перестали еще нападать сторонники старой, догматической философии, только что вышла Гердерова «Метакритика критики чистого разума».) Кант ведет себя по отношению к Фихте так, как защитники докантовской метафизики по отношению к Канту. Кто знает, может быть, какая-нибудь молодая горячая голова уже работает над тем, чтобы превзойти принципы «учения о науке» и показать его неполноту и ошибочность. Пусть небо

будет к нам милостиво, удержит нас от уверений, что это бесполезные выдумки, и даст нам силу принять с благодарностью новые открытия.

По иронии судьбы Фихте не ведал, что такая «горячая голова» уже объявилась и трудится рядом с ним. И помогает ему выкрутиться из беды! (Как будет реагировать Фихте, когда поймет, что Шеллинг пытается превзойти «учение о науке», об этом речь ниже.) Шеллинг честно и умело выполнил поручение Фихте. К сожалению, не сохранился оригинал полученного им из Берлина письма. Фихте приехал туда налегке, Семья, вещи и бумаги оставались в Иене, и он просил жену найти упомянутое выше письмо Канта к нему, а Шеллингу поручал вставить в публикацию необходимые цитаты. Поэтому трудно сказать, в какой степени текст Фихте подвергся редактированию со стороны Шеллинга. Во всяком случае, Фихте остался доволен публикацией. Это было время их наибольшей близости.

«Спор об атеизме» происходил на глазах Шиллера и Гёте. Первый старался примирить враждующие стороны. Он призывал Фихте к сдержанности и уверял веймарского герцога в добронравии философа. Гёте с олимпийским спокойствием наблюдал за происходящим. Он жалел об уходе Фихте, но ничего не сделал для того, чтобы воспрепятствовать его отставке. Передавали его слова: «Одна звезда заходит, другая восходит». Имел он в виду будто бы Шеллинга.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

*О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия.*

Ф. Тютчев

1797 год, который Шеллинг провел в Лейпциге за изучением естествознания и натурфилософскими поисками, был весьма важным для формирования нового идейного направления, которое впоследствии получило наименование романтизма. Отметим несколько характерных его штрихов, чтобы воссоздать ту духовную атмосферу, в которую скоро окунется наш герой.

В 1797 году в Берлине была издана пьеса «Кот в сапогах», ломавшая прежние представления о театре. Ее автор Людвиг Тик взял сюжетную канву в известной сказке Перро. Но это только один план действия. Другой — сам спектакль, его восприятие публикой и критикой, театральные нравы. Перед нами как бы «театр в театре». Еще не началась сказка, а зрители (на сцене) уже обсуждают предстоящее зрелище, и они будут комментировать это зрелище на протяжении всего спектакля. Подразумевается, что Кота играет знаменитый Иффланд — «выглядит натурально, как большой кот». Но вот Кот заговорил, — критик возмущен: нарушена жизненная правда, пропала иллюзия, так не бывает. На сцене появился Сапожник, чтобы сшить Коту сапоги (что за чушь!), и просит Кота убрать когти, а то он уже оцарапался, но Может снять мерку (вот это уже на что-то похоже, кошачьи когти действительно опасная штука). Зрители непрерывно жалуются на отсутствие в пьесе характеров, абсурдность ситуаций. Почему иноземный Принц говорит на чистом немецком языке без переводчика?

Действие в спектакле распадается, возникают эпизоды, никак не связанные с историей Кота в сапогах и вообще лишенные смысла. Вот, например, корчма на границе. Появляется Солдат и заявляет во всеуслышание, что он дезертир. Тут же возникают на лошадях два преследующих его гусара (лошади вызывают одобрение: они подлинные,

жаль, что не удалось заметить, какого полка гусары). Преследователи вместо того, чтобы схватить беглеца, пьют за его здоровье и возвращаются восвояси, а дезертир переходит границу, чтобы наняться на службу в соседнем герцогстве. (При чем тут Кот в сапогах?) Возмущение в зале нарастает, возмущены и актеры, они не знают своих ролей. Кот забрался под потолок. Автор с трудом наводит порядок.

Следующий акт начинается с того, что автор разговаривает с машинистом сцены по поводу декораций. Зрители опять в недоумении: какое отношение все это имеет к действию пьесы? Оказывается, просто раньше времени подняли занавес. То, что увидели зрители, к спеуюаклю отношения не имеет. Выходит Петрушка и просит зрителей забыть то, что они только что видели: «Вам внушили иллюзию, это ужасно, постарайтесь себя деиллюзионизировать!» По ходу сказки поворачивается на сцене Великан по имени Закон. Он суров, он не знает исключений, во одновременно он гибок, изменчив, может принять любой облик. Этим и воспользовался Кот в сапогах: взял да съел его, когда тот обернулся мышью. А без Закона — «равенство и братство», власть переходит в руки «третьего сословия» в лице Простака — хозяина Кота в сапогах. Зрители делают вывод — им показывают «революционную» пьесу («революционными» называли пьесы Иффланда, направленные против французской революции). Иффланд пародируется не только как актер, но и как автор. Заодно модный Коцебу, а порой и «Эмилия Галотти» Лессинга.

Когда-то Готтшед, устанавливая классические каноны для немецкого театра, официально изгнал Петрушку (Гансвурста) с немецкой сцены. Тик его снова показывает зрителям. И вкладывает в его уста фразу, которая станет символом веры вульгарного материализма: «Человек есть то, что он ест». Пародируется все на свете. Кант с его почитанием закона, Фихте, прославивший революцию, Руссо, идеализирующий природу. (Король, залез на дерево, но тут же спрыгнул: там полным полно противных гусениц; Принцесса учит его: прежде чем иметь дело с природой, ее надо слегка причесать.)

Ирония — главный герой пьесы Тика. Ирония — важнейшая ипостась романтизма. «В иронии, — говорил теоретик романтизма Фридрих Шлегель, — все должно быть шуткой и все должно быть всерьез, все простодушно-откровенным и глубоко притворным. Она возникает, когда соединяются чутье к искусству жизни и научный дух, когда совпадают друг с другом и законченная философия природы, и законченная философия искусства. В ней содержится и она вызывает в нас чувство неразрешимого противоречия между безусловным и обусловленным, чувство

невозможности и необходимости всей полноты высказывания. Она есть самая свободная из всех вольностей, так как благодаря ей человек способен возвыситься над самим собой, и в то же время ей присуща всяческая закономерность, так как она безусловно необходима. Нужно считать хорошим знаком, что гармонические пошляки не знают, как отнестись к этому постоянному самопародированию, когда попеременно нужно то верить, то не верить, покамест у них не начнется головокружение, шутку принимают всерьез, а серьезное принимают за шутку».

Романтики ценили смех. Видели в нем средство расковать сознание. А свобода духа — цель романтизма. Их обвиняли в том, что они смеются ради самого смеха, для них, мол, нет ничего святого. Это несправедливо. Романтизм всегда не только низвержение идола, но и утверждение идеала, при том прямое и непосредственное, без околичностей и уверток.

Идеал романтиков — свободная личность. «Только индивид интересен». Интерес к индивидуальному не перерастает, однако, в индивидуализм, в эгоистическое самолюбование, в пренебрежение другими и подавление их. Романтизм универсален, он выступает за преодоление любой нетерпимости, всякой узости. Для романтика интересна любая индивидуальность — человек, народ, все человечество как нечто неповторимое в богосотворенном море.

О своих идеалах романтики умели говорить не только иронически двусмысленно, но возвышенно-патетически, с откровенной восторженностью. В том же, 1797 году, когда увидел свет «Кот в сапогах», появился и анонимный эстетический трактат «Сердечные излияния монаха — любителя искусств». Его автором был Вильгельм Генрих Вакенродер, его соавтором — Людвиг Тик («Кота в сапогах» он выпустил под псевдонимом).

Собственно, это не трактат, а сборник философских и искусствоведческих этюдов, поданных совершенно бессистемно, причем отсутствие системы возводится в добродетель. «Кто поверил в систему, тот изгнал из сердца своего любовь к ближнему! Уж лучше нетерпимость чувства, чем нетерпимость рассудка, уж лучше суеверие, чем системоверие».

Этюд, из которого заимствована цитата, называется «Несколько слов о всеобщности, терпимости и любви к ближнему в искусстве». Творец, говорит Вакенродер, создал нашу землю и рассыпал по ней тысячи разнообразных зародышей, которые разрослись в огромный цветущий сад и приносят бесконечно разнообразные плоды. Рычание льва столь же ласкает божественный слух, как и крик оленя, запах алоэ столь же приятен творцу, как и аромат розы. И сам человек предстает во многих обличьях;

родные братья не понимают друг друга, один предвечный знает все языки. Каждый говорит на своем и каждый прав. В каждом создании искусства, где бы оно ни родилось, заметны следы небесной искры, брошенной свыше в человеческое сердце. Творцу столь же мил готический храм, как и греческий, и грубая боевая музыка дикарей столь же услаждает слух, как изысканные хоры и церковные песнопения. Как мало стараются походить люди на божественный образец. Они ссорятся и не понимают друг друга, не хотят охватить единым взглядом человеческое целое. Им невдомек, неразумным, что земля полна антиподов, что сами они — чей-нибудь антипод. И только свое собственное чувство считают они мерой прекрасного, забывая, что никто не призвал их судьей, что судьей может стать и тот, кого они порицают. Ведь никому не придет в голову проклинать индейца за то, что он говорит по-индейски. Зачем же проклинать средние века за то, что тогда строили не такие храмы, как в Греции.

Предоставьте каждому смертному и каждому народу верить в то, во что он верит, и быть счастливым на свой собственный лад, умеите радоваться радости другого. «Мы как бы стоим, — говорит Вакенродер о своем поколении, — на высокой горной вершине, а вокруг нас и у наших ног, открытые нашему взору, расстилаются земли и времена. Будем же всюду находить общечеловеческое».

Имя Гарденберга (Новалиса) уже упоминалось. Теперь о нем немного подробнее. Новалис — из ранних романтиков, бесспорно, наиболее крупный поэт. В 1797 году он пережил духовную драму: скончалась девушка, которую он боготворил. Надежда на личное счастье была потеряна. К этому добавилось разочарование в своей специальности (юриспруденция), в социальных идеалах, которые он исповедовал (французская революция), в философских взглядах, которые усвоил в годы университетских занятий (фихтеанство). Новалис решил начать новую жизнь, поступил в горную академию во Фрейберге и стал искать новые (мистические) пути отношения к жизни и миру.

Во Фрейберге возникает философская повесть Новалиса «Ученики в Саисе». Это, собственно, не повесть, а скорее философский трактат. Здесь нет сюжета, нет характеров, едва намечены персонажи, все заполнено философскими размышлениями о природе. Один из разделов так и называется — «Природа». Мы помним аналогично озаглавленную статью, связанную с именем Гёте. То был восторженный панегирик прародительнице. Строки Новалиса полны заботы и тревоги: утеряна гармония в отношениях между человеком и природой, как восстановить ее?

Одни считают, что с природой вообще лучше не связываться; не стоит

проникать в ее бесчисленные сочленения и расчленения, это опасное занятие, к тому же бесполезное и бесперспективное: никогда не будет найдена простейшая крупца твердых тел, ибо всякая величина теряется в бесконечности. Не следует расточать время в праздных созерцаниях. Природа — страшная мельница смерти, это прожорливая безмерность. Поэтому хвала детскому неведению!

Другие уверяют, что человеческий род ведет нескончаемую обдуманную войну с природой. Мы должны одолеть ее медленно действующим ядом. Такова программа утилитаристов-эмпириков, носителей Просвещения и «прогресса». Природа для них — дикое существо, которое надо обуздать, превратить в послушную рабыню. С помощью поработанных сил природы люди создадут «новый Джинистан» — сказочное промышленное царство, где «звездный свод станет колесом прялки».

А вот голос фихтеанца, не желающего замечать ни величия, ни самостоятельности окружающего его мира. Природа для него, — игра ума, воображения, сновидения. «Наяву человек без содрогания смотрит на это порождение своего беспорядочного воображения, ибо он знает, что это не более как ничтожные призраки собственной его слабости. Он чувствует себя господином вселенной, его Я мощно реет над этой бесконечной бездной... Кто хочет достичь познания природы, пусть упражняет свое нравственное чувство, пусть действует, творит согласно благородному, в нем заложенному ядру, и природа откроется ему как бы сама собой».

(Романтики прошли через увлечение Фихте, им импонировали апелляция к творческим потенциям личности, нравственный пафос его учения. Но ригоризм оттолкнул. Во имя нравственных максим Фихте готов был растоптать живую жизнь. Близкий романтикам Генрик Стеффенс рассказывает о своем столкновении с философом по поводу абсолютного запрета, говорить неправду. Он привел Фихте такой пример: роженица опасно больна, а ее ребенок умирает в соседней комнате, любое потрясение будет стоить ей жизни. Ребенок умер; вы сидите у ее постели, и она спрашивает вас о состоянии младенца, правда убьет ее, что вам следует ответить? «Вопрос должен остаться без ответа», — сказал Фихте. «Это равносильно тому, — возразил Стеффенс, — чтобы сказать: дитя нет в живых. Я предпочту сказать неправду и назову эту ложь правдой, моей правдой». На это Фихте закричал в возмущении: «Такой правды, которая принадлежала бы единичному человеку, не существует, не ты повелеваешь ей, а она тобой. Если женщина умрет, узнав истину, то она должна умереть». Стеффенс почувствовал, что им Не вонять друг друга.)

Романтики видели в природе не «порождение своего беспорядочного воображения», а абсолютную реальность. (Кульť природы вскоре сведет их с Шеллингом.) Природа — объект не покорения, а поклонения. Поэзия, искусство — средства проникнуть в ее тайны, не нарушив первозданной гармонии. У поэта и подлинного естествоиспытателя общий язык, язык самой природы. Только полная гамма развитых человеческих потенций делает человека природным существом, ведет к слиянию с природой.

В повесть «Ученики в Саисе» включена маленькая притча о юном Гиацинте, оставившем свою любимую Розенблюť и отправившемся в неизъяснимой тоске на поиски сокровенной тайны бытия, матери всех вещей. После долгих скитаний он пришел в Саис и в храме Изиды, отбросив покрывало богини, узрел... свою Розенблюť. Мораль притчи проста: тайна бытия рядом с тобой, в простом чувстве любви. Романтики умели не только мечтать и грезить о далеком, несбыточном, но и находить свои идеалы в близком, повседневном, человеческом. Кто обвинит их в противоречивости? Противоречий полна сама жизнь. А она для романтиков выше всего. Они чураются абстрактного мышления, видя в нем если не умершее чувство, то, во всяком случае, жизнь серую и чахлую.

В литературе они ищут универсальную форму, которая полнее всего соответствовала бы богатству жизни. Они против жестких рамок художественного жанра. Универсальную форму они видят в романе (отсюда и название «романтизм»!). «Роман — это жизнь в форме книги», — говорит Новалис. Образцом для них служит «Вильгельм Мейстер» Гёте. Впрочем, Фридрих Шлегель к «романам» причисляет и драмы Шекспира. Термин еще не устоялся, понятия не прояснены. «Романтический» для романтиков — значит «всесторонний», «соответствующий жизни», «взятый из истории». Одновременно возникает и другое значение слова — «выходящий за рамки повседневности».

«Люцинда обладала решительной склонностью к романтическому... Люцинда была из тех, кто живет не в обыденности, но создает свой собственный, выдуманный мир, построенный по собственным законам». Это цитата из повести «Люцинда» Фридриха Шлегеля. Братья Шлегель считались теоретиками романтизма. (Старший — Август Вильгельм, элегантный, подвижный, слегка поверхностный и легковесный, но всегда блестящий и одухотворенный и в то же время педантичный: младший — Фридрих, глубокомысленный, внешне склонный к полноте, внутренне — к основательности.) В 1798 году Шлегель начали издавать журнал «Атеней», который явился как бы свидетельством о рождении нового идейного направления.

Стремясь к универсальности, всесторонности, братья пробовали свои силы в области художественного творчества. Август Вильгельм переводил Шекспира, писал стихи. Фридрих — прозу. Его «Люцинда» — одно из лучших произведений романтиков в этом жанре.

Шлегель назвал «Люцинду» романом. Но это вовсе не роман, скорее философская повесть или художественно выполненный трактат на тему о чувственной страсти. И здесь тоже полемика с Фихте, который в своих «Основоположениях естественного права» коснулся интимной стороны жизни. Фихте постулировал «разумность» полового наслаждения для мужчины и «неразумность» для женщины. Это была попытка «философски» обосновать двойной стандарт полового поведения, доставшийся в наследство от патриархата, — один для «сильного», другой для «слабого» пола. Что украшает одних, не к лицу другим. Что позволено Юпитеру, не позволено быку.

Фридрих Шлегель (вслед за Кантом) отстаивает равное право на наслаждение. Более того, он считает признаком мужественности способность не только наслаждаться самому, но и дать наслаждение женщине. Шлегель пишет о «высоком художественном чутье в области сладострастия». Это и природный дар, и результат воспитания.

В «Люцинде» рассказана история возмужания героя. В юные годы «любовь без объекта пылала в нем и разрушала его организм». Затем приходит влюбленность, стремление и боязнь лишиться невинности любимую девушку, чего он так и не Сделал в решительный миг (причем при следующем свидании «девочка казалась скорее недовольной, что ее не соблазнили до конца»). Затем близость с дамой полусвета. Затем подлинная, глубокая любовь к женщине, которая выбрала его друга. И другие женщины. И наконец, связь с уже сформировавшейся женщиной, Связь, в которой Юлий находит успокоение. О любви он больше не думает. Его радует удивительное совпадение темпераментов, взаимная радость от обладания друг другом. (В романе есть глава, состоящая только из одних, порой бессвязных, реплик, которыми обмениваются любовники, и мы видим, как гармонично протекает их близость.) Близость телесная рождает близость духовную. Общие интересы и вкусы в искусстве. И вдруг приходит осознание того, что это и есть любовь, новая, безграничная, сильнейшая.

Фридрих Шлегель сам пережил нечто подобное — несчастную любовь к женщине (ставшей женой брата), затем связь с замужней дамой старше его на семь лет. Доротея Файт (дочь философа Моисея Мендельсона), некрасивая, но темпераментная женщина, окружила Фридриха Шлегеля

обожанием. В конце концов, она оставила мужа-банкира и сочеталась браком с писателем.

Эта история скандализировала берлинское общество. По еще больше — роман «Люцинда». Он встретил враждебный прием критики и публики. «Гениальное бесстыдство», «эротическая безвкусица», «скука и отвращение, удивление и презрение, стыд и печаль» — такие оценки «Люцинды» можно найти в прессе и частной переписке того времени. «Вершина современного разрушения формы и естества», — назвал роман Шлегеля Шиллер.

Среди немногих, кто вступился за автора, был берлинский проповедник Шлейермахер, богослов романтизма. Он не только опубликовал хвалебную рецензию на книгу, но и специальную работу в ее защиту («Доверительные письма по поводу „Люцинды“»). „Как можно говорить о том, что здесь не хватает поэзии, — писал Шлейермахер, — . когда здесь столько любви. Любовь делает это произведение не только поэтичным, но и религиозным и нравственным“.

Культ любви — важнейшая ипостась романтизма. (Недаром „романтический“ — синоним „любовного“!) Женщине в романтическом движении была уготована особая роль. Это фермент творчества, объект поклонения, но одновременно и соратница в борьбе. Среди муз романтизма первое место бесспорно принадлежит будущей жене Шеллинга.

Урожденная Михаэлис, по первому мужу — Бэмер по второму — Шлегель, по третьему — Шеллинг, она вошла в историю раннего романтизма просто под именем Каролины.

Ее никто не считал красавицей, но она умела быть удивительно женственной, обаятельной. Природный ум, интерес к людям, чуткость, отзывчивость делали ее душой общества. Она кружила голову мужчинам, вдохновляла поэтов и философов, вокруг нее всегда царила атмосфера обожания. Она шла навстречу своей судьбе, не задумываясь о последствиях. Это была сама романтика.

Вокруг ее имени возникали, правда, и дурные слухи. Иные видели в ней эгоистку и интриганку. Шиллер называл ее „мадам Люцифер“. И все же нельзя не верить тому словесному портрету, который начертал в „Люцинде“ Фридрих Шлегель.

„В ее натуре было все то высокое и грациозное, что только может быть свойственно женщине: все божественное и все непослушное, отмеченное печатью утонченности, культуры, женственности. Свободно и мощно развивалась и проявляла себя каждая особая черта, как если бы была единственной, и тем не менее это богатое дерзкое смешение столь

различных качеств в целом не являлось простой сумятицей, ибо его одушевляло вдохновение, живое дыхание гармонии и любви. Она могла в течение одного и того же часа изображать какую-нибудь комическую сценку с выразительностью и тонкостью заправской актрисы и читать возвышенные стихи с чарующим достоинством безыскусного напева. То ей хотелось блистать и развлекаться в обществе, то она вся превращалась во вдохновение, то помогала советом и делом серьезно, скромно и дружески как самая нежная мать. Ничтожный эпизод благодаря ее манере рассказывать становился очаровательным, как красивая сказка. Все пронизывала она чувством и остроумием, во всем она обладала вкусом, и все выходило облагороженным из ее творческой руки и ее сладкоречивых уст. Ни одно из проявлений доброго и великого не было для нее столь святым или столь обыкновенным, чтобы воспрепятствовать ей принимать в нем страстное участие. Она воспринимала каждый намек и отвечала даже на вопрос, который не был задан“.

Каролина Альбертина Доротея Михаэлис родилась в 1763 году в семье известного профессора-ориенталиста. Двадцати одного года она вышла замуж за врача Вильгельма Бэмера, который через четыре года оставил ее вдовой с двумя детьми. Одна девочка вскоре скончалась. Другая — Августа, — нежно любимая, сопровождала ее во всех жизненных скитаниях.

Каролина влюблялась, в нее влюблялись. Геттингенский студент Август Вильгельм Шлегель готов был на ней жениться, она отвергла его домогательства: „Шлегель и я! Мне смешно, когда я пишу об этом. Нет, это точно — из нас пара не получится“.

Геттинген, Марбург, снова Геттинген, наконец, Майнц, куда она приехала по приглашению семейства Форстер. Георг Форстер — натуралист и философ, прославивший себя описанием кругосветного путешествия Кука, в котором ему довелось участвовать, — в браке был несчастлив. Когда наступили в его жизни сложные времена, жена оставила Форстера.

В октябре 1792 года Майнц взяли французы. Город объявил себя коммуной и присоединился к Франции. Во главе майнцских „якобинцев“ стоит Георг Бэмер, родственник покойного мужа Каролины. Форстер втягивается в революционное движение и становится одним из его лидеров.

Каролина воодушевлена происходящими событиями. „Какие перемены за восемь дней! Генерал Кюстин живет во дворце Майнцкого курфюрста. Здесь в парадном зале собирается немецкий якобинский клуб. Улицы кишат национальными кокардами...

...В городе 10000 солдат, но повсюду господствует тишина и порядок. Дворяне все убежали, а с бюргерами обращение самое достойное. Это политика, но если бы солдаты были распущенными, какими их обычно изображают, если бы не строгая дисциплина, если бы не воодушевляло их сознание гордости за свое дело и не учило великодушию, было бы невозможно избежать бесчинств и грабежей“.

У Каролины складываются весьма своеобразные отношения с Форстером. Вначале ее угнетала необходимость разрываться между поссорившимися супругами, но после отъезда Терезы она целиком, на стороне покинутого мужа. Живет его интересами, жалеет его, заботится о нем. Возникает духовная близость, „Я его подруга, только не во французском смысле этого слова“ — так характеризует она их отношения. Каролина, по ее словам, выполняет при Форстере „должность моральной сестры милосердия“. Как только Форстер отправился в Париж (с делегацией майнцских клубистов), Каролина покидает Майнц.

Она попадает в руки пруссаков. Ее принимают за жену Георга Бэмера, в ней видят любовницу Форстера и самого генерала Кюстина (командующего французскими войсками на Рейне). Как опасную государственную преступницу и ценную заложницу, ее помещают в крепость Кенигштайн. Обращение самое грубое. В тюрьме, к ужасу своему, Каролина обнаружила, что она должна стать матерью. (К этому не были причастны ни Бэмер, ни Форстер, ни Кюстин; виновник — французский офицер Дюбуа-Крансе, мимолетное увлечение, совсем мальчик, которого она потом никогда не видела.)

Каролина в отчаянии, она; думает о самоубийстве: „Я дала себе определенный срок. Если в течение него не придет спасение, я перестану жить, моему ребенку лучше остаться сиротой, чем иметь опозоренную мать“.

Спасение пришло. Брат помог ей выйти на свободу. Но все от вернулись от нее, ее имя окружено позором. И тут появляется подлинный спаситель — отвергнутый ею четыре года назад Август Вильгельм Шлегель. Он увез Каролину в глухой провинциальный городок, где ее никто не знал, и оставил на попечение брата. Здесь она произвела на свет мальчика (который через два года умер). При крещении ребенка она назвала себя вымышленным именем — Юлия Кранц, замужем за Юлиусом Кранцем, коммерсантом (юный Жан-Батист Крансе, видимо, не подозревал о своем отцовстве: он сражался где-то под знаменами французской республики и погиб в одном из ее многочисленных сражений).

Крестным отцом ребенка был Фридрих Шлегель. Он не замедлил

влюбиться в Каролину и наверняка стал бы ее любовником, если бы не видел в ней невесту своего старшего брата. (Ситуация описана в „Люцинде“.) В 1796 году Август Вильгельм женился на Каролине. Обосновались они в Иене.

На восходящую философскую звезду — Шеллинга — романтики не могли не обратить внимания. В марте 1797 года Фридрих Шлегель, тогда яркий фихтеанец, опубликовал восторженную рецензию о статьях Фихте и Шеллинга в „Философском журнале“. Остывая к Фихте, он охлаждался и к Шеллингу. „Идеи к философии природы“ ему решительно не понравились. Новалис, вначале с интересом читавший эту книгу, затем под влиянием Шлегеля изменил свое мнение. Но личность Шеллинга притягивает обоих. „С Шеллингом хочу познакомиться как можно скорее, — пишет Новалис Шлегелю. — В одном отношении он мне импонирует больше, чем Фихте. Шеллинг мог бы соперничать с тобой в силе, он превосходит тебя в четкости, но как узка его сфера по сравнению с тобой“. Фридрих Шлегель не согласен: „Я превосхожу Шеллинга в силе, как меня пока превосходит Фихте“.

Новалис был первым из романтиков, кто встретился с философом. Как мы помним, это произошло в декабре 1797 года. Фридриху Шлегелю он сообщал: „Я познакомился с Шеллингом. Я ему откровенно заявил о нашем недовольстве его „Идеями“. Он согласился со мной и надеется во второй части начать более высокий полет. Мы быстро стали друзьями“.

Вторая книга „Идей“ так и не появилась. Вместо нее Шеллинг написал трактат „О мировой душе“, воодушевивший Гёте. У романтиков книга успеха не имела. „В мировой душе“ божественная небрежность... Вся его философия мне представляется оледеневшей, я не просто опасаюсь чахотки, я уже вижу, как она начинается. Его так называемая энергия — всего лишь румянец, пылающий на щеках у таких больных. Для него всю жизнь составляют одни только плюсы и минусы» (Ф. Шлегель — Шлейермахеру).

Но личные отношения налаживались. В мае 1798 года с Шеллингом познакомился Август Вильгельм Шлегель. Видимо, тогда состоялось приглашение провести конец лета в Дрездене, где уже была Каролина, куда собирались его брат и Новалис. Шеллинг приглашение принял и в назначенный срок прибыл в назначенное место. Здесь впервые увиделся он с главным теоретиком романтической школы Фридрихом Шлегелем. Отношения установились приятные, но сдержанные.

И в Иене первое время оставалась дистанция. Шеллинг бывал в доме Августа Вильгельма, своего коллеги по университету, иногда, видимо,

переписывался с Фридрихом (письма не сохранились), жившим в Берлине. «Первый набросок системы натурфилософии» сблизил позиции. Сближению способствовал обнаружившийся у Шеллинга интерес к искусству, к поэзии. Свой третий семестр в Иене Шеллинг намеревался открыть чтением лекционного курса по философии искусства. Фридрих Шлегель размышлял над тем, не привлечь ли Шеллинга к сотрудничеству в «Атене».

В сентябре 1799 года Ф. Шлегель перебрался на житье в Иену. За ним последовала Доротея (пока еще Файт). Вскоре здесь поселился и Тик. Временами наезжал Новалис. Так возник Иенский кружок романтиков, просуществовавший до весны следующего года.

Следует ли считать Шеллинга философским метром кружка? И да и нет. Он был не только постоянным гостем в доме А. В. Шлегеля, в сентябре он здесь поселился. Он разделял многие убеждения романтиков, их разочарование в идеалах Просвещения и французской революции, их стремление найти новые пути в духовной жизни — в философии, в науке, в искусстве. Их сближала любовь к природе (чем не мог похвастаться Фихте); препятствием, однако, служила разница в устремлениях: романтики мечтали «слиться с природой». Шеллинг думал над тем, как ее познать. Романтики принимали идущую от Канта и разрабатываемую Шеллингом идею двойственности бытия — мира природы и мира свободы. Но Шеллинг пытался построить *систему* натурфилософии и *систему* трансцендентальной философии, романтики же отвергли саму идею упорядоченного мышления. Отсюда их культ иронии, который далеко не всегда приходился по вкусу Шеллингу. Романтики полны благоговейного отношения к религии, а Шеллинг еще не разделался с просветительским скепсисом.

Единым фронтом выступают они против «Иенской всеобщей литературной газеты». А. В. Шлегель активно сотрудничал в «Литературной газете», за три с половиной года опубликовал на ее страницах около 300 статей. И вдруг разрыв.

«Литературная газета» осыпала похвалами анонимно изданный роман берлинца Николаи «Интимные письма Адельгейды Б.». В свое время Николаи кидался на Шиллера и Шеллинга. Теперь он принялся за романтиков. Его роман — поверхностная сатира на новое направление.

Герой романа и его друзья, полные сумасбродных идей, поварили цитатами из «Атенея».

А. В. Шлегель призвал к ответу редактора «Литературной газеты» Шюца. Не удовлетворившись его объяснениями, он напечатал в отделе

объявлений газеты заявление о том, что прекращает с ней сотрудничать.

У Шеллинга возникли свои счеты с «Литературной газетой». С солидным опозданием в начале октября 1799 года она наконец откликнулась на его «Идеи и философии природы». В редакции давно лежала отрицательная рецензия. Печатать ее не решались. Между тем автор рецензии настаивал на публикации. В конце концов она была напечатана, а вслед за ней вышла другая, в общем положительная, задуманная как противовес первой.

Шеллинг не оценил благих устремлений редакции. Как всегда в подобных случаях, возмутился и тут же написал резкое заявление для опубликования в газете. Шюц вернул ему текст, потребовал смягчить тон. Шеллинг уступил. Шюц все равно тянул с публикацией. Шеллинг требовал свое, бомбардируя Шюца письмами. Только через месяц наконец появилась его «Просьба к господам, редактирующим „Всеобщую литературную газету“». Шеллинг настаивал на третьей рецензии и предлагал в качестве автора... себя самого.

Редакция не шла на попятную. Рядом с «Просьбой...» она тиснула и свой ответ, в котором говорилось, что при всем уважении к профессору Шеллингу газета не может позволить себе в третий раз возвращаться к его труду, который к тому же устарел, ибо профессор сам признает, что «реформировал» свои взгляды. Рецензировать надо его новые работы. Авторецензии газета не принимает, но она готова выслушать господина профессора, если у него есть предложения относительно возможных рецензентов его работ, с тем чтобы выбрать из них наиболее подходящего.

Одно время казалось, что примирение Шеллинга с «Литературной газетой» возможно. Он предложил в качестве рецензента своего ученика Стеффенса. При посредничестве А. В. Шлегеля со Стеффенсом начали переговоры, и он приступил к работе. Но потом все расстроилось. «Литературная газета» заявила, что она не публикует студенческие сочинения. Это была отговорка, к тому же плохо придуманная: Стеффенс хотя и ходил на лекции Шеллинга, но студентом не был, несколько лет он уже числился приват-доцентом в Киле. Истинная причина состояла в другом. Однажды в случайном разговоре Хуфеланд (вместе с Шюцем редактировавший «Литературную газету») спросил Стеффенса, считает ли он, что пределом истолкования природы являются работы Канта. Стеффенс ответил отрицательно и сослался на исследования Шеллинга. Разговор на этом оборвался, но вместе с ним и сотрудничество Стеффенса в «Литературной газете», которая не желала поддерживать ничего нового ни в искусстве, ни в философии.

Расхождения Шеллинга и романтиков касались проблемы религии. В 1799 году вышли в свет «Речи о религии» Шлейермахера. Ни в одном из своих произведений романтики не рвали столь решительно с традицией Просвещения, чем здесь. Шлейермахер вслед за Кантом разводил в разные стороны веру и знание. Религия не может быть метафизикой. Но и кантовская трактовка религии «в пределах только разума» тоже неверна. Религия не мораль и не средство ее упрочения. Религия — это особое чувство зависимости от бесконечного.

Иенские романтики увлечены книгой Шлейермахера. Под ее непосредственным впечатлением Новалис пишет статью «Христианство или Европа». Здесь религиозные искания «опрокидываются» в прошлое. У Новалиса — ностальгия по добрым старым временам, когда единая католическая вера объединяла Европу.

А что Шеллинг? Впоследствии он станет почитателем Шлейермахера. Пока он просто читатель, к тому же недовольный и придирчивый. И статья Новалиса у него вызывает раздражение. В результате возникает «Эпикурейский символ веры Гейнца Видерпоста», с которым мы уже немного знакомы. По словам Фридриха Шлегеля, Шеллинг написал свою поэму «в новом приступе своего старого энтузиазма иррелигиозности». Читатель уже знаком с десятью строками из нее, где Шеллинг утверждает примат материи, которая «всего, что на свете есть, прародитель». Далее речь идет о религии.

Моя религия предельно проста:
Жаркие надо любить уста,
Стройные бедра, высокую грудь,
Ну и живые цветы не забудь!
Вот оно — любви пропитанье,
Радости сладкое ожиданье.
Такой религии я не враг,
Без нее никуда ни на шаг.
А из всего остального, что знаю,
Католическую веру я выбираю.
Ту, что была в стародавнее время
И не лежала на людях как бремя.
В те времена — ни споров, ни брани,
Сидели все дома и знали заранее,
Что бог-небесную твердь сотворил
И обезьяну нам подарил.

Считали Землю центром мира,
А центром Земли — Рима порфиру.
В Риме Сидел наш господин
И управлял миром один.
Поп и приход припеваючи жили,
Сколько хотели, ели и пили.
В другую теперь мы живем эпоху,
От былого величья — одни только крохи.
И самый благочестивый католик
Страдает, как все, от желудочных колик.
Вот почему я от церкви отрекся,
Слушать проповеди зарекся,
Не хожу на исповедь в божий храм
И не советую вам.

Иронические эскапады против католицизма — камень в огород Новалиса. В Иенском кружке назревает разброд. В качестве компромисса кто-то предложил опубликовать в. «Атенее» и то и другое: и «Эпикурейский символ веры», и статью Новалиса. Ф. Шлегель готов на это пойти. А. В. Шлегель и Доротея Файт — решительно против. В арбитры приглашают Гёте. По его совету не печатают ни то ни другое.

Богохульную часть поэмы Шеллинг при жизни издать не решился. Свет увидела только часть натурфилософская, где автор призывает к постижению природы. Когда знаешь природу изнутри и снаружи, этот зверь превращается в ленивое, послушное животное, которое никому не угрожает. Все подчинено законам, овладей ими, и оно будет лежать у твоих ног. В нем таится исполинская сила, заключенная, однако, в панцирь, вырваться из которого не так-то просто. В маленьком карлике по имени «человек» мир пришел к самопознанию. Просыпается дух великана и не узнает самого себя. Как бог Сатурн, пожирающий своих детей, уже готов он поглотить карлика, но потом быстро утихает, понимая, что это он сам. В мире свершается «второе творенье»: руками создающего человека.

Сравните «Эпикурейский символ веры» с «гётевской» «Природой» и с тем, что говорится в повести «Ученики в Саисе» Новалиса. Разница в интонациях очевидна. Каждый объясняется в любви к природе, но делает это на свой лад. Каждый по-своему прав. Истина, видимо, состоит в том, чтобы объединить позиции — гётевское преклонение перед природой, романтическую тревогу за ее судьбу и шеллинговский культ

природопознания.

Полного единства в кружке иенских романтиков не было изначально. И все же, проявляя минимум терпимости, мужчины могли бы сосуществовать. Напряжение создавали женщины. Они разрушили кружок.

На Каролину Шеллинг сразу произвел сильное впечатление. В письме к Фридриху Шлегелю она называет его «человек, пробивающий стены» и добавляет: «Поверьте, мой друг, как человек он интереснее, чем вы думаете, — подлинно, первозданная натура; если сравнить с минералами — настоящий гранит». На что приходит от Шлегеля игривый ответ: «Где найдет Шеллинг, гранит, подходящую себе пару? Она должна быть по крайней мере из базальта. Это не пустые слова; мне кажется, что его любовные способности ничтожны». Их оказалось достаточно, чтобы разрушить семейное счастье его брата.

Каролину сердит, что Шеллинг равнодушен к ее чарам. Ей передали его слова, что он не даст себя околдовать. Она удивлена и полна любопытства. «Что касается Шеллинга, — признается она Новалису, — то я никогда не сталкивалась с более твердой скорлупой. Вместе мы не можем пробыть и шести минут без колкостей, и все же он во всех отношениях самое интересное из того, что я знаю, и мне бы хотелось видаться с ним чаще и доверительнее. Он всегда на страже по отношению ко мне и к иронии, которая царит в семье Шлегеля. Поскольку он вообще не расположен к веселью, он не может сразу схватить веселую сторону иронии. Напряженная работа часто мешает ему бывать на людях. Он не может болтать попросту или о чем-то рассказывать, поэтому есть в нем какая-то скованность, секрет которой я пока не смогла разгадать. Недавно мы отпраздновали его двадцатичетырехлетие. У него есть еще время стать мягче».

Еще весной 1799 года Шеллинг начал столоваться в доме А. В. Шлегеля. Но знаки внимания он оказывает не хозяйке дома, а ее подрастающей дочери. Августа смущена, дерзит профессору, отвергает его ухаживания.

Потом они подружатся. И перейдут на «ты». К своему отчиму Августу полна антипатии. Возможно, что она следует примеру матери: Каролина никогда не любила своего второго мужа, а чувство благодарности к Августу Вильгельму, пришедшему к ней на помощь в трудные дни, быстро улетучилось. В Иене она относится к нему «с холодным презрением», как свидетельствует очевидица.

В сентябре Августу отправляют на два месяца в Дессау к знакомым. В ее отсутствие Каролина находит наконец путь к сердцу Шеллинга. В

письме к дочери она невольно выдает свой успех: «То, что ты последний раз сказала о Шеллинге, очень некрасиво. Если ты будешь против него так ершиться, то я могу надумать, что ты ревнуешь свою матушку... Я расскажу тебе, как доказал Шеллинг, что может быть милым: тайком он подарил мне черные перья на шляпу, которые очень мне идут. Подумай только. Я была совершенно смущена».

Знакомые начинают замечать, что в доме Шлегеля творится неладное. Ползут слухи. Фихте, обеспокоенный, пишет из Берлина своей жене: «Обрати внимание на Шеллинга и Шлегельшу. Я прошу тебя ради нашей любви... Шеллинг создает дурную репутацию, и мне жалко его. Если бы я был в Иене, я предостерег его. Беда в том, что в подобных случаях участники думают, будто никто ничего не видит, потому что никто ничего не говорит да тех пор, пока не начнется публичный скандал. Неужели муж не может положить этому конец?»

Муж? Ему в этой игре отведена роль последней пешки. Однажды после небольшого бала у Шлегелей одна гостья, вернувшаяся в зал, застаёт неприятную сцену: муж в слезах, а жена что-то резко ему выговаривает.

Впечатлительной Каролине возникшая ситуация тоже дается нелегко. Фридрих Шлегель, Доротея, Тик перестали разговаривать с Шеллингом. Сидя за общим столом, делают вид, что его нет. Каролина устраивает сцены Фридриху, но тот ледяным тоном поучает ее. Нервное напряжение переходит в нервное заболевание. В марте 1800 года состояние Каролины ухудшилось, врачи рекомендуют поездку на воды. Шеллинг называет курорт — Боклет. Это недалеко от Бамберга, где есть хорошие медики и где Шеллинг намеревается продолжить занятия медициной, начатые еще в Лейпциге.

В конце апреля все готово к поездке. «Она намерена еще на этой неделе уехать вместе с Шеллингом в Бамберг, а оттуда ездить к источникам. Этот план, который они, по-видимому, между собой давно обсудили и приняли, только вчера Шеллингом был подробно доложен Вильгельму. Последний сразу согласился, имея в виду ее выздоровление... Итак, она уезжает, и мы вздохнем свободно».

Эти слова принадлежат Доротее Файт. Пишет она об иенских делах Шлейермахеру и не скрывает своего недоброжелательного отношения к Каролине.

Между двумя «музами» Иенского кружка всегда существовала плохо скрываемая неприязнь. Шеллинга Доротея тоже не жаловала. Теперь все это выливается в открытую вражду. Доротея (в другом письме Шлейермахеру) предрекает влюбленным близкий разрыв.

«Она будет счастлива с Шеллингом не дольше, чем была с Вильгельмом, потому что завоевала его уловками: у него была к ней решительная антипатия, как к любой духовно богатой женщине. Неужели она думает, что такая предрасположенная к грубости натура из любви к ней может измениться, ведь она знает его отвращение к образованным женщинам. Как может она принимать страсть новичка за любовь и доверить себя человеку, потерявшему голову? Она не имела права так поступать...

Ее ненависть к Фридриху объясняется тем, что она видит в нем виновника вражды Вильгельма к Шеллингу, и она права: он действительно виновник, и я с ним здесь заодно. Если бы Вильгельм не стыдился Фридриха, то между ними троими все было бы мирно и культурно. Каролина принадлежала бы сегодня одному, а завтра другому, и какая-нибудь смазливая горничная, а то и сама Августа завершила бы этот брак вчетвером».

Иенский кружок распадался в судорогах. 2 мая город покинул Шеллинг. Через четыре дня выехала Каролина с Августой. Они условились по дороге встретиться и продолжить вместе путь в Бамберг.

*

Незадолго до отъезда из Иены Шеллинг нанес прощальный визит своему веймарскому благодетелю — Гёте. Посетил также Шиллера, жившего теперь в Веймаре (в отличие от романтиков у Шеллинга сохранялись добрые отношения с поэтом). Каждому преподнес свою новую, только что появившуюся книгу «Система трансцендентального идеализма».

Книга открывается постановкой проблемы, которую мы сегодня называем основным вопросом философии. Что первично: дух или природа? «Всякая философия должна всходить из того, что *либо* природа создается разумностью, *либо* разумность природой».

Естествознанию свойственна тенденция переходить от природы к духу. Натуралист открывает законы, оразумливает природу; благодаря этому естествознание превращается в натурфилософию, «которая является основной философской наукой».

Антипод натурфилософии — трансцендентальная философия. Она исходит из первичности субъективного духовного принципа. Шеллинг называет ее «другой основной философской наукой». (Отнюдь не

единственной и даже не первой!) Это «знание о знании».

Шеллинг по-прежнему полон любви к природе и почтения к естествознанию. «Как ни стараешься избавиться от природы, она всегда настаивает на своем» — это латинское изречение он напоминает тем, кто готов отмахнуться от окружающего нас, мира. Шеллинг не отрекается от своих прежних работ. Он их по-прежнему ценит и отсылает к ним своего читателя.

В новой работе Шеллинг просто переходит к другому кругу проблем. Те, что поставили Кант и Фихте, частично решили, а частично сделали предметом размышления. Главное открытие Канта в «Критике чистого разума» — активность познания. Шеллинг раздвигает рамки этого открытия. Кант показал, как с помощью воображения рассудок конструирует понятия. Воображение помогает и чувствам создавать образы.

Современная психология экспериментально доказала, что и на уровне чувств происходит активный творческий, порождающий процесс. Не только понятие, но и самый примитивный образ — духовная конструкция. А вот слова Шеллинга: «Настаивать на том, что Я сводится к простому *получению* представлений, к чистой пассивности, мы не имеем права». Это прыжок мысли в XX век.

Простейший акт познания — ощущение. Вся реальность познания опирается на ощущения, и Шеллинг называет «неудавшейся» любую философию, которая «не в состоянии объяснить ощущение». Старые рационалисты игнорировали ощущения, эмпирики видели их значение, но не могли растолковать, что это такое. Одного воздействия извне недостаточно для понимания ощущения. Упругое тело отскакивает от другого, зеркало отражает упавшие на него лучи, но это еще не ощущение. Весь вопрос в том, каким образом Я, субъект, переносит внешнее воздействие в свое созерцание, делает его фактом сознания. Объект никогда не обращается к самому себе, не осваивает воздействия на себя, ибо он пассивен. Субъект становится ощущающим в силу своей деятельной природы.

Ответить на вопрос о происхождении ощущения — значит назвать породившую его причину. Но «закон причинности распространяется только на однородные вещи (вещи, принадлежащие одному и тому же миру) и не допускает перехода из одного мира в другой. Ввиду этого превращение первоначального бытия в знание было бы понятно, если бы можно было бы показать, что также и представление является родом бытия: такое объяснение, во всяком случае, выдвигается материализмом, системой,

которую философу оставалось только приветствовать, если бы она действительно выполняла взятые на себя обещания. Однако материализм в том виде, как он до сих пор существовал, характеризуется полной непонятностью, а если он становится пригодным для понимания, его нельзя отличить от трансцендентального идеализма...».

Ценнейшее признание! Шеллинг по-прежнему тянется к материализму, но его не устраивает в известном ему материализме отсутствие диалектики. «Пригодный для понимания» материализм, то есть материализм, пронизанный диалектикой, по признанию Шеллинга, «нельзя отличить» от его философии. Как тут не вспомнить слова В. И. Ленина: «умный идеализм ближе к умному материализму, чем глупый материализм».^[4]

Продолжим шеллинговскую цитату: «...Объяснение мышления в качестве материального явления возможно лишь тем путем, что самое материю мы превращаем в призрак, в простую модификацию интеллигенции, которая обладает сообща функциями и мышления и материи. В силу этого материализм сам заставляет нас вернуться к духовному как к первоначальному. Правда, с другой стороны, не может быть и речи о таком объяснении бытия из мышления, будто бы первое получается в силу действия последнего...»

Снова прервем цитату. Что это за идеализм, отказывающийся признать первичность сознания, духа? Трансцендентальный идеализм Шеллинга непоследователен, отягощен реминисценциями его натурфилософии.

«...Между тем и другим (бытием и сознанием. — А. Г.) невозможна вообще какая-либо причинная зависимость, и никогда они не могли бы сочетаться вместе, если бы не были изначально едины в Я. Бытие (материя), рассматриваемое в своей продуктивности, является знанием, а знание, взятое в качестве продукта, есть бытие».

Последнюю фразу можно превратить в два афоризма. «Знание — это продуктивное бытие». Безусловно, верно. «Бытие — продукт знания». Верно относительно того бытия, которое порождено мыслящим, знающим человеком. Придать этой мысли всеобщий смысл, что сделал Шеллинг, — значит, совершить идеалистическую ошибку.

Идея активности познания логично приводит к другой идее, едва намеченной в гносеологии Кантом и подхваченной Шеллингом, — идее историзма. Шеллинг набрасывает систему понятий, которая, по его представлению, совпадает с действительным движением познания и конструирования реального мира. «Философия является... историей самосознания, проходящего различные эпохи». Термин «эпоха»

употреблялся раньше только применительно к истории человечества, Шеллинг включает его в теорию познания.

Изначальное тождество объекта и субъекта, духа и материи носит деятельный характер. Два противоположных вида деятельности — реальный, подлежащий ограничению, и идеальный, безграничный, сливаются в нечто третье, представляющее собой ощущение. Оно и идеально и реально одновременно, пассивно и активно.

В «первую эпоху» самосознание проходит путь от простого ощущения до продуктивного созерцания. Понятие продуктивного, или интеллектуального, созерцания — важнейшее в системе трансцендентального идеализма. С ним мы уже встречались. Это знание о предмете и одновременно порождение его. Как же конструируется материальный предмет? Материя существует в трех измерениях, которые создаются действием трех сил — магнетизма, электричества и химического сродства. Действие магнитной силы однолинейно, так рождается измерение длины; электричество растекается по плоскости, химический процесс протекает в пространстве.

«Вторая эпоха» простирается от продуктивного созерцания до рефлексии (размышления о самом себе). Третья — от рефлексии до акта воли. Таким образом Я, самосознание, восходит от мертвой материи к живой, мыслящей и далее к поведению человека. Мы мыслим категориями — предельно общими понятиями. Шеллинг не только перечисляет их — отношение, субстанция и акциденция, протяженность и время, причина и действие, взаимодействие и т. д. Он пытается построить их иерархию, показать, как распадается категория на две противоположные, как сливаются эти противоположности снова в одном, более содержательном, понятии, приближаясь все ближе и ближе к практической, поведенческой сфере деятельности человека. Возможность, действительность, необходимость — таковы последние ступени этой лестницы категорий, которая приводит вас в новый, верхний, этаж, где господствует свободная воля.

Когда вчитываешься в эти строки Шеллинга, невольно приходит на ум «Наука логики» Гегеля. Здесь перед нами ее предвосхищение, своеобразный зародыш. То, о чем Шеллинг рассуждает, пока еще робко, местами ярко, местами схематично, приобретет у Гегеля широкий размах, составит содержание двух объемистых томов, которые я по сей день являют собой образец диалектического мышления. Ничто не появляется на пустом месте.

У Шеллинга есть одно преимущество перед Гегелем: в его труде

видны земные корни диалектики, связь ее с естествознанием, с процессом развития природы. Гегель будет отрицать развитие в природе. Для Шеллинга это непреложный факт. В разделе о «второй эпохе» он ставит следующие вопросы:

Чем объясняется неизбежность органической природы вообще?

Чем объясняется необходимость восхождения по ступеням органической природы?

Откуда возникает отличие между одушевленной и неодушевленной организованностью?

В чем основная особенность всякой организованности?

Пытаясь ответить на эти вопросы, прослеживая, в частности, усложнение органов чувств, Шеллинг ссылается на естествоиспытателя Кильмайера. И специально останавливается на значении эмпирического знания для теоретических построений. Наше познание «насквозь эмпирично» и одновременно «сплошь априорно». Врожденных понятий не существует; априори, то есть до опыта нам дана лишь способность познания, его механизм. Работать этот механизм заставляет общение с природой.

Переходя к практической философии, Шеллинг подчеркивает, что в его задачу не входит подробное изложение системы этических понятий (как это сделал Кант в «Критике практического разума»). Шеллинга влечет новая, еще не изведенная им сфера умозрения — философия истории.

Действующее лицо истории — человек, наделенный свободой воли. Но, подчеркивает Шеллинг, разумное существо, пребывающее в полной изолированности, не может подняться до сознания свободы, не в состоянии дойти даже до осознания объективного мира. Лишь наличие других индивидов и никогда не прекращающееся взаимодействие индивида с ними ведет к завершению самосознания. Речь, следовательно, идет об общественной природе сознания и деятельности человека.

Мораль и право регулируют отношения индивида и общества. Шеллинг принимает кантовский категорический императив («Ты обязан хотеть только то, что могут захотеть все разумные существа вообще») как принцип поведения человека, принимает кантовскую идею изначального зла в человеке и заложенных в нем задатков добра, которые должны возобладать в результате морального воспитания.

Моральность соответствует природе человека. Но ее мало. Для того

чтобы полностью устранить возможность уничтожения индивидуальности в ходе ее взаимодействия с другими индивидуальностями, нужен еще принудительный закон. Над первой природой должна быть воздвигнута вторая, существующая исключительно ради свободы. Вторая природа — правовой строй.

Вслед за Кантом Шеллинг видит идеал общественного устройства в установлении всеобщего правового строя, который должен распространяться на отношения между государствами. Ни одно государство не может рассчитывать на безопасность, если не будет создана межгосударственная организация, «государство государств», своего рода федерация, члены которой взаимно гарантировали бы свою неприкосновенность. На случай распри народов должен быть создан общий ареопаг, куда войдут представители всех культурных наций с правом применять совместную силу всех стран против нарушителя международного спокойствия.

Движение общества к всемирно-гражданскому устройству — содержание истории. Здесь переплетается свободная деятельность людей с исторической необходимостью. «Человек хотя и свободен в отношении непосредственно своих поступков, но итог, к которому они приводят в пределах обозримости, зависит от необходимости, стоящей над действующим и соучаствующей даже в развертывании самой его свободы». Мы действуем совершенно свободно, с полным сознанием, но в результате в форме бессознательного возникает нечто такое, чего в помыслах наших никогда не было. Гегель назовет подобную комбинацию «хитростью разума».

До сих пор Шеллинг излагает или интерпретирует то, что писал Кант в своих статьях по философии истории. Далее, однако, следует нечто новое. Вернее, совсем древнее, восходящее к мистику XVII века Якобу Бёме. Почему, задает вопрос Шеллинг, к свободе привносится нечто такое, что этой свободе несвойственно, а именно закономерность? Да потому, отвечает он, что над тем и другим стоит нечто третье, высшее. Это высшее, начало не может быть ни субъектом, ни объектом, ни тем и другим одновременно, а «исключительно лишь *абсолютной тождественностью*, которая никогда не может подняться до уровня сознания ввиду отсутствия в ней какой-либо двойственности». (Раздвоение является предпосылкой любого сознания.) «Словно извечное солнце, сияющее в царстве духов и остающееся незаметным в силу незамутненности своего света, это извечно бессознательное, хотя и не может само стать объектом, вместе с тем всегда накладывает свой отпечаток на все свободные действия и таким является

для всех интеллигенций, составляя ту незримую сердцевину, по отношению к которой все интеллигенции представляются лишь потенциями».

Вот как понимает бога Шеллинг: «Бога нет, если мы будем брать в том смысле, какое присуще объективному миру; будь он, в ничто обратились бы мы сами; но он непрерывно дается нам в откровении». (Против такого безличного бога, «извечно бессознательного», лишённого бытия в общепринятом смысле, не страшно вознести хулу, что Шеллинг не преминул сделать в «Эпикурейском символе веры», который был написан одновременно с «Системой трансцендентального идеализма».)

Откровение абсолюта — это всемирная история. Три основных ее периода — судьба, природа, провидение. Период судьбы охватывает древнюю историю, взлет и падение древних царств, от которых осталось лишь слабое воспоминание. Второй период начинается с расширения границ Римской республики. В этот период действуют естественные законы, устанавливается общение между народами, которое должно завершиться союзом народов и «мировым государством». Только тогда открывается третий период, когда законы природы преобразуются в промысел провидения. Нельзя сказать, когда он наступит. «Но когда он настанет — тогда придет бог». Так заканчивает Шеллинг всемирную историю.

Но это еще далеко не все. Его труд охватывает весь круг проблем, затронутых в трех кантовских «Критиках». Осталась еще «Критика способности суждения», трактующая проблемы органических структур в живой природе и художественном творчестве. В «Системе трансцендентального идеализма» есть соответственно еще два раздела. Один из них, посвященный телеологии, предельно сжат: о том, как понимает Шеллинг живую природу, он высказался в теоретической части книги.

Что касается философии искусства, то здесь ему есть что сказать: он впервые высказывается на эту тему. И «первый блин» отнюдь не комом. Общение с романтиками пошло на пользу, легло на внимательное прочтение Канта. У последнего он заимствовал тезис — искусство преодолевает разрыв между природой и свободой — это промежуточная сфера, обладающая качествами и того и другого. Как вид творчества оно сочетает сознательные и бессознательные компоненты.

Кант сравнивал природный организм с органической структурой художественного произведения. Шеллинг устанавливает два важных различия. Организм рождается целостным; художник видит целое, но

творить его может по частям, создавая из них нечто потом уже нераздельное. Далее, природа начинает с бессознательности и лишь в конце концов приходит к сознанию: в искусстве путь иной — сознательное начало и бессознательное завершение начатого труда.

И еще одно важное отличие. Произведение природы не обязательно прекрасно. Произведение искусства прекрасно всегда. Иначе это не искусство. Искусство в широком смысле слова создается двумя разными видами деятельности. Один из них — искусство в узком смысле слова, умение, которому можно научить, которое сопряжено с рассуждением, опирается на традицию в собственные упражнения. Другой не может быть изучен — это свободный дар природы. Его можно назвать поэзией в искусстве. Поэтическое бессознательно.

Бессознательное бесконечно. Художник, помимо того, что входило в его замысел, инстинктивно вкладывает в свое произведение некую бесконечность. В результате подлинное произведение искусства содержит неисчерпаемость истолкований, будто автору было присуще бесконечное количество замыслов. В противоположность этому в произведении, имеющем лишь личину искусства, преднамеренность и искусственность сразу бросаются в глаза. Это рабский слепок с сознательной работы мастера, он годится разве что для размышления, а отнюдь не для созерцания, которое лишь в бесконечном может найти свое успокоение.

Эстетическое созерцание — высшая форма продуктивного созерцания. Это созерцание, которое обрело объективность, полноту и общезначимость. Философия служит целям «особенного направления духа», остается «вообще вне круга обычного сознания», никогда не может стать общезначимой: эстетическое созерцание «проявляется в любом сознании». Шеллинга не раз упрекали в аристократизме духа. Мы видим, что это несправедливо, Шеллинг озабочен как раз тем, чтобы сделать знание общедоступным. И считает, что общедоступность дает только искусство.

Искусство выше философии еще в одном отношении: «Хотя философия достигает величайших высот, но в эти выси она увлекает лишь частицу человека. Искусство же позволяет добраться до этих высот *целостному человеку*».

Самосознание достигает высшей своей ступени. В художественном творчестве находит свое завершение продуктивная природа. «Одиссея духа» закончена. Это конец пути, который одновременно является его началом. В искусстве самосознание снова приходит к природе. «То, что мы называем природой, — лишь поэма, сокрытая в чудесной тайнописи».

Чем багаже к концу трактата, тем поэтичнее выражает Шеллинг свои

мысли, тем решительнее превозносит поэзию как всеобъемлющий вид творчества. «Система завершена, когда она возвращается к своему исходному пункту. Но именно это с нами и случилось. Ибо в произведении искусства полностью освобождается от субъективности, объективируется до конца та первоначальная основа всякой гармонии субъективного и объективного, которая в своей изначальной тождественности может быть дана лишь в интеллектуальном созерцании. Таким образом наш объект — само Я — мы постепенно довели до того состояния, в котором находились сами, приступая к философскому размышлению.

Но если одному лишь искусству даровано превращать в объективно значимое то, что философ в состоянии излагать исключительно в форме субъективности, то отсюда можно сделать еще один вывод. А именно: раз философия когда-то на заре науки родилась из поэзии, наподобие того, как произошло это со всеми другими науками, которые так именно приближались к своему совершенству, то можно надеяться, что и ныне все эти науки совместно с философией после своего завершения множеством отдельных струй вольются обратно в тот всеобъемлющий океан поэзии, откуда они первоначально изошли».

И сегодня дух поэзии неистребим в науке. Творчество ученого может быть сродни творчеству в искусстве. Шеллинг не называет здесь имени Канта, но продолжает его рассуждения. В «Критике способности суждения» Кант противопоставил два вида творчества: художник — это гений, характер его озарений не поддается разумному истолкованию, иное дело ученый, в его деятельности все зависит от образования и усидчивости. Позднее Кант внес поправку: изобретение, то есть создание того, чего раньше не было, — удел «гения», в науке он тоже может проявить себя.

Шеллинг говорит о двух типах изобретения: «сциентистском» и «гениальном». В первом случае: «целое, система создается по частям, словно путем складывания». Для этого не требуется «гениальности». Она проявляется в том случае, когда идея целого предшествует частям. И еще в одном случае: когда утверждаются парадоксальные идеи, обгоняющие время, «безумные» идеи, как говорят ныне. Творчество научного «гения», как и художественного, свершается «путем внезапного совпадения сознательной и бессознательной деятельности». Шеллинг внятно произносит то, о чем у Канта можно было только догадываться.

Единство науки и поэзии существовало в древние времена в виде мифологии. Шеллинг предсказывает возникновение «новой мифологии». И сообщает, что он уже много лет работает над книгой о мифологии, которая выйдет в ближайшее время.

Мы помним, создание «новой мифологии» предрекал автор «Первой программы системы немецкого идеализма». Кто был его автором — Гегель, Шеллинг, Гельдерлин, двое из них или все трое вместе — неважно, важно то, что Шеллинг остается верным идеям, выношенным еще в Тюбингене.

«Система трансцендентального идеализма» предвосхищает «Феноменологию духа» в том плане, что здесь развернута «Одиссея духа» не менее величественная, чем в «Феноменологии». Впервые философские категории пришли в движение и система философии рассмотрена как история развития сознания, восхождения его к все более совершенным формам. Только для Гегеля абсолютная истина раскрывается в его собственной философии, а «мыслитель-поэт» Шеллинг отдает предпочтение искусству.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА ФИЛОСОФИИ

*Нет, моего к тебе пристрастья
Я скрыть не в силах, мать-Земля.*

Ф. Тютчев

Шеллинг поджидал Каролину в Заальфельде. Дальше они ехали в одной карете.

Из Заальфельда Шеллинг написал директору больницы в Бамберге Адальберту Маркусу, своему другу, попросил приготовить приличное жилье. Мадам Шлегель нужны четыре комнаты: небольшая, но уютная гостиная (мебель для начала — большая софа, два зеркала, стулья, столы, комод с секретером), спальня, по возможности рядом с гостиной, спальня для дочери и еще комната (может быть совсем никудышной) для служанки. Ему самому — две комнаты. Желательно все это на одном этаже, и чтобы не было посторонних соседей. Ему хотелось бы жить у профессора Решлауба. Если это неудобно, то в любом другом месте.

Маркус и Решлауб — адепты его философии, оба известные медики. Именно у них собирался Шеллинг расширить свои медицинские познания. Он ехал в Бамберг, не задумываясь над тем, что будет дальше. Здесь он, видимо, пробудет один семестр, затем, может быть, поедет в Вену, где особенно славен медицинский факультет. Все зависит от того, как сложатся обстоятельства.

В Бамберге Шеллинг и Каролина прожили вместе меньше месяца. В начале июня пришло траурное известие: его брат Готтлиб, императорский офицер, погиб в Италии. Шеллинг поспешил в Вюртемберг к родителям.

Вдогонку ему идут нежные письма. И от Каролины, и от ее дочери, с которой теперь у него поразительно добрые отношения. Августа не жаловала своего отчима (хотя тот считал ее своей дочерью и был предельно заботлив), а к Шеллингу (видимо, не без влияния матери) у нее возникло теплое чувство, своего рода совлюбленность. Августа пишет ему: «Огромное тебе спасибо за то, что ты придумал средство развлекать маму, действует оно прекрасно. Если все мои дурацкие выходки ее больше не радуют, то я говорю: „Как он тебя любит“, и она сразу становится

шелковой. Первый раз, когда я это ей сказала, она пожелала узнать, как ты ее любишь, и я не знала, что придумать, а сказала: „Больше всего на свете“, она была довольна, а я надеюсь, что это именно так.

Мы много о тебе думаем, дорогой Муль, и боимся, как бы французские солдаты не сделали что-нибудь с тобой, по ты уже, видимо, дома. Напиши нам подробно, особенно о твоей сестренке, кланяйся ей, пусть она с тобой приедет!..

...Доброй ночи, дорогой Мульхен, завтра напишу снова. Твоя Утгельхен».

Каролина клянется ему в любви: «Я пойду за тобой, куда ты захочешь, твоя жизнь, твои труды для меня святое дело, а служить святому делу, богу угодному, — значит царить на земле». Ни одного письма Шеллинга к Каролине, к сожалению, не сохранилось.

В июне Каролина с дочерью перебрались из Бамберга в Боклет, на воды. В начале июля сюда прибыл Шеллинг. Отсюда он пишет дружеское письмо Августу Вильгельму Шлегелю. Сохранилось написанное в таком же тоне и письмо Августа Вильгельма Шеллингу в Бамберг. Доротея Файт была нрава: между мужчинами не было и тени вражды. Неприязнь разжигал Фридрих Шлегель. И сама Доротея.

Шеллинг сообщал Вильгельму, что Каролину он нашел в полном порядке, совсем выздоровевшей. А вот Августа заболела. Через несколько дней, как только она понравится, можно будет вернуться в Бамберг. Писал он и о своей работе, о стихотворных опытах. «Если хотите нам написать, адресуйте письмо в Бамберг, где мы намереваемся быть числа двенадцатого».

Болезнь Августа быстро прогрессировала. Это была дизентерия, с которой тогда не умели бороться. Двенадцатого июля Августа умерла, Ее лечил обер-хирург Бюхлер из Киссингена. Шеллинг, видя, что положение больной ухудшается, не дожидаясь прихода профессора Решлауба, на свой страх и риск отменил некоторые назначения врача. Впоследствии тот, желая оправдаться, объяснял трагический исход вмешательством в свое лечение.



Леонберг. Старинная гравюра.



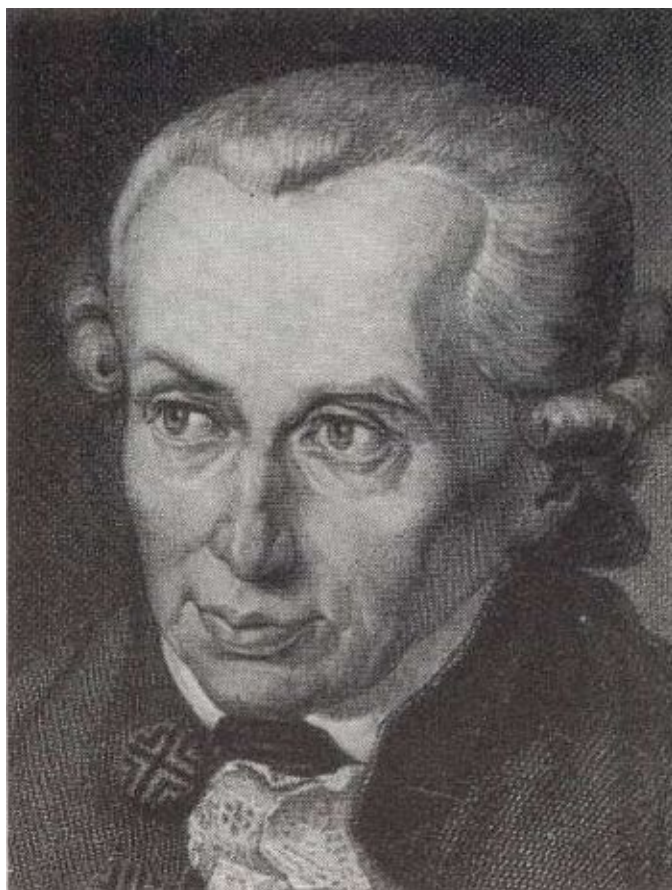
Леонберг. Дом, в котором родился Шеллинг.



Юный Шеллинг (силуэт).



Тюбинген. Интернат богословского факультета.



Кант.



Гегель.



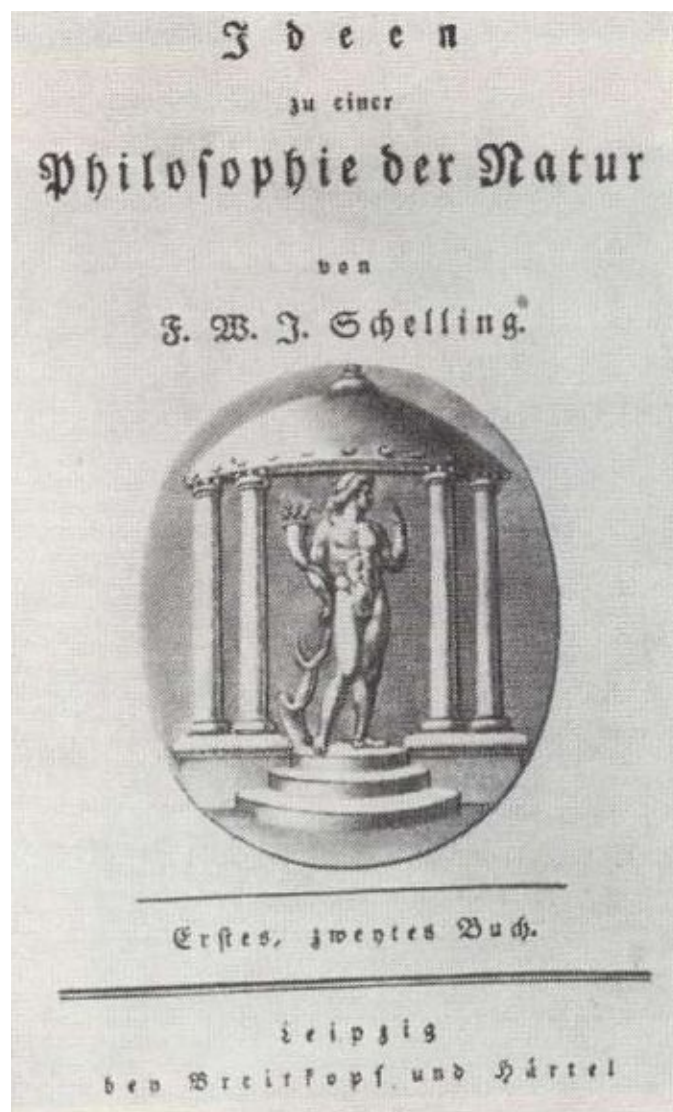
Фридрих Гёльдерлин.



Философская диссертация Шеллинга. 1792 г.



Фихте.



Титульный лист из книги «Идеи к философии природы».



Август Вильгельм Шлегель.



Новалис.



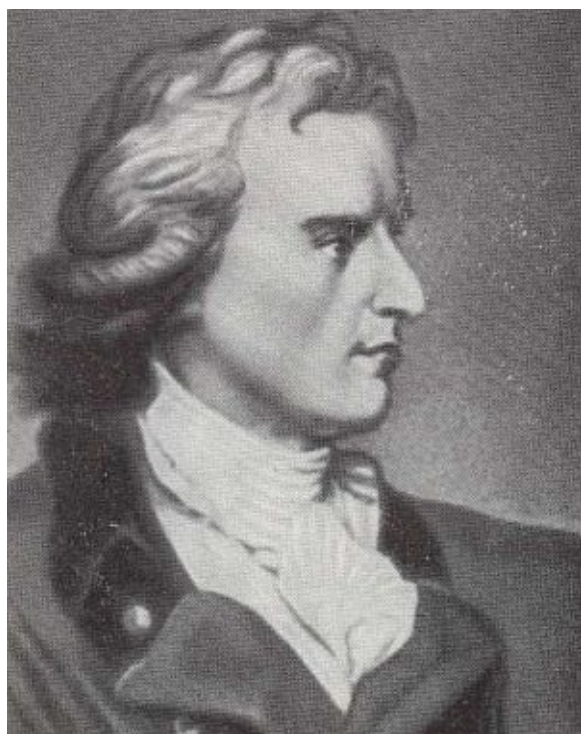
Людвиг Тик.



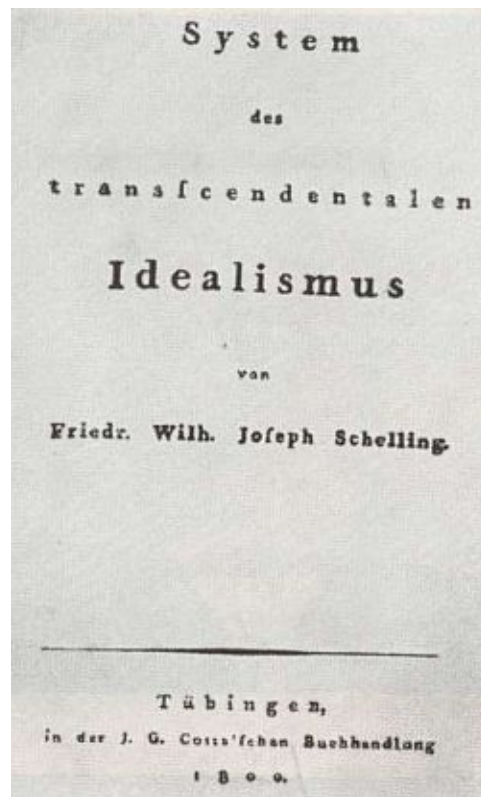
Фридрих Шлегель.



Гёте.



Фридрих Шиллер.



Титульный лист «Системы трансцендентального идеализма».



«Портняжное искусство на уровне понятия». Карикатура тех лет. Мастер (Фихте) говорит подмастерью (Шеллингу); «Идеальный момент в

этих штанах схвачен вами правильно, но интерпретация слишком субъективна».



Шеллинг. Пастель Ф. Тика. 1801 г.



Каролина.



Августа Бэмер.



Могила Каролины Шеллинг.



Рельеф работы И. Мельхиора. 1810 г.



Титульный лист работы «Об отношении изобразительных искусств к природе».



Фридрих Вильгельм Иосиф Шеллинг.



Шеллинг. 1809 г. Скульптура работы Ф. Тика.

Klafuz.	
So ihr den Vater bitten werdet, Joh. 10. Tagel. 14 Et. 37 M.	
15. Sonntag. Roger. + 2800 fr. Stanislaus. Flavio. 2 unt. 9 ll. 50 m. ab.	7 <i>An Oien.</i>
Montag. Michael Erich. Wiro. 1 aufg. 1 ll. 49' fr. 2 aufg. 4 ll. 40 m.	8 <i>Erfahrung wollen wir hüthen sein.</i>
Dienstag. Gregor. Max. Geron 2 aufg. 3 ll. 27' fr. 3 unt. 7 ll. 21 m.	9 <i>An Wundt, f. v. an</i>
Mittwoch. Anthonin. Gordian 2 in mittl. Erb. v. d. 2 3 aufg. 4 ll. 37 m.	10
Donnerstag. Stummefahrt Christi Namert B. Edelch. 7 aufg. 8 ll. 13' ab.	11 <i>Young Hön.</i>
Freitag. Pantroz. Modald. 1 aufg. 3 ll. 33' fr. 2 unt. 2 1/2.	12 <i>hif in Oftern in Kain</i>
Sonntag. Servaz. Petr. Reg. 3 unt. 3 ll. 5 m. fr. 4 unt. 7 ll. 27 m.	13 <i>fürmy Nagel in Wunn</i>

Страница из дневника Шеллинга 1809 года. Архив АН ГДР.



Бамберг.



Фридрих Якоби.



Стеффенс.



Шеллинг в 1833 г. Портрет работы К. Штилера.

Недоброжелателям это дало повод для злословия. Доротея Файт сплетничала: «У них не было при ней никакого врача, кроме совсем неизвестного человека откуда-то из-под Боклета... К довершению всего

Шеллинг полез со своей халтурой; за врачом в Бамберг послали лишь тогда, когда у нее до пояса все отнялось. Приехал Решлауб и застал ее мертвой».

В реакция Новалиса на смерть Августы тоже мало сочувствия. «Она взята на небе, потому что мать ее бросила... Для матери это серьезное предупреждение. Такого ребенка не получишь так просто, как любовника». Это пишется в письме к Фридриху Шлегелю, пишется в расчете на солидарность в оценке.

Август Вильгельм Шлегель глубоко потрясен случившимся. Гёте он сообщает, что умерла его дочь. И мчится в Бамберг.

Остаток леага они — Шеллинг, Каролина и Шлегель — проводят в Бамберге. Все трое в душевной депрессии. В октябре Шлегель увозит убитую горем жену в Брауншвейг к ее матери. Шеллинг, больной, возвращается в Иену.

Он искал успокоения в работе. В Бамберге ходил на занятия к Маркусу и Решлаубу, штудировал медицинские учебники. Читал философский курс. Писал для собственного «Журнала умозрительной физики».

Идея нового философского периодического издания возникла давно. Еще в Лейпциге Шеллинг вел переговоры о журнале с штутгартским издателем Коттой. В Иене идея окрепла. Журнал мыслился как орган послекантовского направления мыслей. Пионером и главой направления считался Фихте, ему надлежало и возглавить журнал. Предполагалось, что журнал будет подвергать критическому рассмотрению не отдельные книги, а философские позиции, те, что мешают движению вперед. «Спор об атеизме» и переезд Фихте в Берлин задержали реализацию плана. Обосновавшиеся в Иене романтики поддержали план Фихте — Шеллинга. «Критический журнал» мыслился теперь как философско-литературный. Но охлаждение отношений между Фихте и романтиками затягивало дело.

Тем временем Шеллинг договорился с издательством Габлера и стал готовить выход собственного натурфилософского журнала, где он был бы полным хозяином. Весной 1799 года он уже заказывал статьи. Первый номер «Журнала умозрительной физики» появился в апреле 1800-го (вскоре после выхода «Системы трансцендентального идеализма»). Он открывался рецензией Стеффенса на три книги Шеллинга — «О мировой душе», «Первый набросок системы натурфилософии». «Введение к первому наброску». Затем следовала статья Шеллинга «Об Иенской всеобщей литературной газете». Умозрительная физика, пояснял Шеллинг, — это натурфилософия. Задача журнала — споспешествовать новой области знания. «Пришло время, когда науки вступают в тесный союз друг

с другом, чтобы достичь высот, где интересы искусства и поэзии сливаются с интересами науки». Начало статьи было вполне поэтическим.

Дальше, однако, автор нисходил к прозе журнальной полемики. Он припоминал «Литературной газете» все ее грехи, все обиды. Как она поддержала обскуранта Николаи, в чем провинилась перед А. В. Шлегелем и перед ним самим. «Литературная газета» надевает маску нейтральности и беспристрастности. Шеллинг срывал эту маску. В научном споре не бывает середины. Да или нет, истина или ложь! Декретировать вечный мир в ученой среде — значило бы узаконить вечный застой. В гражданской жизни тяжба нежелательна, иное дело наука. Газета поддержала в свое время кантовскую философию, и это прославило ее. Теперь она строит козни против Фихте, против новых устремлений в медицине, и это ее погубит. «До каких пор будет продолжаться открытый и наглый обман публики, одобренный невероятным невежеством, безграничной безвкусицей и дурными принципами тех, кто пестует этот институт? До тех пор, пока порядочные писатели не выступят сообща против этого гнилого литературного болота, где царит засилье низких страстей, где чинят препоны развитию науки и искусства». Не довольствуясь тем, что его отповедь «Литературной газете» увидела свет на журнальных страницах, Шеллинг издал ее еще и отдельной брошюрой.

Ответ последовал немедленно. Шюц выступил с памфлетом «Защита от несправедливых нападок профессора Шеллинга на „Всеобщую литературную газету“». И подал в суд. Шеллинг ответил контриском. Суд нашел брань Шеллинга более виртуозной и оштрафовал его на десять талеров, Шюц отделался пятью талерами.

В первом номере «Журнала умозрительной физики», кроме статьи против «Литературной газеты», Шеллинг напечатал начало своей новой натурфилософской работы «Всеобщая дедукция динамического процесса». Окончание появилось во втором номере.

Здесь перед нами своего рода натурфилософское дополнение к «Системе трансцендентального идеализма». Шеллинг утверждает: «Природа со всеми ее ощущениями и качествами — застывшая разумность». Можно идти, по мнению Шеллинга, от природы к человеку и от человека к природе, но подлинный путь познания — это путь, который выбирает сама природа, это «история самосознания с идеалистической точки зрения», как она изложена в его труде о трансцендентальном идеализме. Но и натурфилософию он не хочет дать в обиду, он ее ценит за то, что она «дает физическое объяснение идеализму». Вступив в область физики, познаешь истину!

Второй номер «Журнала умозрительной физики» вышел в сентябре 1800-го. Получив его в презент от Шеллинга, Гёте ответил благодарственным письмом: «Второй номер Вашего журнала я получил и нашел там много поучительного, живительного и отрадного... Я редко испытывал влечение к той или иной теории, но к Вашей я несомненно испытал его». Шеллинг готовит последующие номера своего журнала.

А переговоры с издательством Котты по поводу «большого критического журнала» все продолжают. Возникают различные варианты. Один из них: журнал выпускает Шеллинг под названием «Ревизия прогресса в философии и примыкающих к ней науках». Другой вариант: журнал называется «Критические ежегодники немецкой литературы». Главный редактор А. В. Шлегель. Шеллинг согласен отказаться от своей «Ревизии» и объединить усилия со Шлегелем. Тем временем Фихте нашел в Берлине другого издателя для «критического журнала» под его собственным руководством. Шеллинг не хочет рвать с Фихте, для него это по-прежнему глава направления. Он предлагает компромисс: журнал пусть будет один, а главных редакторов два: Фихте для научной части, Шлегель — литературной. От Фихте приходит письмо с отказом, обоих Шлегелей он честит в таких выражениях, что просит уничтожить письмо сразу после прочтения и никому его не показывать. Шеллингу ничего не остается, как присоединиться к Фихте. Между ними нет полного единодушия, но все же решено, что «критический журнал» будет только их детищем.

С этим Шеллинг убыл из Бамберга. Из Иены в Берлин и обратно идет корреспонденция. Шеллинг и Фихте выясняют отношения. Пока разговор касается личных дел (кто чей враг, кто о ком как отзывался, кто кому что передал и т. д.), взаимопонимание кажется возможным, почти достигнутым. Но как только встал вопрос о философских позициях, все пошло вкривь и вкось. Реализовать вдвоем «большой журнальный план» им не было суждено.

Среди причин, заставивших Шеллинга отказаться от поездки в Вену, главной было чувство к Каролине. Не хотелось уезжать далеко от любимой, брак которой с А. В. Шлегелем становился все более проблематичным, а ответное чувство было очевидностью. Шеллинг, правда, об этом предпочитал помалкивать, он напирал на то, что новая война с Францией поставила под угрозу австрийскую столицу и пребывание в ней небезопасно.

Было еще одно обстоятельство, заставившее профессора Шеллинга вернуться к лекциям в Иене. Здесь у него объявился соперник. Фридрих

Шлегель прошел габилизацию и в качестве приват-доцента приступил к чтению трансцендентальной философии.

Младший Шлегель решился вступить на академическую стезю в Иене, только убедившись в том, что Шеллинг окончательно покинул город. Защита диссертации не сулила ему ничего хорошего. Замшелые профессора с неодобрением взирали на романтика, зарекомендовавшего себя в качестве ниспровергателя устоев. Когда один из оппонентов (Августа) еказал: «В своем эротическом трактате „Люцинда“ Вы утверждаете...», Шлегель назвал его дураком. Разразился скандал. И хотя в целом диспут закончился в пользу соискателя, во отношения его с профессурой были испорчены. При том, что особой глубиной философствование Шлегеля не отличалось; Каролина без труда подметила его слабую сторону — склонность к эклектике. Она сочинила пародию на габилизационные тезисы Фридриха. Первые два в ее интерпретации выглядели следующим образом:

I. Моя философия — единственно подлинный идеализм.

II. Она содержит наряду с этим значительные элементы реализма, а также немного дуализма.

Последний (восьмой) тезис «Non critice sed historice est philosophandum» («Философствовать надо не критически, а исторически») Каролина переиначила: «Философствовать надо не систематически, а сумбурно».

К Ф. Шлегелю на лекции записалось 60 человек. Но все они разбежались, когда в Иене появился Шеллинг и начал читать курс. «Провести эту зиму здесь, — рассказывал он в письме к Фихте, — меня заставила невозможность продолжать путешествие, а также то, что Фр. Шлегель решил прибрать к рукам брошенное трансцендентальное хозяйство. Я не мог видеть, как хорошо заложенная основа разрушается и вместо подлинно научного духа, запас которого здесь еще не иссяк, среди студентов насаждается поэтический и философский дилетантизм кружка Шлегелей... Четырьмя лекциями, прочитанными мной, он был разбит наголову, и его уже похоронили. Частично в этом он виноват сам. Потому, что не хотел распрощаться со своими предубеждениями и нес чепуху. Положение, согласно которому среди новаторов Вы один владеете синтетическим методом, он перевернул иначе: до сих пор никто не отважился на создание синтетического метода, а он (Фридрих Шлегель) все устроит по-новому, докажет, что стремиться к системе бессмысленно». Кроме эскапад против Ф. Шлегеля, здесь интересно следующее: Шеллинг находит философскую систему только у Фихте, он сам создал систему

взглядов на природу и систему взглядов на человека, но единой системы философии у него пока еще нет.

Лекции Шеллинга — сенсация. Он читает свой курс после полудня. И в этот обычно тихий час опустевшая базарная площадь снова заполняется народом: студенты всех факультетов и многие преподаватели спешат слушать знаменитость. Шеллинг доволен. О своем успехе он сообщает в Брауншвейг. Там разделяют его радость. «Опять ты ринулся в бой, дорогой Ахилл, и снова бегут троянцы. Бессмертные снова почтили тебя и наградят тебя долгими годами. Это настоящая месть, и я торжествую с тобой без всякой пощады. Жалости быть не должно, она здесь не вяжется с великим смыслом гуманности. Ведь некоторым на пользу провал, к ним принадлежит Фридрих: если бы он насладился полным блеском победы, это только погубило бы его своеобразие. Тебе этот блеск подобает, ты умеешь жить в этой стихии».

Еще Август Вильгельм с ней рядок (он только в феврале 1801-го уедет в Берлин), а она мысленно рядом с Шеллингом. В письмах к нему говорит о своей любви. «Сердце мое, жизнь моя, я люблю тебя всем своим существом. Не сомневайся в этом. Какой свет, какое счастье, когда Шлегель передал вчера мне твое письмо» — это в первой же короткой записке, написанной вскоре после того, как они расстались.

При расставании они условились обменяться кольцами. Шеллинг немедленно исполнил обещанное, прислал кольцо. Она тронута: «Для меня это первое и единственное воистину обручальное кольцо, и оно останется единственным. В нем отречение от будущего, оно связывает нас только недолгим прошлым. О, верное сердце мое, кольцо твое очищено болью, я знаю ее и разделяю. Но у меня есть своя боль, принадлежащая только мне. Тебе никогда не впитать в себя боль матери».

Пока никаких планов на будущее, только боль. И забота о возлюбленном. Как ему там одному в Иене? Кто бы мог сказать ему доброе слово, поддержать в трудную минуту? Каролина пишет Гёте, в Веймар. «Если Ваши собственные надежды на Шеллинга, и то, что он уже сделал, и сам он, если все это Вам близко и дорого, то Вы извините мое письмо с просьбой помочь ему. Я не знаю на свете никого другого, кто мог бы это сделать. Сцепление ужасных обстоятельств повергло его в тяжелое состояние духа, которое могло бы его погубить, если бы он намерен был погубить себя сам. От Вашего внимания не должно ускользнуть, что он страдает телом и душой, находится в мрачном и пагубном настроении, нуждается в путеводной звезде. Я сама устала и больна и не в состоянии возродить его к той жизни, к которой у него призвание. Вы можете это

сделать. Вы так близки ему в его высших и сокровенных устремлениях. Вы знаете его симпатию и почтение к Вам. Подайте Шеллингу руку помощи, — просила Каролина Гёте. — Ваше участие для него, как луч солнца, в котором он сейчас так нуждается. Он так тянется к Вам. Я решилась, доверяя Вашей доброте и правильному пониманию моих намерений. Мои глаза полны печали, я знаю только, что он должен жить и совершить то, к чему он предназначен». В заключение письма содержалась конкретная, почти материнская просьба: не оставьте Шеллинга в рождественские дни одного, пригласите его в гости.

Вследствие ли письма, или по своей инициативе, так или иначе, но в конце декабря Гёте увез Шеллинга из Иены. Стеффенс рассказывает в своих мемуарах о костюмированном новогоднем вечере в Веймаре. Всеобщее внимание привлекла маска, говорившая на всех известных участникам бала языках: немецком, английском, французском, итальянском. Это была пожилая дама, удивительно живая и подвижная (некоторые предполагали, что за маской скрывался молодой человек, приезжий, англичанин). Маска была поразительно осведомлена в интимных делах всех гостей. Шеллинг обратился к ней по-латыни и тут же получил дерзкий ответ. Стеффенс заговорил по-датски. Все замолкли, ожидая, что будет дальше. А дальше последовал ответ на датском языке, не совсем гладкий, но вполне удобопонимаемый. Когда общее любопытство достигло высшей точки и все требовали, чтобы инкогнито было раскрыто, маска исчезла. Кто это был, осталось неизвестным.

После полуночи Гёте, Шиллер и Шеллинг уединились за столом, уставленным шампанским. Выпито было много. Гёте непринужденно шутил. Шиллер был предельно серьезен и ровным тоном излагал свою эстетическую концепцию. Когда Гёте перебивал его, он выжидал, а затем снова возвращался к теме. Шеллинг сосредоточенно молчал.

О чем мог он думать в первые минуты первого года нового столетия? О Каролине? (Она в этот вечер никуда не пошла, сидела с приятельницей, рано вернувшейся из гостей. Они сварили пунш. Августу Вильгельму нездоровилось, и он спал на диване наверху в ее комнате. Когда часы принялись бить двенадцать, она бросилась, чтобы разбудить его. «Я хотела разбудить Шлегеля, прежде чем прозвучит последний удар, потому что мне казалось, что возникнут дурные последствия, если он не будет бодрствовать при этом, как если бы он проспал аккорд своего созвездия, но он услышал бой и спешил вниз, так что мы встретились на лестнице, как два столетия. Но моя душа была с тобой, рядом с кольцом на твоей руке», — писала она потом Шеллингу.)

Мог он размышлять и наверняка думал о том, что еще не сделано им в науке и что надлежит прежде всего сделать. Вот сидят перед ним два веймарских титана, — каждый полон интереса к его идеям, но берет из них одну сторону, не замечая другой. Гёте увлечен натурфилософией, к которой равнодушен Шиллер. Последнему, однако, понравилась книга о трансцендентальном идеализме, в ней он нашел близкую ему мысль о родстве поэзии и философии. Пока натурфилософия и идеализм существуют раздельно. Пора им слиться в единую систему.

В январе 1801 года вышел очередной номер «Журнала умозрительной физики». В нем статья Шеллинга «Об истинном понятии натурфилософии». Мнение Гёте об этой статье: «Как будто идешь в сумерках по знакомой дороге, ориентируешься безошибочно, хотя окружающих предметов не видно».

Детали действительно не прочерчены Шеллингом. Увлеченный общей идеей, он все меньше и меньше думает о них, а общая идея выражена четко, именно так, как понимает дело Гёте: субъективность не самодовлеет, она рождается из объективности, понимаемой вместе с тем (что не было в старой, догматической философии) как некое активное начало. «На высоком философском языке мысль эта звучит следующим образом: из чистого субъекта-объекта надо вывести субъект-объект сознания». Перед этим Шеллинг уточнил: «чистый субъект-объект» — это природа, «субъект-объект сознания» — Я. Есть «идеализм природы» и «идеализм Я», первый, по Шеллингу, изначален, второй произведен. Деятельность природы предшествует деятельности человека. «Один непрерывный ряд идет вверх от самого простого в природе до самого высокого и сложного — произведения искусства». В следующем номере журнала Шеллинг обещает дать «изложение своей системы».

Необходимость в этом назрела. Расхождения с Фихте очевидны, столкновение неизбежно. Еще летом прошлого года Шеллинг попросил Фихте высказать отношение к его (Шеллинга) трудам. Ответ поступил 15 ноября 1800 года. Фихте наконец усвоил, что у Шеллинга, которому он считал верным своим адептом, есть какое-то свое мнение. Прочитал он, правда, только «Систему трансцендентального идеализма». И сформулировал несогласие. По его мнению, реальность природы выступает «как целиком обретенная, а именно готовая ивершенная, и таковой (обретенной) она является не сообразно собственным законам, а сообразно имманентным законам разумности». Природа, следовательно, живет по законам духа.

Шеллинг сразу же ответил письмом, в котором отстаивал примат и

независимость природы. Ваше «учение о науке», говорил он, обращаясь к Фихте, ведь это же не вся философия, и решает она лишь логическую проблему построения знания. (Вспомним, что Кант в своем «Заявлении» против Фихте говорил именно об этом. Тогда, год назад, Шеллинг был возмущен: он держал сторону Фихте, теперь, однако, здравый смысл явно возобладал в его позиции.)

В декабре Фихте набросал ответ с резкими возражениями, с категорическим тезисом: «учение о науке» — это вся философия, но... не отправил. В Иену ушло другое письмо, куда более сдержанное. О некоторых расхождениях во взглядах он упоминает не потому, что они мешают совместной работе, а исключительно чтобы показать, как внимательно он читает произведения Шеллинга. В конце письма давалась, правда, поправка к шеллинговской натурфилософии: рассматривать индивид в качестве высшей ступени природы можно только при условии того, что в самой природе будет обнаружено нечто духовное, определяющее, заложенное в индивиде же. На этом он предлагал поладить. Время окончательной ссоры еще не пришло. Фихте, видимо, надеялся еще на возможность совместного издания «критического журнала».

Шеллинг внимательно прочитал письмо, испещрил его пометками. С ответом на этот раз он не спешил. Он был обижен: в одной из своих очередных публикаций Фихте назвал его «мой способный сотрудник». Его, на лекции которого сбегаются как на праздник, с чьим мнением считается ученый мир, к слову которого прислушивается сам Гёте! Покровительственный тон Фихте покоробил Шеллинга. Но он смолчал. Только пожаловался Каролине.

От нее теперь приходят письма не только нежные и печальные, но и содержательные. Она много читает, штудировать естественнонаучные труды, она в курсе его духовных интересов.

В феврале из Брауншвейга в Берлин уехал Август Вильгельм Шлегель. Она и ему шлет подробные письма, добрые, доверительные, заботливые. Шлегель не взял с собой зонтик, хватит ли у него ума купить новый? И пусть он не беспокоится по поводу Шеллинга: «Я не стану отрицать, что он мой друг, но мы никогда не перейдем границу, о которой договорились. Это первая и единственная клятва в моей жизни, и я сдержу ее, ибо я приняла его в свою душу как брата моего ребенка».

А для Шеллинга она находит и самые сокровенные слова, и самые ему нужные. Она тонко подметила, в чем его превосходство над Фихте: «Мне пришло в голову, что при всей его несравненной силе мысли, при всей логичности, ясности, точности, наглядности наблюдений над

субъективностью, при всем воодушевлении первооткрывателя все же он ограничен, и это происходит, по моему мнению, потому, что ему не хватает божественной вдохновенности. Тебе удалось прорвать тот круг, из которого он не может выскочить; я убеждена, это произошло потому, что ты не только философ, такое слово может здесь прозвучать фальшиво, не ругай меня, — главное в том, что у тебя есть поэзия, а у него нет. Она непосредственно приводит тебя к продуктивности, как острота восприятия ведет его к осознанию. У него свет яснейшей ясности, а у тебя еще и теплота. Он может только светить, а ты — *творить*. Не правда ли, я умница, что подметила все это?.. По моему мнению, у Спинозы значительно больше поэзии, чем у Фихте».

Невелика честь одолеть мелюзгу. О Фихте Каролина говорит уважительно, это достойный противник, и тем больше заслуга Шеллинга, который сумеет с ним справиться, тем слаще будет победа. И насчет Спинозы она хорошо придумала: ведь сухарь сухарем, но раз его читает Шеллинг, значит, и у него есть поэзия.

Поэзия — высший удел смертного. «Нет ничего более истинного, чем художественное произведение: критика проходит, тела истлевают, системы меняются, но если мир когда-нибудь вспыхнет, как клочок бумаги, то последними искрами, уходящими в мироздание божие, будут произведения искусства — лишь после них наступит мрак». Это уже из письма Каролины А. В. Шлегелю, написанному в тот же день (1 марта 1801 года).

В апреле она снова в Иене. Подробности сообщаются Августу Вильгельму в Берлин. «24 апреля 1801. Посмотри на дату, дорогой Шлегель, со вчерашнего вечера я здесь. Как жаль, что нет тебя здесь. Я креплюсь, как могу, но ничего не помогает, даже траурная радость встречи с Шеллингом. Он выглядит очень плохо, держится умиротворенно и разумно. Я только сегодня утром сообщила ему о приезде, хотя мы прибыли вчера сравнительно рано, часов в семь».

«Траурная радость встречи». Траур проходит, радость остается. Время врачует раны, будни берут свое. А будни полны полемики. Сейчас она затихла, это затишье перед новыми боями. Обмен посланиями с Фихте прекратился, к выходу готовится работа, которая окончательно ниспровергнет систему противника. Тем временем Фихте выпускает новое сочинение — «Ясное, как солнце, сообщение широкой публике о сущности новейшей философии. Попытка принудить читателя к пониманию». Шеллинг и Каролина вместе потешаются над претенциозностью заголовка. И вдруг рождается эпиграмма — как бы обращение берлинского мудреца к своему читателю:

В свете солнца сомневайся,
В том, что звезды есть и мрак,
На меня лишь полагайся:
Я умен, а ты дурак.

«Основа экспромта принадлежит Шеллингу, последняя строка мне. Шеллинг показал его Гёте, который был в восторге и потребовал тут же „Ясное, как солнце...“, чтобы несколько часов себя истязать, как он выразился», — это пишет Каролина А. В. Шлегелю 31 мая 1801 года.

В мае появился новый номер «Журнала умозрительной физики», и весь он заполнен программной работой Шеллинга — «Изложение моей философской системы». Впервые молодой профессор заговорил о *своей системе*. Как же он свел концы с концами, сочленил философию природы и трансцендентальный идеализм, дух и природу?

Самым радикальным образом — слив их воедино! Шеллинг характеризует идеализм Фихте как субъективный, сам он придерживался объективного идеализма. Теперь идеалистическая позиция его не устраивает. И реализм (спинозизм) тоже представляется недостаточным. Это важное обстоятельство, поэтому послушаем самого Шеллинга: «Фихте мог бы представить идеализм в совершенно субъективном, а я, напротив, в объективном значении: Фихте мог бы придерживаться идеализма, находясь на позиции рефлексии, а я разрабатывать идеалистические принципы, находясь на позиции продуктивности. Чтобы понятнее выразить эту противоположность, можно сказать, что для идеализма в субъективном значении Я есть все, для идеализма в объективном значении, наоборот, все = Я; и хотя это различные взгляды, но нельзя отрицать, что оба идеалистические... Точно так же, как с идеализмом, дело обстоит и с тем, что до сих пор называли реализмом. Я почти убежден, что до сих пор реализм в его совершенной и возвышенной форме (я имею в виду спинозизм) был недооценен и непонят. Я говорю все это только для того, чтобы читатель, который намерен познакомиться с моей философией, отнесся к последующему изложению не как к чему-то уже известному, обращая внимание только на форму изложения, а как к тому, что ему совершенно неизвестно».

Новое состоит в том, что, по убеждению Шеллинга, ни мышление, ни бытие не следует рассматривать в качестве первоосновы сущего. Ни то ни другое, вернее, и то и другое вместе — вот из чего нужно исходить. Тожество духа и природы. Абсолютное тождество он называет разумом.

Это «полная нерасчлененность объекта и субъекта». Между объектом и субъектом возможны только количественные различия.

«Абсолютное тождество — не причина универсума, а сам универсум». Идеализм видит в духе причину возникновения материальных вещей. Для Шеллинга теперь не существует проблемы возникновения во времени. Лестница бытия со всеми ее ступенями дана от века. «Все ступени абсолютно одновременны... Поэтому нет основания начинать с той или иной». Отпадает тем самым и нужда в причинной зависимости. «Ни мышление из бытия, ни бытие из мышления. Ошибка идеализма состоит в том, что он делает причиной *одну ступень*».

Это важное место. Шеллинг говорит об ошибочности идеализма вообще (как субъективного, так и объективного, их различие он знает). Шеллинг не может скрыть своего пристрастия к природе. Но он не собирается вступать на материалистический путь. Материя для него — загадка, волнующая, влекущая к себе, неразрешимая. Она не существует без духа, как и дух без нее, — даже в боге!

В истории философии известны попытки занять среднюю позицию между материализмом и идеализмом. Таков, в частности, Спиноза. Его субстанция — она же бог, она же природа наделена двумя атрибутами (неотъемлемыми качествами) — мышлением и протяженностью. Для Шеллинга спинозизм недостаточно всеобъемлющ. (Фихте смог сформулировать прямо противоположную позицию!) Подлинная философская система должна включать все возможные противоположности. Таково, по его мнению, назначение философии тождества. И Шеллинг ищет свое среднее место где-то рядом со Спинозой, между ним и Фихте.

Интересно, что при этом происходит утрата некоторых диалектических завоеваний. Пропадает у Шеллинга проблема развития в природе, проблема перехода от мертвой материи к живой. «Неорганическая природа как таковая не существует». Так называемая мертвая материя — это только уснувшие растения и животные. Шеллинг вернулся к взгляду на мир как на живой организм, взгляду, однажды высказанному в «Первом наброске системы натурфилософии».

Исчезает и историзм в подходе к мышлению. Потом, когда об историзме снова заговорят другие, когда появится «Феноменология духа» Гегеля, Шеллинг спохватится, безуспешно будет напоминать о своем приоритете.

Философская система создана. Он никогда ей не изменит: будет неустойчив в частностях, будет бросаться из одной сферы исследования в

другую, но неизменно всегда и везде более или менее последовательно будет проводить принцип изначального тождества реального и идеального, объекта и субъекта, материи и сознания.

Истина найдена. Он готов отстаивать ее в любых спорах. Он возобновляет переписку с Фихте. Получив еще в мае 1801 года от автора «Изложение моей философской системы», Фихте сразу откликнулся обстоятельным письмом. В руки Шеллинга оно попало только в августе. Фихте напоминал, что их разногласия начались со статьи «О догматизме в критицизме». С тех пор Шеллинг упорствует в своем непонимании «учения о науке», которое является единственной и всеобъемлющей философией. Все попытки Фихте направить Шеллинга на свой путь, увы, безрезультатны. В новой работе — старое непонимание сути дела, старые ошибки. Главная состоит в том, что «нельзя начинать с бытия (Sein), начинать надо со зрения (Sehen)».

Зрение — субъективная способность. Шеллинг оценил игру слов. Начинать «со зрения», с субъекта, возражает он, можно только временно, только пропедевтически. Фихте говорит, что идеализм не терпит рядом с собой никакого реализма. Ну что ж, по убеждению Шеллинга, подлинная философия не может быть ни идеализмом, ни реализмом. Действительно, он уже в «Письмах о догматизме и критицизме» смутно почувствовал, что нетина лежит выше того уровня, которого достигает идеализм. Вы думаете, обращается он к Фихте, что своей системой уничтожили природу, на самом деле Вы остаетесь в ее пределах. Если исходить только из идеального или только из реального, неизбежно остаешься в пределах конечного. С Вами так и произошло. Здесь корень наших разногласий.

В заключение письма Шеллинг рекомендовал Фихте для уяснения сути дела ознакомиться с недавно вышедшей работой одного способного автора. Книга называется «Различие между системой философии Фихте и Шеллинга».

Это уж слишком: рекомендовать главе направления искать истину в чьих-то незрелых опытах!

В дальнейшем будут написаны еще четыре письма: два получит Фихте и два Шеллинг. Размеры писем станут короче, тон резче. Фихте: «Мне бы хотелось продолжать переписку только при условии, что Вы воздержитесь от личных оскорблений. Ведь Вам будет неуютно, чтобы я, увидев Ваш почерк и Вашу печать, которые раньше доставляли радость, испытывал бы теперь чувство неприязни». Шеллинг: «Что касается личных оскорблений, в которых Вы меня обвиняете, то я их не вижу, все похожее на них в моем письме всего лишь воспроизводит тон Вашего собственного письма».

Письмо датировано 25 января 1802 года. Это конец их частной переписки. Дальнейшая полемика будет идти только в печати.

*

Автором работы о различии между системой Фихте и Шеллинга был Гегель. Исчезнувший из поля зрения Шеллинга однокашник вновь дал о себе знать осенью 1800 года. В ноябре пришло от него письмо из Франкфурта, где он учительствовал в доме богатого коммерсанта Гогеля. Теперь его материальное положение изменилось к лучшему, он намеревается продолжить свое образование и начатую научную работу. По старой дружбе просит помочь ему завязать литературные знакомства и вообще устроиться.

Шеллинг принял живое участие в судьбе университетского друга. Помог переехать в Иену, поселил у себя. Гегель прошел габилизацию (первым оппонентом на диспуте был Шеллинг) и в качестве приват-доцента начал читать курс. К этому времени появился и его философский первенец — «Различие между философскими системами Фихте и Шеллинга». Автор, разумеется, на стороне своего патрона.

Для Шеллинга Гегель — находка. К тридцати годам ничем себя в науке не проявивший, усердный, без амбиций, противник Фихте, вроде бы единомышленник — лучшего соратника трудно себе представить. Способности у них различны (Шеллинг продуцирует идеи, Гегель углубляет их, доводит до конца, систематизирует), характеры несхожи (Шеллинг импульсивен, Гегель рассудителен), но единство противоположностей — не беда, а благо, подчас залог успеха, дружбы, во всяком случае, сотрудничества. Впоследствии Шеллинг скажет о Гегеле: «Чистый образец внутренней и внешней прозы»,^[5] этого ему как раз не хватает. Поэзия кругом в избытке, он, Шеллинг, сам в душе (и в философии) поэт, ему необходим в спутники трезвый ум, как Фаусту нужен был Мефистофель. С таким человеком можно смело братья за издание давно задуманного полемического журнала.

Недолгие переговоры с Коттой, и в конце декабря в «Иенской литературной газете» появляется анонс о выходе первого номера «Критического философского журнала» под редакцией профессора Шеллинга и доктора Гогеля. Вскоре после Нового года Шеллинг посылает Шлегелю и Фихте по экземпляру журнала, который был задуман вместе с ними, а осуществлен без них.

Всего (по май 1803 года) вышло шесть номеров. Короткий век журнала не случаен. Внешне дело выглядит просто: Шеллинг уехал из Иены, издание прекратилось. Более глубокую причину неудачи совместного начинания Шеллинга и Гегеля можно увидеть все в той же разнице натур и устремлений: она свела их, она их затем рассорит. Поэзия и проза иногда удачно дополняют друг друга, а иногда несовместимы. Доктор Гегель вскоре создаст собственную систему философии.

В «Критическом философском журнале» статьи публиковались без подписи. Посторонних не приглашали. Авторами были сами редакторы, и до сих пор нет полной ясности в степени участия каждого из них в написании той или иной статьи.

(В издаваемом Рейнско-Вестфальской академией наук Полном собрании сочинений Гегеля четвертый том (Гамбург, 1968) целиком отведен под «Критический философский журнал». Напечатано все его содержание, номер за номером. Крупным шрифтом то, что бесспорно принадлежит Гегелю, мелким — Шеллингу. Соотношение объема текста примерно три к двум в пользу Гегеля: Шеллинг основные свои работы печатал вне рамок этого журнала.)

Вводную статью «О сущности философской критики» Гегель вскоре целиком припишет себе. Но другие данные говорят о явном соавторстве Шеллинга. Да и трудно представить, чтобы Шеллинг передоверил другому программу своего давно замысленного начинания.

Программа сводится к исправлению философских дел. Философская критика подобна художественной. Как идея искусства не создается, не изобретается художественной критикой, так и идея философии объективна и общезначима. Истина едина и единственна, как и красота. Есть только один разум, поэтому и философия только одна. Наличие разных философских направлений — печальный плод несовершенства ума, неадекватности познания. Идея истинной философии присутствует в любом учении в той или иной степени, в какой именно — должна выяснить философская критика. Другая ее задача — установить, насколько истина приобрела характер научной системы. Отсутствие системности — признак души слишком опрометчивой, чтобы уберечься от грехопадения, но и лишенной мужества, чтобы довести свой грех до искупления. Мы слышим явно голос Шеллинга, который недавно обрел систему и гордится этим.

Философская критика должна ополчиться против тех, кто заключает философию в скорлупу личных вкусов или ошибочных принципов. Одно дело индивидуальность, которая способствует выявлению объективной идеи, другое — субъективизм, уродующий истину. Против субъективизма и

ограниченности — таков лозунг Шеллинга и Гегеля.

Позитивное кредо Шеллинга содержится в следующей за введением статье «Об абсолютной системе тождества». Здесь мы находим уже известные нам положения о совпадении мышления и протяженности, идеального и реального. «То, что идеально, одновременно и реально, то, что мыслит, обладает протяженностью». Различие между бытием и мышлением носит относительный характер, они взаимно определяют друг друга. Читателю напоминает, что уже в «Письмах о догматизме и критицизме» впервые были указаны «неизбежные пределы идеализма». Авторство Шеллинга бесспорно. Гегель на эту статью не претендовал.

Впоследствии споры возникли по поводу того, кому принадлежит статья «Об отношении натурфилософии к философии вообще». Сюжет вроде бы шеллинговский (молодого Гегеля философия природы не волновала), решение проблемы, правда, слишком категорично (сказано: «Вся философия, рассматриваемая с теоретической стороны, может называться натурфилософией»), но, зная, как неустойчив Шеллинг в своих формулировках, как легко расстается с ними, можно и в этом увидеть его руку. Тем не менее после смерти Гегеля один из его учеников передал слова учителя, что статья его (Гегеля) и даже, когда ученик обратил внимание на поэтический язык статьи, учитель будто бы настаивал на своем; статью включили в первое издание гегелевского собрания сочинений. Шеллинг в письмах дважды говорил о своем авторстве, ныне признана его правота.

Принципиальное значение имела статья «О конструкции в философии». Шеллинг впоследствии не раз на нее сошлется, Гегель будет ей вдохновляться (не делая, впрочем, ссылок). Статья воспроизводит и уточняет некоторые идеи, сформулированные Шеллингом в работе «Дальнейшее изложение системы философии», которая увидела свет несколько ранее, в том же, 1802 году. Обе работы свидетельствуют о том, что Шеллинг, хотя и отказался от идеи развития, продолжал исследовать диалектику понятий, искал новые проблемы и пути их решения. Обе работы надо рассматривать вместе.

Речь идет о кардинальной проблеме познания, соотношении общего и особенного (единичного) в органическом целом. В знаменитом § 77 «Критики способности суждения» Кант говорил о том, что средства формальной логики бессильны в познании органического целого, в обычном рассудочном мышлении особенное отличается от всеобщего случайными признаками. Между тем в любом организме связь между общим и особенным, целым и частью носит необходимый характер. Поэтому можно и нужно представить себе «другой рассудок», который,

«поскольку он не дискурсивен подобно нашему, а интуитивен, идет от синтетически общего (созерцания целого, как такового) к особенному, т. е. от целого к частям; следовательно, такой, представление которого о целом не заключает в себе случайности связи частей».

Создавая учение об интеллектуальном созерцании (интуиции), Шеллинг (вслед за Фихте) пытался решить эту проблему: человек, утверждал он, может в единичном узреть всеобщее, в явлении раскрыть сущность. Это усмотрение представляет собой нечто большее, чем простое восприятие, это созидательный акт, познание и одновременно творческое порождение. Человек создает культуру как живой организм и созерцает дело рук своих, опираясь на «другой рассудок», интуитивную способность, схватывающую особенное во всеобщем и всеобщее в особенном.

Теперь перед Шеллингом встает проблема взаимосвязи интеллектуального созерцания и понятийного мышления. Он опять опирается на Канта, на его учение о понятийной конструкции. Последняя, но Канту, возможна только в математике. Сконструировать понятие — значит создать для него соответствующее наглядное представление. Так, я конструирую треугольник, рисуя на бумаге предмет, соответствующий этому понятию. Общее здесь изображено в конкретном, частном. В философии конструирование невозможно, философия всегда рассматривает частное в общем, всегда абстрактно.

Шеллинг считает, что Кант ошибается. Существует другая возможность философского обобщения, неведомая Канту, возможность понятийного конструирования, где общее оказывается тождественным особенному, где есть необходимая связь между тем и другим, где исключена искусственная регламентация. «Можешь ли ты приказать металлу занять место, предписанное ему твоим рассудочным распорядком, или растению — цвести так, как тебе заблагорассудится, живому существу расчленить себя в соответствии с твоими предписаниями, не лежит ли все перед тобой в божественной путанице?» Философское конструирование — это установление необходимой связи между явлениями, когда одно становится понятным через другое, через место во всей конструкции. «Допустив А, я не знаю, что мне с ним делать без Б, и поэтому я должен допустить также и Б».

Способ построения конструкции, «абсолютный метод» состоит в том, что выдвигается некое положение, тезис, которому противопоставляется антитезис, сливающийся с тезисом в синтезе.

Читателю, мало-мальски знакомому с принципами гегелевской диалектики, становится очевидным, откуда они взялись. Шеллинг высказал

мысль о возможности конкретного понятия как философской системы, где категория определяется через ее связь с целым, через реакцию принципа триады. У Гегеля все это получило фундаментальнейшую разработку, о которой Шеллинг не смел и помышлять. Мыслитель-поэт бросает идеи, не заботясь об их судьбе. Мыслитель-прозаик становится их судьбою.

Поэтическая натура Шеллинга сквозит и в статье «О Данте в философском отношении», появившейся в последнем выпуске «Критического философского журнала». Шеллинг переводил отрывки из «Божественной комедии», которая привлекала его сочетанием высокой художественности и научности. Три части поэмы — ад, чистилище и рай — это как бы три монументальных объекта науки — природа, история, искусство. Природа как рождение всех вещей есть вечная ночь. Жизнь и история, суть которых состоит в поступательном движении по ступеням, представляют собой очищение, переход в абсолютное состояние. Последнее достигается только искусством, предвосхищающим райскую вечность.

Уже в древности разошлись пути поэзии и науки, разошлись настолько, что одна стала противоположностью другой. Данте воссоединил их, этим он импонирует Шеллингу. В круге интересов поэта Данте — астрономия, теология, философия. При том, что «Божественная комедия» чужда дидактики, нет в ней и прямых аллегорий. Есть «более высокое взаимопроникновение науки и поэзии».

Статья о Данте, пронизанная стремлением сочленить поэзию и философию, характерна для Шеллинга. После богословского факультета в Тюбингене он прошел «романтическую школу». Он преподает не только философию природы, но и философию искусства.

Ум с сердцем не в ладу, хотя философ стремится их примирить. Ум Шеллинга, строгая мысль влекут его к Спинозе. Он все больше и больше ценит голландского пантеиста, готов снять с него ярлык «догматика» и одностороннего «реалиста». Он пробует писать à la Спиноза. «Изложение моей философской системы» внешне похоже на знаменитую «Этику»: пронумерованные параграфы, дополнения к ним, пояснения. Но это ему быстро надоело. Что-то мешает ему стать правоверным спинозистом. Вернуться в XVII век невозможно.

Кроме «романтической школы», Шеллинг прошел еще трансцендентальную школу Канта. Он твердо усвоил, что знание — продукт воображения, этого «великого художника», как именовал воображение кенигсбергский мудрец. Знает человек только то, что может сделать. Познаваемый нами мир — наше художественное произведение.

Говорить о нем сухим «геометрическим» языком Спинозы непристойно. Для этой цели уместен поэтический язык Платона.

«Изложение моей философской системы» написано было «под Спинозу». Следующее значительное произведение Шеллинга «Бруно» выглядит иначе. Это подражание диалогам Платона (или платоника Джордано Бруно).

«Бруно» предназначался для «Журнала умозрительной физики». Издание журнала внезапно прекратилось, и Шеллинг выпускает свою работу отдельной книгой. Она открывается рассуждениями о единстве истины и красоты. Это важно и для философии и для поэзии, «ибо к чему стремится первая, как не к той вечной истине, которая едина с красотой, вторая же — к той нерукотворной и бессмертной красоте, которая едина с истиной». Различие между искусством и философией состоит в их предназначении. Искусство экзотерично, предназначено для всех. Уже в древности поэты почитались толкователями богов, ибо они творят красоту, доступную для всеобщей радости. Философия исследует идею красоты. Философия по природе своей эзотерична, она не нуждается в том, чтобы ее держали в тайне, ибо она тайна сама по себе.

Высшая ее тайна — постижение природы сущего. В своем диалоге Шеллинг по очереди предоставляет слово представителям различных философских школ. Первым излагает свою концепцию материалист (Александр). Автор грешил симпатиями к этой философии, но теперь констатирует: «Судьба учения, которое заимствовало свое имя от матери, ничем не отличается, как я вам кратко докажу, от судьбы, которую с течением времени претерпевает всякое умозрительное учение; и материализм постигла та же судьба — падение самой философии». Александр не настаивает на своей правоте.

Второе слово принадлежит «интеллектуалисту», объективному идеалисту Ансельмо. Этот говорит от имени Лейбница, знакомит нас с его монадологией. Сущее состоит из бесчисленного множества духовных атомов — монад, каждая из которых самостоятельный, замкнутый в себе мир. Монады самодовлеют, и никакие внешние причины не оказывают на них никакого воздействия. То, что мы называем взаимодействием души и тела, есть вечная, предустановленная богом гармония. В боге единство всех монад.

Фихтевский идеализм отстаивает Луциан. Устами Бруно глаголет сам Шеллинг. Завершает диалог как бы допрос Фихте, при том, что обвиняемый явно сотрудничает со следователем. Последний растолковывает первому суть дела, а тот только поддакивает. Бруно

(Шеллинг) без труда одерживает победу, доказывает ограниченность идеализма и жизненную силу философии тождества.

Легко побеждать на собственных страницах! В жизни — сложнее. Шеллингу вскоре пришлось в этом убедиться. Летом 1802 года довелось ему снова сцепиться с «Всеобщей литературной газетой», и вышел он из схватки с помятыми боками.

Натурфилософскими идеями давно уже бредила молодежь, претендовавшая на ученость. В Бамберге, где метр успел прочитать курс, увлечение шеллингианством приняло карикатурные формы. В апреле «Всеобщая литературная газета» напечатала заметку с разбором четырех диссертационных диспутов, в результате которых соискатели стали докторами медицины. «Организм стоит под знаком кривой линии», — цитировала газета тезисы одного дебютанта. (Это не пародия, подобная той, что сочинила Каролина, автор был увенчан ученой степенью.) «Мужчина привязан к земле благодаря женщине». — «Кровь — это пульсирующий магнит» и т. д. и т. п. О двух других докторантах было сказано: «Хотя они и придерживаются натурфилософии Шеллинга, все же они разумные, порядочные люди». В одном случае рецензент «Литературной газеты», высмеивая дебютанта, неправильно прочитал его текст, в результате чего возникла смешная бессмыслица.

Шеллинг ухватился за промах рецензента и набросился на него с бранью на страницах «Нового журнала умозрительной физики» («Отношение обскурантизма к натурфилософии»).

Лучше бы он этого не делал! Уже вышел из печати анонимный пасквиль «Похвала наиновейшей философии», где Шеллингу наносили удар под ложечку. «Всеобщая литературная газета» поспешила откликнуться на брошюру и процитировать то место, которое более всего могло ранить противника. Речь шла еще об одном незадачливом бамбергском соискателе медицинской ученой степени. Пусть новый доктор заключит с Шеллингом и Решлаубом триумвират для изгнания смерти. «Только упаси, господи, чтобы не случилось с ним несчастья вылечить идеально и убить реально, несчастья, которое, как говорят злые языки, выпало Шеллингу несравненному в Боклете в случае с М. В.».

М. Б. — это мадемуазель Бэмер. Его называли убийцей Августы! У Шеллинга опустились руки. Ему совсем недавно, как бы в предчувствии грядущего скандала, Ландсгутский университет присудил без защиты степень доктора медицины. Его знания в этой области никто теперь не может подвергнуть сомнению. Его порядочность вне подозрений. И все же он был повержен. Вдруг не стало сил, чтобы ответить пасквилянту и тем,

кто разносит грязную сплетню. Он обратился за помощью к... А. В. Шлегелю.

Трудно понять их отношения. Соперники в любви — соратники в борьбе. В марте 1802 года Каролина отправилась к мужу в Берлин выяснять отношения. Решили окончательно разойтись. В мае Шеллинг увез Каролину в Иену. Началось бракоразводное дело. В том же письме, в котором Шеллинг просил Вильгельма вмешаться в ссору с «Литературной газетой», он обсуждал с ним детали развода.

Август Вильгельм Шлегель любил свою жену (хотя, по словам Каролины, не всегда сохранял ей верность). Развод был ему труден и неприятен. К Шеллингу он испытывал скорее антипатию (так, по крайней мере, уверял его брат). Но никогда, ни во время развода, ни до, ни после, это никак не отражалось на их деловых отношениях. Личное Шлегель не смешивал с публичным.

Он разгадал в Шеллинге поэтический талант и поощрял его стихотворные опыты. В «Альманахе муз на 1802 год», который вышел под редакцией А. В. Шлегеля и Л. Тика (осенью 1801 года), были напечатаны четыре стихотворения Шеллинга («Последние слова пастора», «Песня», «Растение и животное», «Земной жребий»). Он придумал для стихов Шеллинга звучный псевдоним — Бонавентура; Шеллинг хотел подписать свои стихи «Вентурус», что значит «грядущий», но согласился, что Бонавентура лучше.

Любезность за любезность! Шеллинг встретил одобрительной рецензией стихотворную пародию Шлегеля, высмеивающую модного, плодовитого, но пустого Коцебу («Бу-бу-бу!»). Когда в Веймаре состоялась премьера пьесы Шлегеля «Ион», Шеллинг и Каролина откликнулись рецензией на этот спектакль в «Газете для элегантного света».

И вот теперь, в самые неприятные дни предстоящего развода, когда супруги уже прекратили переписку, Шеллинг обращается за помощью к Шлегелю, просит поддержать его в борьбе с «Литературной газетой», просит сдержанно, но недвусмысленно. «Сообщите мне, пожалуйста, что Вы думаете. Мне хочется, чтобы мы вместе закончили эту стычку с „Литературной газетой“, поскольку мы вместе ее начали».

Что конкретно ответил Шлегель, мы не знаем: сохранилось только начало его письма, где он успокаивает Шеллинга: пусть тот не терзает себя, нет оснований винить его в смерти Августы. Шлегель сохранил все документы, связанные с ее болезнью и кончиной, в том числе рецепты Шеллинга, в которых нет ничего ошибочного. В каких именно словах обещал Шлегель поддержать человека, который разрушил его брак, мы не

знаем. Не зная слов, мы знаем дело: Шлегель быстро написал брошюру, обличающую редактора «Литературной газеты» Шюца. Шюцу был поставлен ультиматум: пусть он в течение трех дней опровергнет направленную против Шеллинга клевету, пусть он напечатает новый номер газеты от 18 августа, где была тиснута заметка по поводу «Похвалы новейшей философии», без злополучной заметки. Иначе Шлегель напечатает свою брошюру.

Шюц отверг ультиматум. На следующий день после его вручения в «Литературной газете» появилась «Поправка». Рецензент «Похвалы новейшей философии» снова привел место о «Шеллинге несравненном», который способен «лечить идеально, убивать реально», и пояснял, что не следует эти слова понимать так, будто «господин профессор Шеллинг совершил преднамеренное умерщвление», злые языки, которые толкуют об этом, имеют в виду «лишь неудачно закончившееся лечение, которое проводил господин профессор Шеллинг». Поправка повторяла прежнее обвинение: некомпетентное вмешательство Шеллинга привело к смертельному исходу.

Теперь Шеллинг спешил с изданием брошюры Шлегеля. Он внес в текст некоторые уточнения, приложил свидетельства бамбергских врачей Маркуса и Решлауба. В октябре 1802 года памфлет Шлегеля «К публике. Порицание „Всеобщей литературной газете“ за учиненное ею бесчестие» увидел свет.

Ответ Шюца не заставил себя ждать. Это была брошюра «Факты и документы, доказывающие, что проживающий ныне в Берлине господин советник А. В. Шлегель своим порицанием за якобы учиненное „Всеобщей литературной газетой“ бесчестие опозорил себя сам с приложением материалов об обскурантизме Шеллинга».

В руки Шеллинга пасквиль попал сразу, но он не стал его читать (после смерти в его бумагах был найден экземпляр сочинения Шюца с надписью: «Не прочитано, потому что писал негодяй»). Как и следовало ожидать, пасквиль содержал ядовитые намеки на обстоятельства семейной жизни Шлегеля. Шеллинг узнал об этом со слов других. Шлегелю он писал: «Я прошу Вас, не обращайтесь внимания на паршивую собаку, которую оплеывают все порядочные люди. Вы сделали для меня все, что могли. Дальнейшее я предприму сам, когда придет время предпринять что-нибудь серьезное».

В дальнейшем он ничего не предпринял. Просто проглотил оскорбление. И это было самое разумное из того, что он мог сделать.

Переписка Шеллинг — Шлегель продолжается. О Шюце теперь ни

слова. Идет речь о Кальдероне, которого перевел Шлегель, о Коцебу, чья газета «Прямодушный» задирает их обоих. Но главная тема — перипетии развода. Используя свое положение при дворе, разводу содействует Гёте (потом он скажет, что Шеллинг дал ему повод для написания «Избранного сродства», романа, где во имя счастья родственных душ рушатся узы брака). 17 мая 1803 года брак был наконец расторгнут. И тут же Шеллинг и Шлегель сразу перестали писать друг другу.

Теперь ничто не держит Шеллинга в Иене. Он побывал в Веймаре и простился с Гёте и Шиллером. Иену он покинул без определенных планов. Ясно было одно: здесь дальше оставаться не следует. Каролина мечтает о длительной поездке в Италию. Шеллинг задумывается о дальнейшем. Маркус уже давно хлопочет о приглашении его на должность ординарного профессора в Вюрцбург. (В Иене Шеллинг был экстраординариусом, то есть не получал оклада.)

Пока что они едут в маленький швабский городок Мурхардт к родителям Йозефа, как звала Фридриха Каролина. Радужный прием обеспечен тактичными письмами Шеллинга. Его отец расположен к Каролине также и потому, что она дочь известного ориенталиста профессора Михаэлиса, которого он знает и чтит.

26 июня Шеллинг-старший совершил обряд бракосочетания. Медовый месяц молодые провели в Канштадте. Вернулись в Мурхардт и отбыли в Штутгарт. Затем в Тюбинген. «Я видела все, — пишет Каролина подруге, — где он жил и страдал на харчах стипендиата, где стал магистром, Некар, протекающий под его окном, плоты на нем, слышала все старые истории, которые он так мило рассказывает, я побывала в Бебенхаузене, где он провел детство».

Была еще одна, увы, тяжелая встреча с юностью. В Мурхардт к нему пришел Гельдерлин. Пришел пешком издалека, неопрятный, внушающий жалость и отвращение, потерявший рассудок (несколько лет назад он пережил духовную драму, которая переросла в душевную болезнь). Что мог сделать для него Шеллинг, оставшийся без места и принявший на себя заботу о любимой женщине, требующей внимания, болезненной? Шеллинг написал Гегелю и предложил ему позаботиться об их общем друге, которого не так давно Гегель называл своим «братом». От Гегеля пришло письмо с поздравлениями по поводу женитьбы, но весьма туманными словами сочувствия, из которых следовало, что от него Гельдерлину ждать помощи не придется.

Супруги Шеллинг намереваются провести зиму в Италии. Впрочем, от этого придется отказаться, если последует приглашение в Вюрцбург. В

1803 году Вюрцбург отошел к Баварии, союзнице Франции, по французскому образцу здесь внедрялся дух Просвещения и реформ. Реформировали и старый Вюрцбургский университет. В его стенах хотели собрать лучшие интеллектуальные силы Германии (из тех, кто готов был покинуть насиженные места). Шеллинг казался подходящей кандидатурой.

К ужасу своему, он вдруг узнает, что Вюрцбург собирается позвать и его заклятого врага Шюца вместе с его проклятой «Литературной газетой». Что делать? Шеллинг предпринимает решительный шаг. Он пишет письмо видному правительственному чиновнику в Мюнхен, ведающему баварскими университетами. Констатирует с сожалением, что в Вюрцбург стремятся «не только молодые люди, ищущие твердого пристанища, но и те, кто уже пережил свою университетскую карьеру и кто ищет выход из сложившегося неприятного положения, чтобы на новом месте уйти от презрения». Если Шюц окажется в Вюрцбурге, «то в результате очистится Иена и откроется для тех, кто вынужден был ее покинуть». Другими словами: либо Шюц, либо он. Сейчас он, Шеллинг, отправляется в Италию, но, если его превосходительству будет угодно, он, Шеллинг, может выбрать дорогу через Мюнхен. Его превосходительству было так угодно, Шеллинг прибыл в Мюнхен, получил назначение в Вюрцбург и на долгие годы обосновался в Баварии. Шюц вместе с «Литературной газетой» перебрался в Галле.

*

Зимний семестр 1803 года Шеллинг начал чтением курса, в основу которого легла книга, увидевшая свет еще в Иене — «О методе университетского образования». Если попытаться в двух словах изложить суть новой проблемы, приковавшей внимание философа, то это прозвучит так: система наук. Подобно тому как мир представляет собой живой организм, так и науки о мире объединены необходимыми связями в органическое целое. Древо научного познания вырастает из одного корня, «науки всех наук», каковой является философия.

Общим для всех наук является созидание нового, творчество. Здесь наука смыкается с искусством. «Искусство в науке» — это творчество. Знание только предварительное условие научной деятельности, Без него нельзя, но одного его недостаточно. «Все правила университетского образования можно свести к одному: „Учись, чтобы творить“». Только благодаря этой божественной продуктивной способности становишься

человеком, без нее ты только умно устроенная машина.

Поэтому царство науки аристократично, здесь господствуют лучшие. Эта мысль, звучащая диссонансом по сравнению с тем, что утверждалось в «Системе трансцендентального идеализма», не должна отпугивать. Речь идет о творческой стороне дела. Знание общедоступно, но творчество — удел немногих. И Шеллинг цитирует Горация: «Odi profanum vulgo et arceo».^[6]

В свое время Гёте ополчался против «литературного санкюлотства», подразумевая под этим стремление посредственностей занять место одаренных. Шеллинг опасается, что учение о равенстве способностей приведет к «всеобщей системе разрушения сил». Зачем гений, если все равны?

Задача творчества состоит в том, чтобы увидеть взаимопроникновение общего и особенного, в единичном факте — закон, за обобщением — частный случай. Средством проникновения в эту тайну служит интеллектуальная интуиция. Так и в искусстве, и в науке, и в философии.

Шеллинг говорит о «поэзии в философии». Это диалектика. Именно она исключает догматический подход к делу, когда требуют, чтобы философ выложил истину как звонкую, блестящую монету. Диалектика опрокидывает и скептицизм, подрывающий самые основы познания. Есть еще одна опасность для мудрости — «аналитическая и формальная философия», не идущая дальше эмпирических фактов. Подлинная философия, как и поэзия, приобщает нас к абсолюту.

Философия — непосредственное постижение мира с его идеальной стороны. Реальную сторону открывают остальные науки. Прогресс реализации знания совершается в ходе истории. Прежде всего Шеллинг показывает это на примере религии и богословия. Религия обязана своим существованием традиции и сложившимся условиям. «Римская империя созрела для христианства за столетия до того, как Константин избрал крест знаменем нового мирового господства». Уже апостол Павел излагал христианство иначе, чем его основатель. Возникновение протестантизма означало возврат к первоначальной духовности, отказ от чувственного в вере. Откровение божие не следует искать в каких-либо опосредованиях, эмпирически воспринимаемых вещах, бог открывается непосредственно в истории.

Переходя к гражданской истории, Шеллинг рассматривает три ее разновидности — эмпирическую, прагматическую и поэтическую. Первая оперирует всеми фактами, лежащими на поверхности событий. Вторая пользуется определенным критерием отбора — дидактическим или

политическим. Высший тип отношения к прошлому — историческое искусство. Подлинная история свободна от субъективизма и представляет собой синтез действительного и идеального. Философия «снимает» единичные факты, искусство оставляет их в неприкосновенности. Это как раз то, что нужно историку.

«Само собой разумеется, что историк не имеет права во имя художественности изменять материал истории, высшим законом которого является правда. Не менее ошибочно мнение, что высшие соображения позволяют пренебречь действительным ходом событий. В истории, как и в драме, события вытекают с необходимостью из предыдущего и постигаются не эмпирически, а благодаря высшему порядку вещей. Эмпирические причины удовлетворяют рассудок, для разума же история существует только тогда, когда в ней проявляются инструменты и средства высшей необходимости. При таком подходе история приобретает характер величайшей и достойной удивления драмы, которую создает бесконечный дух». Всеобщую историю надо писать как эпос. Примером служат древние авторы. Из новых Шеллинг называет Гиббона, Маккиавелли, Иоганеса Мюллера.

История в узком смысле слова имеет своим предметом государство в качестве «объективного организма свободы». Здесь история смыкается с наукой о праве, юриспруденцией. В совершенном государстве особенное сливается со всеобщим, необходимость — со свободой. Если Кант в своих рекомендациях обращает внимание только на негативную сторону правопорядка, обеспечение прав личности от посягательств, то Фихте (вслед за Платоном) пытается дать позитивное решение вопроса, создать государственный порядок, направленный на достижение всеобщего счастья. (Насколько эффективны рецепты, предложенные Фихте в его утопии о «замкнутом торговом государстве», Шеллинг не говорит, однако иронический выпад по адресу соперника звучит красноречиво: «Действовать! Действовать! Призыв слышен повсюду, но громче всех от тех, кто не желает покинуть пределы умозрения».)

Далее речь идет о естествознании. Эмпирия и здесь недостаточна. Эмпирическое знание не поднимается выше механистического взгляда на природу. Единство природы ему недоступно. Подлинная философия природы — философия тождества. К ней приходит физика, химия, учение об органической жизни, медицина и наука об искусстве (знакомство с которой Шеллинг считал обязательным компонентом университетского образования). Поэтому, господа, изучайте философию тождества.

Параллельно с курсом общей методологии наук Шеллинг читает и

курс, посвященный теоретической философии. Я не учу философии, говорит он, этому невозможно научить, я только побуждаю философствовать. Философия — не история, здесь нельзя сразу получить результат. Поспешать здесь надо медленно. Не читайте компендии, от них только вред, изучайте подлинники, не жалейте умственных усилий. Один понятый диалог Платона или «Этика» Спинозы стоят всего остального. Сейчас философия обесценена, это слово употребляют всуе. Есть уже философия сельского хозяйства, скоро будет философия конного транспорта и поваренного искусства. Между тем философия — это поэзия универсума. Ту или иную ее отдельную часть нельзя назвать красивой, но в целом она прекрасна...

Так записывал за Шеллингом гейдельбергский профессор Кайзер, попавший на его лекции. Он описал, как выглядел философ в Вюрцбурге и как выглядели его занятия. «Это человек роста чуть ниже среднего, с плотной, но пропорционально сложенной фигурой. У него круглое, но не полное лицо; глаза большие, светлые, пронизывающие, охватывающие весь предмет; курносый, но не приплюснутый нос, цвет лица бледный и вместе с тем смуглый. Будь у него вздернутая вверх губа — вылитый негр. У него черные курчавые волосы, коротко постриженные, и бакенбарды».

С благоговением входил гейдельбержец на лекцию своего вюрцбургского коллеги. Ему казалось, что он вступает в храм самой мудрости. Он видит перед собой красивую высокую кафедру. Шеллинг появляется торжественно. «Хотя он живет этажом выше, он приносит с собой большую шляпу, которую кладет на стул рядом с собой на возвышении. Кланяется слушателям, которые частично встают при его появлении, не то чтобы глубоко, но внушительно. Из кармана он вынимает записи, и после едва различимого „Господа“, начинается великолепная лекция. Он все читает с листа, но так свободно, как будто это устная речь. Он говорит легко, как полагается гению. Тон голоса слабый, но приятный. Он не выделяет главное. Сокрушительная фраза звучит так же просто, как и тривиальность. Часто начало фразы произносит с подъемом, а остальное скороговоркой. Слушатели, не привыкшие к нему и незнакомые с его взглядами, с трудом следуют за ним. Не успел ты схватить одну мысль, как он переходит к другой. А ту быстро вытесняет следующая. У него замечен швабский диалект, хотя в очень слабой степени. Быстрота речи скрадывает жесткость. Его аудитория, где в основном стоят стулья, заполнена. На одной лекции я насчитал 70, на другой 50 присутствующих. Первая была по общей философии, вторая — по философии искусства».

Оба эти курса Шеллинг привез из Иены. Что же он пишет теперь? В

Вюрцбурге он работает над лекциями по пропедевтике философии и по системе философии в целом. Но это не для публикации. Год прошел, а в печати появились только два небольших произведения. Некролог по поводу кончины Канта (красивая, полная пиетета к великому мыслителю, но короткая статья) и книжица «Философия и религия», написанная, по свидетельству того же Кайзера, за восемь дней. Для продуктивной натуры Шеллинга мало. Чем же он занят?

Ходят слухи, что пишет роман. Богослов Паулюс, который поселился в одном доме с Шеллингом, сообщает 17 ноября 1803 года: «Шеллинг стал невидимкой. Мы не видим его ни дома, ни в городе. Говорят, что он пишет роман, который уже в Иене — хорошо, плохо ли — занял его свободное время». Запомним свидетельство Паулюса: нам придется к нему вернуться.

Паулюс, как и Шеллинг, прибыл из Иены. Когда-то они были близки, но потом их отношения испортились. Из Иены в Вюрцбург переселились также юрист Хуфеланд, медик Ховен, богослов Нитхаммер. Их жены привезли с собой иенские пересуды и сплетни по поводу Каролины. Шеллинг, мол, милый, хороший человек, а вот жена его суцая ведьма, «мадам Люцифер», иначе ее не назовешь. Муж у нее под каблуком, но она дурно на него влияет. Пусть Шеллинг первый профессор в университете, но почему она воображает себя первой дамой в обществе? И университетом хочет командовать. Обставила свою квартиру модной мебелью и требует того же от других. Щеголяет своей ученостью, а наряжается как пятнадцатилетняя девочка. С мужчинами кокетничает напропалую, мало ей иенских скандалов. Небось Шеллинг уже ей надоел, ищет себе любовника. Почему профессор Келер, красавчик, зачастил к ним в гости? Не иначе как она завела с ним шашни. И т. д. и т. п. Конечно, это пустяки, но из пустяков складывается повседневность. А мужчины дышат той атмосферой, которую создают им жены. Правительственный комиссар Тюрхайм — однокашник Ховена, часто бывает у него дома, жене Ховена передали, что Каролина называет ее «швабской кухаркой». Добра от всего этого не жди.

Шеллинга нельзя назвать одиноким: он счастлив в браке, дом полон гостей. (Вот как описывала Каролина подруге празднование дня рождения своего супруга: «За большим круглым столом собралось милое общество, Вам не пришлось бы скучать. После полуночи народ обезумел, супруги Штурц ушли в два часа ночи, я решила поступить, как мадам Рекамье, и ушла в спальню: напряженный день не позволил мне бодрствовать до 4 или 5 часов, когда с утренним колокольным звоном ушли последние и Шеллинг улегся»).

Однажды (в мае 1804 года) Шеллинг, вернувшись вечером из загородной поездки, нашел дома записку: к нему заходил А. В. Шлегель, в Вюрцбурге он проездом из Швейцарии, сопровождает мадам де Сталь. Было уже поздно, часов одиннадцать, Шеллинг бросился в гостиницу, где остановился Шлегель, привел его домой. Каролина еще не спала. Сидели все вместе до начала второго.

Есть у философа друзья и верные последователи, главным образом из числа естественников и медиков. К старым, Стеффенсу, с которым он перешел на «ты», и Маркусу, прибавились Виндишман, Шуберт, позднее Окен. Но возникает и альянс противников, главным образом из числа богословов.

Первые нападки Шеллингу пришлось встретить со стороны католической ортодоксии. Вюрцбургский епископ недоволен правительственными новациями. Факультеты преобразованы в секции, теологический факультет называется теперь «Секция преподавания знаний, необходимых для народных учителей религии», протестантские богословы здесь на равных правах с католиками. Протестант Шеллинг и протестант Паулюс кажутся епископу олицетворением либерального зла: он запрещает католикам посещать их лекции. «Вы можете приблизительно представить нынешнюю ситуацию, — жалуется Шеллинг в феврале 1804 года, — партия духовенства ненавидит меня, и молодым клирикам, которые ходят на мои и проф. Паулюса лекции, угрожают отлучением от церкви. Само по себе это неважно, но не мне, который всеми силами души стремится здесь к миру и согласию».

Мира и согласия ему не видать. Паулюс, который, казалось бы, должен быть союзником, — один из главных врагов. В глазах либерального Паулюса, пытающегося в духе Просвещения рассудочно истолковать церковную догматику, Шеллинг — ретроград и мистик. Такие же обвинения исходят и от католического «просветителя» Берга. Это он автор подлой брошюры «Хвала наиновой философии», которая дала пищу для клеветнических выпадов «Иенской литературной газеты». Теперь он пишет новый памфлет «Секст, или Абсолютное познание Шеллинга». Это диалог между Секстом (Бергом) и Плотинем (Шеллингом). Последний изрекает банальности и глупости, Секст без труда одерживает победу. За Шеллинга вступились его студенты и вывесили нечто вроде стенной газеты, высмеивающей пасквилянта. Берг завопил, что это сделано на наущению Шеллинга.

Антишеллингианские пасквили — брошюры, рецензии, статьи — следуют один за другим. Особенно стараются преподаватели мюнхенского

лица Вайлер и Залат. И мюнхенская «Верхненемецкая литературная газета». Чего здесь только не пишут! Его обвиняют в аморализме, материализме, атеизме и одновременно в гиперрелигиозности, мистицизме, розенкрейцерстве, кабалистике. И преднамеренной галиматье. Его называют «лицемерным верховным жрецом разума», играющим «роль далай-ламы, экскременты которого целуют верные его ученики».

На беду Шеллинга, его противники находят поддержку в правящих кругах. Он наталкивается на трудности в преподавании, а по средним школам разослана инструкция, запрещающая знакомить учащихся с его философией. Говорят, что он «персона нон грата» в Баварии. 26 сентября 1804 года Шеллинг обращается к властям, графу Тюрхайму: «Я заявляю Вашему превосходительству, что отныне состояние мира, которое я старался сохранить, нарушено, и я использую все дарованные мне богом силы, чтобы отстоять правоту моего дела и разрушить планы тех, кто на него посягает. Я не утрачу уважения к своему правительству, однако всякое заявление, затрагивающее научные интересы, даже если оно исходит от ряда лиц, по своему содержанию подлежит оценке, принятой специалистами, причем вопрос решается духовным превосходством, а не внешним принуждением... Я требую гарантии тех прав, которые уже нарушены в отношении меня, и так как я должен рассчитывать на такую гарантию, то я прошу рассматривать Ваше превосходительство это письмо как официальный документ».

Делу дали официальный ход. Доложили курфюрсту. В ответ Шеллинг получил правительственный выговор. Выражалось высочайшее «неудовольствие по поводу проявленной им дерзости, которая убедительно показывает, как мало умозрительная философия делает людей разумными и нравственными». Профессору Шеллингу предлагалось «обратить внимание на монарший эдикт о свободе печати, который ценит скромное прямотушество и разъяснение полезных истин, но вводит в границы законного порядка невоспитанность и невоздержанность распущенных писателей».

Фихте при подобных обстоятельствах в Иене подал в отставку. Шеллинг решил проглотить обиду, смириться с унижением, чтобы в следующий раз действовать осмотрительнее. Пока враги торжествуют. И не унимаются.

Мерзавцы опять бьют его по самому больному месту, опять вспомнили о смерти Августа Бэмер. Шеллинг намерен вместе с Маркусом издавать медицинский журнал, и вот в печати появляется издевательская заметка, автор которой уверяет, будто в первом номере нового журнала будет напечатана история болезни фрейлейн Бэмер для оправдания

«натурфилософского метода лечения», в результате которого она скончалась. В этом и других пасквилях Шеллинг узнает руку своих недругов — Паулюса, Берга, Залата, Вайлера.

В конце марта 1805 года он огрызнулся по их адресу. В отделе объявлений «Иенской всеобщей литературной газеты» (которую теперь, после отъезда из Иены Шюца, издают новые люди) появилось его обращение «К публике». Здесь Шеллинг излил душу: «С тех пор как я начал работать в этой стране, поднялась против того, что называют моим учением, фанатическая, беспримерная для нашего времени травля без каких-либо оснований, только с помощью лжи и клеветнических личных выпадов.

С помощью грубой и грязной фантазии, иезуитской изощренности искусственно создается схема учения, и эту пачкотню выдают за подлинную картину. Ее подлинное имя — фальсификация. Сегодня уверяют, что мое учение ведет к католицизму, завтра — к атеизму, то его называют мистической экзальтацией, то — материализмом, новой „Системой природы“, — все это свидетельствует о сознательной лжи или беспросветной тупости. Все состряпано в Мюнхене». Не называя имен, Шеллинг указывал на своих мюнхенских гонителей — Вайлера и Залата.

Задача состояла в том, чтобы дать отповедь клеветникам, не вступая в новый конфликт с правительством. Поэтому Шеллинг теперь ничего не требует от властей, он расточает властям комплименты: «Зародыш нового творчества, брошенный в землю Южной Германии достойным хвалы правительством Баварии, расцветет и даст плоды, несмотря на все ваше противодействие. Оно и к моему открытому заявлению, продиктованному чистыми намерениями и искренним преклонением перед великим духом таких начинаний, отнесется доброжелательно и не взглянет как на полемический зуд на то, что человек, так долго молчавший, принимает необходимые меры для спасения своей чести».

Тон был выбран правильно, и на этот раз свыше не последовало никаких репрессивных мер. Осмелев, Шеллинг пишет подряд два письма в «Верхненемецкую литературную газету», уже называя фамилии, в одной — Залата, в другом — Вайлера. Газета не печатает письма, Шеллинг публикует их в другом месте. И считает себя отомщенным.

Так текут дни. Высокая поэзия философии чередуется со скандальной прозой жизни. Сплетни, интриги, преследования в печати. И несмотря на это, труд, поиски, новые планы.

Шеллинг намерен выпускать «Ежегодники научной медицины». Издание задумано широко, как посвященное не столько врачеванию,

сколько исследованию органической жизни. В июле 1804 года он набросал проспект журнала, но до конца года не вышло ни одного номера. Зимой он снова рассылает проспект и приглашает сотрудничать видных ученых. Пишет он и Александру Гумбольдту, который только что вернулся из пятилетнего путешествия по Америке и обосновался в Париже. Гумбольдт — ученый с мировым именем. Важно заполучить если не его участие в журнале, то хотя бы расположение, рассеять возможное предубеждение против философских поисков в исследовании природы. Гумбольдту он пишет: «Натурфилософию упрекают в том, что она презирует опыт и мешает его прогрессу, и это происходит в то время, когда многие естествоиспытатели наилучшим образом используют ее идеи и применяют их в своей экспериментальной работе., Разум и опыт могут противоречить друг другу только по видимости, и я не сомневаюсь, что Вы признаете в новейших учениях удивительное совпадение теории и опыта».

Гумбольдта не нужно уговаривать. Он следит за работами Шеллинга и признает их значение для развития естественных наук. «Я рассматриваю революцию, которую Вы начали в естествознании, как прекраснейшее начинание нашего стремительного времени... Натурфилософия не может повредить успехам эмпирических наук. Напротив, она дает принципы, которые подготавливают новые открытия».

Слова Гумбольдта оказались справедливыми и по отношению к медицине. И здесь идеи Шеллинга сыграли роль плодотворного импульса. Ему удалось преодолеть ограниченность механизма и витализма (теории «жизненной силы»)1, которые завели медицину в тупик. И в той и другой концепции болезнь рассматривалась как нечто постороннее для организма. По Шеллингу, болезнь, как и здоровье, — естественный процесс. История болезни — это история организма. Так утверждал он и в прежних своих работах, и в статьях, напечатанных в новом журнале. Первый номер появился в сентябре 1805 года. Шеллинг написал вводную заметку и поместил в нем две статьи, в афористической форме излагающие общие принципы своего учения. В одной из них («Афоризмы к введению в натурфилософию») мы находим следующее схематическое изображение философии тождества.

	Бог	
	Всё	
Всё относительно		Всё относительно
реальное		идеальное
Тяжесть. Материя.		Истина. Наука.
Свет. Движение.		Добро. Религия.
Жизнь. Организм.		Красота. Искусство.
Система мира.	Разум.	История.
Человек.	Филосо-	Государство.
	фия.	

«Ежегодники научной медицины», как и другие периодические издания Шеллинга, просуществовали недолго. Появилось шесть номеров (последние два без литературного участия главного редактора). Шеллинг постепенно терял интерес к журналу. В конце концов у него вырвется признание: «Журналистика мне опротивела».

Важнее, однако, другие признания: Шеллинг теряет интерес к науке. Вместо науки как таковой он видит «симбиоз науки, религии и искусства», в котором главенствующее место он отводит последнему. Можно ли достичь высокого, ковыляя тропами науки? Тот же вопрос, но яснее: можно ли стать хорошим поэтом, сочиняя плохую прозу? Путь знания — поэзия.

В последней статье, опубликованной в медицинском журнале («Критические фрагменты»), он заметит: «Придет время, когда наука прекратит свое существование, ее место займет непосредственное знание. Все науки возникли по недостатку последнего».

Кому-то такие слова нравятся, а на кого-то производят удручающее впечатление. Гегель скажет зло: «Точно так же, как теперь в философии, одно время гениальность свирепствовала в поэзии. Но вместо поэзии, если в продукции этой гениальности и был какой-нибудь смысл, она создавала тривиальную прозу или, когда выходила за ее пределы, — невразумительную болтовню. Так и теперь натуральное философствование, которое ставит себя выше понятия и за недостатком его считает себя созерцательным и поэтическим мышлением, выставляет напоказ произвольные комбинации воображения, — ни рыба, ни мясо, ни поэзия, ни философия». Так будет написано в «Феноменологии духа». (Зло и несправедливо — «ни рыба, ни мясо»; как бы ни назывался Продукт, заготовленный Шеллингом, Гегель именно из него приготовит кушанье, которое придется по вкусу многим!)

Шеллинг расстается с натурфилософией. «В Иене, будучи изолированным, я думал не о жизни, а о природе, на ней сосредоточивались почти все мои размышления. С тех пор я понял, что религия, публичная вера, жизнь в государстве — вот ось, вокруг которой все вращается, и именно сюда надо Приложить рычаг, чтобы встряхнуть мертвую человеческую массу». Это написано Виндишману 16 января 1806 года.

Еще будут выходить натурфилософские работы Шеллинга. Кроме статей в медицинском журнале, появится второе издание трактата «О мировой душе», для которого он написал новое введение, фактически самостоятельный трактат «Об отношении идеального и реального в природе», предмет своей гордости. Он будет гордиться и своим новым полемическим произведением против Фихте, где будет говорить от имени натурфилософии... И в поздние годы не раз вспомнит о ней. Но перелом в устремлениях наметился.

Шеллинг прощается с философией природы. Только с философией, не с самой, природой: с ней он не разлучится никогда. Он поворачивается лицом к делам, человеческим, он видит в них продолжение творчества природы. Он меняет сферу интересов, не принципы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ

*Так связав, съединен от века
Союзом кровного родства
Разумный гений человека
С творящей силой естества.*

Ф. Тютчев

В истории немецкой литературы есть один прискорбный эпизод — искусственно созданная полемика вокруг авторства книги «Ночные бдения».

Книга вышла под псевдонимом Бонаventura в начале 1805 года в серии «Журнал новых немецких оригинальных романов», выпускавшейся саксонским издательством «Динеман». Первоначально на нее не обратили внимание, только в нашем веке она обрела широкую известность: в ней увидели предвосхищение прозы экспрессионистов, Кафки, Гессе. В прошлом столетии она была издана три раза, в нынешнем — двадцать три.

У нас эта книга странным образом почти неизвестна. Лишь в 1980 году в двухтомнике «Избранная проза немецких романтиков» впервые появились отрывки из нее. В академической пятитомной «Истории немецкой литературы» она даже не упоминается. Молчат о ней и наши исследователи немецкого романтизма.

«Ночные бдения» (может быть, правильнее Nachtwachen перевести как «Ночные дозоры», ибо герой книги Кройцганг не отшельник, удалившийся от мира, а ночной сторож, настороженный наблюдатель «ночных», темных сторон человеческого бытия) не роман в строгом смысле слова. Скорее это цикл новелл, объединенных одним рассказчиком.

Первая — смерть вольнодумца. Он умирает в кругу любящей и скорбящей семьи, исполненный высоких чувств, которые не желает замечать присутствующий при кончине патер, нудно и безуспешно пытающийся вернуть вольнодумца в лоно церкви. Патер пугает умирающего дьяволом, говорит от имени лукавого, что похитит его душу и даже тело. И вот смерть пришла. А за ней во тьме крадутся похитители. Нечистая сила? Брат покойного, солдат, дежуривший у гроба, лихо отрубил

голову одному из пришельцев. Голова дьявола в железной маске. Что скрывалось за ней, установить не удалось. Мы можем только догадываться: духовенство в тот же день объявило о смерти настырного патера, тело которого по причине жаркой погоды незамедлительно предали земле.

Следующая новелла — о супружеской неверности. Некая Каролина, жена судьи, объясняет любовнику, как проникнуть в ее дом. Разговор подслушал ночной сторож и сам спешит в дом судьи. Когда супруги разошлись по спальням, страж поднимает тревогу. Любовники теряют сознание, а наш герой открывает хозяину глаза. Он не хотел бы, однако, чтобы по отношению к незадачливому донжуану применили суровую статью Каролины (уголовного уложения императора Карла). Судье невдомек, о какой Каролине идет речь, и далее следует игра слов. Кройцганг судье: «Я понимаю, почему Вы спутали двух Каролин: Ваша живая Каролина — это крест и пытка сурружеской жизни, ее можно легко принять за ту другую, которая посвящена вещам также далеко не сладостным. Можно даже сказать, что семейная Каролина пострашней императорской, ибо последняя не означает *пожизненной* пытки».

Хранить верность мужу? Оценит ли ревнивец твою добродетель? В новелле о двух братьях — холодном дон Жуане и пылком дон Понсе — первый воспылал страстью к жене второго. Не встретив взаимности, он отомстил жестоко. Ночью он послал к Инессе ее пажа, разбудил брата и сказал, что жена изменяет ему с юношей. Понсе убил жену, пажа и себя. Что остается делать дон Жуану?

Этой «испанской» истории предшествует описание спектакля в театре марионеток с тем же сюжетом. После самоубийства обманутого брата искуситель решает заколоть себя, но рвется нить, на которой пляшет марионетка, и рука застывает с поднятым кинжалом. А Петрушка рассуждает о свободе воли: здесь, в театре, все совершается по воле того, кто управляет куклами.

Кройцганг задумывается: «Иногда в тяжелые минуты мне кажется, что человеческий род сам испортил хаос, поспешив навести в нем порядок, в результате ничто не стоит на своем месте, и творец будет вынужден вскоре перечеркнуть и уничтожить мир как неудавшуюся систему».

А что, если случится такое? Как будет выглядеть «конец сущего»? В «Ночных бдениях» употреблено это выражение, заимствованное, видимо, из одноименной статьи Канта.

Вместо того чтобы возвестить наступление определенного часа, ночной сторож провозглашает конец времени, приближение Страшного суда. Поднимается паника. «Кровопийцы и вампиры доносили на самих

себя, требовали для себя смертной казни и ее немедленного исполнения здесь, внизу, чтобы избежать наказания Всевышнего. Гордый глава государства впервые стоял униженно и почти раболепно с короной в руке и говорил комплименты оборванцу в предвидении грядущего всеобщего равенства.

Слагались чины, награды и ордена, их недостойные владельцы спешили собственноручно от них избавиться. Духовные пастыри торжественно обещали своей пастве в будущем напутствовать не только благими словами, но и благим примером, если только на этот раз господь ограничится одним увещанием».

У собравшихся вдруг мелькнула надежда, что Страшный суд может не состояться. Тогда мистификатор обращается к ним с речью. Со времен Адама протекло уже немало времени, что сотворили они за эти годы, вопрошает он и дает ответ: ровным счетом ничего!

«С чем приходите вы к нашему господу, братья мои, — князья, откупщики, воины, убийцы, капиталисты, воры, чиновники, юристы, теологи, философы, идиоты всех служб и профессий... Воздайте должное истине и скажите, что достойное вы совершили? Например, вы, философы, что можете вы сказать, кроме того, что вам нечего сказать. Таков главный итог всего вашего философствования. Вы, ученые, к чему ведет вся ваша ученость, как не к тому, чтобы растоптать и высушить человеческую душу, а затем красоваться перед оставшейся окалиной. Вы, богословы, причисляющие себя к придворным господа бога, льстящие ему и лебезящие перед ним, вы создали здесь, на земле, бандитский вертеп, вы разорвали узы людского родства и братства, разметали их по враждебным сектам. Вы, юристы, полулюди...»

Когда восстановлен был порядок и жизнь вошла в привычную колею, во избежание подобных инцидентов ночному сторожу запрещено было возвещать время; лишь с помощью специального контрольного механизма он должен был ежечасно подтверждать свою бдительность.

«Кто я такой, — размышляет Кройцганг в седьмом „бдении“. — Не иначе как порождение черта, который пробрался в постель к святой праведнице». Отсюда двой-ственная природа нашего героя. Не считайте его нигилистом и циником. Пусть видит он всюду Ничто, он не рад этому, и сердце его ранено падением нравов. «Сам папа во время молитвы не бывает столь благочестив, как я, оскверняя святыни... Меня уже не раз выгоняли из церкви, потому что там я начинал смеяться, и из публичного дома, потому что там мне хотелось молиться. Одно из двух: либо люди свихнулись, либо я. Если такие вопросы решаются большинством голосов,

дела мои плохи».

Ведь не вынес своей судьбы поэт, тоже полуночник и сотоварищ сторожа. Он написал трагедию «Человек», а когда издатель отверг рукопись, повесился. Кройцганг читает его предсмертное послание: «Человек никуда не годится, поэтому я его перечеркиваю». Речь идет и о пьесе, и о жизни.

Сторож, знакомит нас с прологом к трагедии «Человек». Это монолог философствующего Петрушки. Мы узнаем об учении Эразма Дарвина (изложенном в его поэме «Храм природы»), согласно которому человек произошел от обезьяны. Ну что ж, рассуждает Петрушка, с этим, видимо, придется согласиться, а то найдут нам предков похуже. Петрушка пускается во все тяжкие доморощенного мудрствования: «Жизнь — это лишь шутовской наряд, одетый на Ничто, пусть звенят на нем бубенчики, все равно его порвут и выбросят. Кругом только Ничтог оно душит себя и с жадностью поглощает, и именно это самопоглощение создает обманчивую игру зеркал, как будто есть Нечто. Когда приостанавливается самоудушение и ужасающее Ничто выходит на поверхность, дураки принимают задержку за вечность, а она-то и есть как раз Ничто и абсолютная смерть».

Сама собой возникает тема сумасшедшего дома. Кройцганг изведаль и это. Он был там и больным, и чем-то вроде вице-надзирателя. А вот его несчастные поднадзорные. Номер 1 — «образчик гуманности, превосходящий все, написанное на эту тему». Номер 2 и номер 3 — «философские антиподы, идеалист и реалист; один, воображает, будив у него стеклянная грудь, а другой убежден, что у него стеклянный зад». Номер 4 «угодил сюда лишь потому, что в своем образовании шагнул вперед на полстолетия; кое-кто из ему подобных еще на свободе, но их всех, как водится, считают полоумными...». Номер 9 считает себя творцом мира.

Не так ли у Фихте? У безумца «тоже есть своя система, по своей последовательности не уступающая системе Фихте, хотя человек здесь преуменьшен даже по сравнению с Фихте, обособляющим его разве что от неба и ада, но зато втискивающим всю классику, словно в книгу карманного формата, в малюсенькое „я“, местоимение, которое доступно чуть ли не младенцу».

Десятое «бдение» — скорее кошмарный сон. На глазах ночного сторожа в церкви заживо хоронят молодую монахиню. Она стала матерью. В священной истории нечто подобное выдавалось за чудо, тем не менее благочестивые сестры замуровывают несчастную в церковной стене.

Отец ребенка. — «незнакомец в плаще» — начинает рассказывать

свою историю. Он родился слепым. Его мать приютила девочку, оставшуюся без родителей и дала обет посвятить ее небу, если сыну будет даровано зрение. Чудесное исцеление не дар небес, а дело рук докторов, тем не менее мать, видимо, сдержала свое слово. Об этом нам ничего не говорят, мы можем только догадываться, зная, что прозревший уже давно полюбил сиротку, можем представить себе дальнейшее развитие событий, завершившееся преступлением в церкви.

«О, лживый мир, — восклицает сторож, — здесь все поддельно!» Восклицание вызвано встречей на кладбище с самоубийцей, который при ближайшем рассмотрении оказался актером, репетирующим свою роль в театре.

Театр и сумасшедший дом — две главные ипостаси человеческого бытия. Они сливаются воедино в четырнадцатом «бдении», где рассказчик, в прошлом актер, игравший в придворном театре роль Гамлета, сообщает о том, как он встретил и полюбил актрису, исполнявшую роль Офелии. Встретил в психиатрической больнице, где оба оказались пациентами. Офелию мучает вопрос, возникающий при чтении Канта: есть что-нибудь «само по себе» или все только слова и фантазия? «Помоги мне прочитать мою роль до самого начала, до самой себя, — просит она Квинтета. — Есть ли во мне что-либо помимо моей роли или все только роль, и Я в том числе?» Гамлет убеждает ее: все только роль, все только театр, играет ли комедиант на самой земле, или на два метра повыше — на сцене, или на два метра пониже — в могиле. «Быть или не быть?» — теперь он такого вопроса себе не задаст. Раньше его смущала мысль о бессмертии, и он боялся смерти: сыграв свою роль в посюсторонней комедии, попасть в новую, потустороннюю, упаси боже! Теперь он знает, за смертью нет вечности. Увы, Офелия разубеждает его. Умирая (не на сцене, а в жизни), она говорит: «Роль кончается, но Я остается, они хоронят только роль... Я люблю тебя, это последние слова в пьесе, и только их из моей роли я постараюсь запомнить, это лучшее место в пьесе, остальное пусть они предадут земле».

Бонаventura (как и его герой) — не нигилист, он только беспощадный и довольно едкий критик всех человеческих начинаний. Он верит в бога, его не устраивает лишь возня с религиозными культами, претендующими на исключительность. «Всеобщую мировую религию, которую природа открывает нам своими письменами, они раскладывают по полкам мелких национальных и племенных религий для евреев, язычников, турок, христиан, а последним и того мало, и они себя раскладывают по новым полкам». Искусство — великий дар. Только пусть оно не претендует на

первенство по сравнению с природой. «На вершине горы посреди Музея природы они воздвигли еще один, поменьше, — для искусства... Иногда у меня тоже возникают свои художественные капризы, добрые или злые, и я из великого хранилища перехожу в малое, чтобы взглянуть на то, как человек что-то прилежно строит и вырезывает, полагая, что он поднимается над природой, не пытаясь, однако, вдохнуть в свои произведения главный элемент всего живого: саму жизнь».

А вот политика. Здесь люди ведут себя наиболее легкомысленно и безрассудно. Государство предпочитает иметь дело с надежными машинами, чем с исполненными смелого духа гражданами. А каковы сами граждане? Выйдя после кончины Офелии из сумасшедшего дома, наш герой становится актером бродячего кукольного театра. Однажды играли в деревне близ французской границы, за которой разыгрывалась своя великая трагикомедия, где король дебютировал весьма неудачно, а Петрушка во имя равенства и братства рубил головы, как капусту. Играли пьесу на библейский сюжет о прекрасной Юдифи, которая отсекла голову царю Олоферну. Возбужденные зрители, увидев кровь, тут же бросились к дому старосты, чтобы и ему отсечь голову. Кройцганг успокаивает толпу, он поднимает голову деревянного Олоферна и говорит: «Когда она еще сидела на туловище, то управлялась вот этой проволокой, а проволокой управляла моя рука, и так далее до бесконечности, где управление уже не поддается учету... Можете ли вы сердиться на этого Олоферна, который прыгал по моему хотению? А вы перенесли свой гнев на голову нашего старосты, и это уж совсем неразумно... Что сделала вам его бедная голова, которую вы так жаждете? Это самая что ни на есть механическая штука на свете, вы не найдете в ней ни единой мысли. И не требуйте от нее свободы, потому что она не знает, что это такое».

Волнение постепенно улеглось, а герой продолжает размышлять: «Человечество в целом, если оно не страдает от навязчивых идей, — честная и простая поверхность, но оно легко впадает в противоположные крайности, я могу себе представить, как, разорвав сегодня легкие путы, оно завтра с энтузиазмом наложит на себя тяжелые цепи».

Староста остался в живых, но отблагодарил он актеров, спасших его, по-своему: именем закона арестовал все куклы как политически опасные игрушки. После этого Кройцганг решил заняться солидным делом и пошел в ночные сторожа.

В последнем, шестнадцатом, «бдении» мы узнаем историю рождения героя. Он подкидыш. Кто же его родители? Ночью на кладбище встречается он цыганку, которая, взглянув на его руку, признает в нем своего сына.

Отцом был алхимик, зачатие произошло в рождественскую ночь, в присутствии дьявола, который вызвался быть крестным. А вот и могила отца с надгробием, увенчанным каменной его головой.

Чем ближе к концу, тем больше звучит в книге пародийная нота. Автор явно метит в Новалиса, в его роман «Генрих фон Офтердинген» и цикл стихов «Гимны к ночи». В центре «Гимнов к ночи» — встреча поэта с умершей возлюбленной. В «Ночных бдениях» по кладбищу бродит некий ясновидец, которому ясно видны мертвецы, лежащие в могилах, кто сгнил, а кто еще не совсем. Он приходит на могилу возлюбленной со словами: «Там, внизу, почиет она, умершая в самом расцвете, и только здесь мне дано посещать ее девичье ложе. Она улыбается мне уже издалека».

В «Гимнах к ночи» Новалис писал:

Чужбине больше я не рад,
Хочу домой, к отцу, назад.

В «Ночных бдениях» эта метафора пародийно реализуется. Сторож раскапывает могилу отца, вскрывает гроб — «он лежит на подушке нетронутый, с бледным строгим лицом». Уже заходит речь о воскресении, но тут все распадается в прах; «только на земле горстка пыли да парочка откормленных червей тайком ускользают; как высокоморальные проповедники, объевшиеся на поминках. Я рассеиваю в воздухе эту горстку отцовского пепла, и остается ничто». Дважды еще (в двух последних фразах) автор повторяет слово «ничто», прежде чем поставить последнюю точку.

*

Роман вышел под псевдонимом Бонаventura. Псевдоним принадлежал Шеллингу, и при жизни философа никто не сомневался в его авторстве. (Мы помним, под этим псевдонимом Шеллинг напечатал в «Альманахе муз на 1862 год» четыре стихотворения.)

Вскоре после выхода книги Жан-Поль Рихтер писал своему знакомому: «Прочтите „Ночные бдения“ Бонаventura, т. е. Шеллинга», книга, мол, стоит того, «она таит в себе большую силу и требует того же от читателя». Родственник Рихтера К. Шпацир редактировал «Газету для эlegantного света», где за полгода до выхода «Ночных бдений» был

напечатан небольшой отрывок из книги; он должен был знать, кто скрывается за псевдонимом.

Другое свидетельство — через сорок лет. Варнхаген фон Энзе записывал в свой дневник 17 августа 1843 года: «Читаю роман Шеллинга „Ночные бдения“».

Автору этих строк удалось обнаружить еще одно (ныне забытое) свидетельство того, что современники считали Шеллинга автором романа. Александр Юнг, шеллингианец, хорошо знавший философа, перечисляя его труды, упоминает и о «Ночных бдениях».

Литературные справочники начала прошлого века отождествляли Бонавентуру с Шеллингом. Философ не отрекался от псевдонима. И здесь я могу сослаться на забытое обстоятельство. В 1837 году вышел сборник новелл Г. Стеффенса, где в качестве приложения перепечатано стихотворение Шеллинга «Последние слова пастора» (одно из четырех, увидевших впервые свет в «Альманахе муз на 1802 год»). В предисловии Стеффенс пишет: «Это замечательное стихотворение, написанное Бонавентурой (господином действительным тайным советником фон Шеллингом из Мюнхена), напечатано в виде приложения после того, как автор специально для данной цели заново просмотрел текст и любезно передал для опубликования». В 1877 году появилось второе издание «Ночных бдений» как произведения, принадлежащего Шеллингу, и через четыре года еще одно такое издание.

Тем не менее возникли сомнения относительно его авторства. Далее произошло непонятное и поистине невероятное. Сомнения переросли во всеобщее убеждение, нация лишила своего великого сына по праву принадлежащей ему собственности. Удивительный и беспрецедентный случай в истории культуры. Вот почему нам придется оборвать на время нить биографического повествования и включиться в историко-литературный спор. Дело идет о важной вехе в жизни Шеллинга. Ее нужно поставить на свое место и только тогда идти дальше. Только тогда станут понятными некоторые детали его дальнейшей творческой биографии.

Как же это произошло? Просто сын Шеллинга, издававший Полное собрание сочинений отца, не включил в него «Ночные бдения». (Он не включил в собрание и поэму Шеллинга «Эпикурейский символ веры Ганса Видерпоста»). Передавали слова известного философа В. Дильтея (сказанные им в разговоре), что в книге нет ничего похожего на «ярко выраженное своеобразие Шеллинга». И тут же было предложено считать автором романа Э. Т. А. Гофмана. Гипотеза, правда, лопнула, едва появившись на свет. Но затем посыпались новые имена претендентов на

авторство — малоизвестный литератор Ветцель, Клеменс Брентано, Генрих Клейст, Шан-Поль Рихтер и т. д. и т. п. На эту тему сочинялись книги, диссертации, статьи.

Не стану излагать все перипетии затянувшейся на многие десятилетия литературоведческой полемики. Многим она казалась оконченной в 1973 году, когда появилась работа И. Шиллемайта, где утверждается, будто автором «Ночных бдений» является ныне забытый журналист и театральный деятель Клингеман. Шиллемайту удалось обнаружить дословное совпадение одной фразы в «Ночных бдениях» и в статье Клингемана. Отсюда и был сделан далеко идущий вывод, признанный многими как неоспоримый. Издательство «Инзель» поспешило выпустить «Ночные бдения» уже как произведение А. Клингемана.

Шиллемайт убедил издательство и ряд германистов. Но не специалистов! Авторитетные рецензенты отнеслись к книге Шиллемайта настороженно и критически. Основное возражение (как и в отношении «кандидатуры» Ветцеля) состояло в том, что Клингеман — второстепенный, эпигонствующий литератор, а текст Бонавентуры выдает сильный, оригинальный талант, философскую культуру и эрудицию, глубокую мысль. Что касается дословного совпадения фразы из одиннадцати слов, то еще неизвестно, откуда и куда она попала, — из статьи Клингемана в «Ночные бдения» или наоборот. (А может быть, она заимствована из третьего источника?) Тем более что речь идет о пояснении, загнанном в сноску (о протагонисте, «который во времена Феспида вместе с хором составлял фактически всю трагедию»).

На мой взгляд, главный недостаток всей дискуссии вокруг «Ночных бдений» состоит в том, что нарушена была презумпция авторства. Сначала надо было доказать, что Шеллинг никак не мог написать роман, а потом разыскивать нового автора. Шиллемайт вообще не обращается к Шеллингу. Молчат о Шеллинге и другие.

Единственный, кто слеза обмолвился о философе, был Ф. Шульц, пытавшийся обосновать авторство Ветцеля. Но посмотрим, что он пишет (в книге «Автор ночных бдений Бонавентуры», Берлин, 1909): «Зрелый Шеллинг 1804 года, выступающий в строгом научно-академическом облике, в зените своей славы, аристократ духа, принадлежащий к вершинам идеалистической эпохи, устремленный на умозрительное обследование тайн высшего художественного творчества, связанный с Гёте узами личной дружбы и общего мировоззрения, пронизанный честолюбивым сознанием значения своей личности и озабоченный своей персональной репутацией, не мог иметь Дело с молодым издателем». И

далее: «Разве можно найти у Шеллинга взгляд на мир и на жизнь Бонавентуры? Обнаружим ли мы у него хотя бы след той отчаянной разорванности и дисгармонии, мрачного пессимизма и нигилизма, отвращения к миру и презрения к людям „Ночных бдений“? Замкнутый и уверенный в себе философ романтики прочно стоит на земле». Все это слова, слова, слова... Нет здесь ни знания Шеллинга, ни понимания текста Бонавентуры.

Уже из пересказа содержания «Ночных бдений» читатель мог заметить, что книга отнюдь не нигилистична, как это может показаться на первый взгляд. В ней можно обнаружить социальную критику, сатиру, пародию, мрачное раздражение — все, что угодно, только не нигилизм. Начиная с первой новеллы — об умирающем атеисте и злобном священнике — и вплоть до последней сцены на кладбище, где трижды повторено «Ничто» Относящееся только к попытке воскресить брэнную оболочку человека, его «роль», автор не ставит под сомнение существование вечного, нетленного в человеческом Я, незыблемых ценностей.

Вернемся к тому, как католический священник грозит атеисту муками ада, Умирающий улыбнулся и покачал головой. «Я понял в этот момент, что он весь не исчезнет, так как только конечное существо не может вынести мысли об уничтожении, в то время как бессмертный дух не дрожит перед ней... Дикое безумие охватило тут попа, которому его рассказ уже, показался слишком слабым, и он заговорил в первом лице от имени дьявола, что вполне соответствовало его личности. Он выражался со знанием дела, поистине дьявольски, не в слабой манере современного черта. Больному стало невмоготу. Он мрачно отвернулся и увидел три весенние розы, которые расцвели рядом с его постелью. Тогда вспыхнула в последний раз жаркая любовь в его сердце, и бледное его лицо озарилось румянцем. Ему протянули детей, и он, напрягшись, поцеловал их, затем положил отяжелевшую голову на пышную грудь женщины, издал легкий взглас, скорее страсти, чем боли, и уснул, любящий, в объятиях любви... Сцена была слишком прекрасна». Кто рискнет назвать это цинизмом и нигилизмом?

Только тот, кто не может помыслить дурного о католическом патере. У Шеллинга в Вюрцбурге как раз в период, непосредственно предшествующий появлению «Ночных бдений», отношения с католической церковью сложились самые неблагоприятные. А перед этим была нелегкая пора в Иене: еще более гнусная травля в печати, скандальный развод Каролины, обвинения, будто он уморил ее дочь. Настроение Каролины

вскоре после того, как они вступили в брак, было нерадостным: «После того как мы приняли наше решение, я спокойна, меня можно назвать почти счастливой, и я чувствую себя значительно лучше. Все позорные обвинения, которые за этим последуют, устные и печатные пасквилы и тому подобное меня не тронут. Я попросила только моих, чтобы они не приставали ко мне с соображениями, заимствованными из другого мира, а не из того, в котором я существую. Из того мира мне ничего не надо, и я знаю его слишком хорошо... Создается впечатление, что мерзавцы и бесчестные подонки берут верх. Начиная с Коцебу, который в Берлине почти министр, сложилась божественная система всемирных низостей».

Каролина важна для нас не только как зеркало настроений мужа. Ее духовный мир, ее устремления имеют самостоятельное значение для нашей темы: в «Ночных бдениях» заметно ее присутствие. Муза иенских романтиков, обладавшая сильным характером, тонко чувствовавшая, литературно одаренная, писавшая рецензии и шуточные стихи, она была своеобразным ферментом творчества и А. В. Шлегеля и Шеллинга. Ее участие доказано в статьях и того и другого. Не без влияния Каролины Шеллинг, ранее устремленный в натурфилософию, обращается к искусству. Порвав со Шлегелем, она возбудила ненависть его брата Фр. Шлегеля и Новалиса, платила им тем же. Шеллинг, принадлежа к Иенскому кружку, с самого начала находился в своеобразной оппозиции к главным его представителям. В «Ночных бдениях» заметна и близость к романтизму, и стремление преодолеть его, показать со смешной стороны, пародировать его, а на жизнь взглянуть трезвыми глазами.

Для Шеллинга как автора не характерна какая-то одна, раз навсегда найденная манера. Он всегда искал, экспериментировал. Он написал à la Спиноза свой труд, который считал основополагающим, — «Изложение моей философской системы», строго по пронумерованным параграфам. Но уже продолжение этой работы написано в иной, более свободной манере. А почти одновременно возникший трактат «Бруно» напоминает по стилю платоновские диалоги. Причем, испытав себя в какой-либо новой литературной форме, он никогда к ней не возвращался, искал новое. Не отрекаясь, впрочем, от содеянного.

У него была сатирическая жилка, и он однажды блеснул в пародийно-сатирическом жанре. Я имею в виду поэму «Эпикурейский символ веры Ганса Видерпоста». Поэма не увидела свет при жизни Шеллинга и не попала в Полное собрание сочинений. Но Шеллинг (во всяком случае, в Вюрцбурге) продолжал ценить ее. 28 сентября 1805 года Каролина подтверждает обещание переписать текст поэмы и выслать ее Виндишману.

В декабре того же года она пишет ему же: «Вот уже две недели, как рукопись приготовлена для Вас... Ни я, ни Шеллинг не забыли о ней, но Шеллинг хотел ее еще раз проглядеть, вот она и лежит как заколдованная... Шеллинг только что пришел и увидел меня занятой отправкой письма, взял стихи, которые я так чисто переписала, и начал править, и теперь все это выглядит совсем плохо, и будут отличные опечатки, если дело дойдет до публикации».

Поэма написана в народной манере Ганса Сакса, поэта XVII века (отмечали друзья Шеллинга, читавшие рукопись). Нам следует об этом вспомнить, потому что Ганс Сакс и Якоб Беме вдохновляют героя «Ночных бдений». Шеллинга, получившего пиетистское воспитание, Беме вдохновлял всегда.

Антицатия Кройцганга — Ифланд и Коцебу. Эти имена нам встречались: Шеллинг терпеть не мог обоих. Журнал Коцебу «Прямодушный» (следы прочтения которого заметны в «Ночных бдениях») непрестанно нападал на Шеллинга. Философ ответил двумя ядовитыми рецензиями на писания Коцебу.

Но все это мелочи. Важнее другое. Роман написан человеком большой философской культуры, прекрасно знающим Канта и Фихте, сторонником философии тождества, провозгласившей преодоление односторонностей идеализма и реализма. Идеалист и реалист — полоумные в психбольнице, (№ 2 и № 3), где коротал свои дни герой «Ночных бдений». Шеллинг гордился тем, что устранил две крайние позиции в философии.

В «Системе трансцендентального идеализма» есть сравнение всемирной истории с театральным спектаклем. «Раз история представляется нам таким сценическим действием, в котором каждый участник совершенно свободно и по своему усмотрению ведет свою роль, то разумность всего этого представления в целом мыслима лишь в том случае, если существует единый дух, творящий здесь через всех, и притом этот дух, по отношению к которому отдельные актеры представляются лишь разрозненными частями, должен уже заранее привести в гармонию объективный ход действия в целом с выступлениями каждого в отдельности, чтобы в конечном итоге могло получиться нечто действительно разумное. Но если бы сочинитель оказался отделенным от своей драмы, то мы превратились бы в актеров, лишь повторяющих то, что он сочинил. Но поскольку он зависит от нас, раз его откровение и обнаружение сводятся к сумме свободно разыгрывающихся актов нашей свободы так, что если бы не существовало последней, не было бы и его самого, то мы становимся соавторами целого и сами творим те особые

роли, которые каждый из нас выбирает себе».

Сравните этот пассаж со следующим диалогом в «Ночных бдениях». Кройцганг говорит актеру: «Забавно бы доглядеть в качестве зрителя последний акт трагикомического спектакля мировой истории, можно получить огромное удовольствие, когда в конце всего сущего ты сможешь в качестве последнего человека на все наплевать...»

«Я бы плюнул, — ответил человек печально, — если бы сочинитель не включил меня в пьесу в качестве действующего лица, это я ему никогда не прощу».

«Тем лучше! — воскликнул я. — Ты можешь в самой пьесе устроить бунт. Первый герой восстает против своего автора. Ведь и в малой комедии, которая копирует большую всемирную, бывает, что герой перерастает своего сочинителя так, что тот ничего с ним не может сделать».

Бонавентура знает естествознание, причем как раз те проблемы, которые волновали Шеллинга. Прежде всего это идея органической эволюции, выдвинутая Эразмом Дарвином. Рассуждения Петрушки о Дарвине мы упоминали. Есть в тексте любопытное примечание: «Один естествоиспытатель выдвинул гипотезу, согласно которой первые насекомые были всего лишь тычинками растений, отделившимися случайно». Не называя Эразма Дарвина и обходясь без кавычек, Бонавентура полностью воспроизводит его слова из поэмы «Храм природы». Может быть, в подобном способе цитирования лежит разгадка дословного совпадения другого примечания со статьей Клингемана, на что обратил внимание Шиллемайт? Почему бы теперь не считать деда Чарлза Дарвина автором «Ночных бдений»?

Откроем, однако, трактат Шеллинга «О мировой душе», желательно второе издание 1806 года. Здесь не только неоднократно упоминается имя Дарвина, но идет речь о «переходе от растений к животным». Над вторым изданием Шеллинг работал в период возникновения «Ночных бдений». И написал специально для него вступление «Об отношении идеального и реального в природе».

Теперь такой вопрос. Соответствует ли духу Шеллинга та «ночная романтика», «поэзия ужасов» и «чертовщина», которая присутствует на страницах «Ночных бдений»? Вспомним сцену преступления в церкви, расправы с согрешившей монахиней. У профессора Шеллинга можно найти и такое. Я упоминал уже о четырех стихотворениях, опубликованных им под псевдонимом Бонавентура. Все они удивительно разные. Здесь незатейливая «Песня», два стихотворения, написанные гекзаметром, «Животное и растение» и «Земной жребий», первое излагает некую

натурфилософскую концепцию, второе носит назидательный характер. А четвертое — романтическая баллада — «Последние слова пастора».

Сюжет баллады заимствован из новеллы Г. Стеффенса. Ночью к деревенскому пастору пришли два незнакомца в черном и под угрозой оружия заставили его следовать за собой в церковь. Там увидел он молодую пару, а рядом с ними — вскрытый пол и выкопанную могилу, а вокруг скопление странных людей со странной речью. Ему приказали исполнить обряд бракосочетания. Затем с завязанными глазами увели прочь. В храме раздался выстрел. Рано утром священник вернулся в церковь, нашел место, где вчера была вырыта могила, поднял плиты, поднял крышку гроба и увидел умерщвленную невесту. В новелле Стеффенса этой истории был придан «документальный» фон: о происшествии немедленно сообщили властям, прибыл чиновник и велел молчать: возможно, это было как-то связано с событиями за рубежом. Шеллинг убрал политику и сгустил «романтические» тона: его священник всю жизнь хранил ужасную тайну и только перед своей кончиной решил поведать об ужасном преступлении, совершенном в его церкви.

«Поэзия ужасов» не была чужда Шеллингу. Что касается «чертовщины», бесконечных упоминаний о дьяволе на страницах «ночных бдений», то они станут понятнее, если вспомнить снова о жене Шеллинга Каролине. Ее называли «мадам Люцифер», «дьяволом» и т. д. Супруги были в курсе дела и не могли не откликнуться на это прозвище.

«Записная книжка дьявола» — так должно было называться второе прозаическое произведение Бонавентуры. В марте 1805 года в «Газете для эlegantного света» (где в свое время был напечатан анонс «Ночных бдений») появился отрывок из новой книги с обещанием того, что сама книга выйдет к пасхе. Книга не вышла. Потому ли, что прогорело издательство «Динеман», или потому, что супруги Шеллинг покинули Вюрцбург, или потому, что Шеллинг не любил возвращаться к уже однажды опробованному жанру? Сказать трудно.

Отметим лишь одну забавную деталь. В свое время Р. Гайма покорило то обстоятельство, что в эпизоде супружеской неверности жена судьи носит имя Каролины: едва ли мог написать такое о своей жене «аристократ Шеллинг». А мне как раз это место, особенно игра слов с сентенцией по поводу «пожизненной пытки» Каролиной, кажется вполне в духе супругов Шеллинг, только что соединившихся в своей любви. Оба были молоды и остроумны. Каролина могла оценить остроту мужа, а может быть, она ее сама придумала. (Ведь придумала же она шуточное соглашение о сотрудничестве со своим мужем следующего содержания!

«Нижеподписавшаяся обещает за 100 фл. (сто гульденов) переписать не только все то, что она уже переписала на сегодняшний день, но переписать еще и все то, что ей придется переписать до 31 мая 1807 г. из тех рукописей, что ее супруг отдаст в печать или сохранит для себя». А Шеллинг, внося поправки в текст, «ратифицировал» соглашение, пародируя стиль Фридриха II: «Ратифицировано моей суверенной властью над моей женой. Фредерик».

Есть в «Ночных бдениях» еще одна игра слов, заставляющая вспомнить о Каролине. В конце романа появляется мать героя, цыганка. В оригинале стоит *Böhmerweib*, что можно также прочесть «жена Бэмера», каковой Каролина являлась по первому мужу. Шеллинга Каролина неоднократно уверяла, что любит его по-матерински.

Каролина Шеллинг писала рецензии умные и остроумные. Некоторые из них подписаны инициалами Bss, что можно расшифровать как «Банер, Шлегель, Шеллинг». Одна — инициалами Mz («Мадам Люцифер?»). На нее нам следует обратить внимание. Это помещенный 6 мая 1805 года в «Новой венской литературной газете» разбор сборника берлинских романтиков «Альманах муз на 1805 год». Упоминая об аналогичном издании, вышедшем три года назад, Каролина приводит псевдонимы его авторов — Новалис, Бонавентура, Инхуманус. Если бы недавно вышедшие «Ночные бдения» — произведение более значительное, чем четыре стихотворения, опубликованные под этим псевдонимом, — и только что анонсированная «Записная книжка дьявола» принадлежали другому автору, а не ее мужу, Каролина не могла бы обойти молчанием такое обстоятельство.

В предыдущей главе я цитировал письмо Паулюса о Шеллинге: «Говорят, что он пишет роман». Э. Клессман, впервые опубликовавший его (в своей книге «Каролина», вышедшей в Мюнхене два года спустя после работы И. Шиллемайта), снабдил его недоуменным примечанием: «Что подразумевается под „романом Шеллинга, неясно“. Смею надеяться, что написанные выше строки вносят некоторую ясность в проблему, возвращают Шеллингу принадлежащую ему книгу.

*

Главный вклад Шеллинга в художественную культуру — философия искусства. Он читал этот курс в Иене и Вюрцбурге. Текст лекций был напечатан посмертно, в Полном собрании сочинений, которое издавая его

сын. Наряду с „Системой трансцендентального идеализма“ „Философия искусства“ принадлежит к тем трудам философа, которые имеются в русском переводе.

Отношение большинства людей к искусству, говорит Шеллинг, напоминает отношение к прозе мольеровского Журдена, который удивляется, как это он всю свою жизнь говорил прозой, сам того не подозревая. Очень немногие задумываются над тем, что уже язык, посредством которого они изъясняются, есть совершеннейшее произведение искусства. Присутствуя на театральных представлениях, читая стихи, слушая музыку, люди не пытаются определить причины гармонии, не задумываются над тем, каким образом художник овладевает их чувствами. Сам художник зачастую не может объяснить этого. Философ видит сущность искусства глубже, чем художник.

Правда, в немецкой эстетике, считает Шеллинг, нельзя пока назвать ничего путного. До Канта здесь господствовал эмпиризм, и чудеса искусства сводили на нет „просвещенными“ объяснениями, подобно тому как поступали с рассказами о привидениях и иными суевериями. После Канта отдельные выдающиеся умы высказали несколько удачных замечаний о природе искусства, но еще никто не установил в строгой общезначимой форме абсолютных принципов этой науки.

„Система философии искусства, которую я предполагаю читать, будет существенно отличаться от предшествующих систем как по форме, так и по содержанию. Тот самый метод, благодаря которому, если не ошибаюсь, мне до известной степени удалось в натурфилософии распутать хитросплетенную ткань природы и расчленить хаос ее проявлений, проведет нас по еще более запутанному лабиринту мира искусства и даст возможность пролить новый свет на его предметы“.

Как относится философия искусства Шеллинга к эстетике романтизма? Над этим невольно задумываешься, начиная читать „Философию искусства“. Если отвлечься от особенностей, связанных с личностью того или иного романтика, то в целом романтизм в эстетике можно свести к трем культам — культу искусства, культу природы, культу творческой индивидуальности.

Искусство для романтиков — высшая форма духовной деятельности, превосходящая и рассудок и разум. Поэзия — героиня философии, философия — теория поэзии, говорил Новалис. Он был убежден, что в будущем люди будут читать только художественную литературу. Поэт постигает природу лучше, чем ученый.

Ибо поэзия непосредственно вытекает из природы. Природа

неисчерпаема, она богаче и сложнее, чем знает в ней наука. Поэтому поэт-романтик, говоря о природе, имеет в виду нечто большее, чем понимает под природой обычный человек, он поклоняется в природе чему-то таинственному, неизведанному, по сути дела, сверхприродному.

Такой природно-сверхъестественной силой представлялся романтиками творческий дар художника. Художник — бессознательное орудие высшей силы. Он принадлежит своему произведению, а не оно ему.

Шеллинг принимает все эти три позиции. Но с существенными оговорками и поправками. Да, искусство — высшая духовная потенция, но это не значит, что в голове философа должен царить художественный беспорядок. Философия — наука и ненаука одновременно. Как ненаука она апеллирует к созерцанию и воображению, как наука она требует системы. Метод конструирования, построения системы, который оправдал себя в натурфилософии, Шеллинг пытается применить и к философии искусства. Определить понятие — значит указать его место в системе мироздания. „Конструировать искусство — значит определить его место в универсуме. Определение этого места есть единственная дефиниция искусства“. Здесь Шеллинг не романтик, а непосредственный предшественник врага и критика романтизма Гегеля. Мы как бы прочли параграф из „Науки логики“. А между тем это цитата из „Философии искусства“. И гегелевские термины „отрицание“, „снятие“ как принципы конструирования системы мы тоже здесь обнаружим. Шеллинг сопоставляет логический взгляд на искусство с историческим, говорит о противоположности античного и современного ему искусства. „Было бы существенным недостатком в конструировании, если бы мы не обратили внимания на это и в отношении каждой отдельной формы искусства. Но ввиду того, что эта противоположность рассматривается лишь как исключительно формальная, то конструирование сводится именно к отрицанию или снятию. Исходя из этой противоположности, мы вместе с тем будем непосредственно учитывать *историческую* сторону искусства и сможем надеяться только этим придать нашему конструированию в целом окончательную завершенность“.

„Философия искусства“ — первая попытка построить систему эстетических понятий с учетом исторического развития искусства. Шеллинг не завершил ее, но слово было сказано и услышано. Повторяю: это шаг от романтиков к Гегелю.

(При том, что Шеллинг не только предвосхищает эстетическую теорию Гегеля, но в чем-то существенном и поднимается над ней. Прекрасное для Гегеля — обнаружение духа, для Шеллинга — совпадение

духовного и материального. „Красота дана всюду, где соприкасаются свет и материя, идеальное и реальное“, — сказано в „Философии искусства“. В нашей эстетической литературе и по сей день не смолкает спор о том, присуща ли красота самой природе или сотворена обществом. Думается, что идеи Шеллинга в этой области могли бы дать ключ к решению проблемы.)

Что касается романтического культа природы, Шеллинг вполне разделял его. Мы знаем пристрастие Шеллинга к органическому, к живому. Да, в идеальном мире искусство занимает такое же место, какое в реальном мире — организм. Органическое произведение природы представляет собой первозданную, нерасчлененную гармонию, произведение искусства — гармонию, воссозданную художником после ее расчленения. Художник восстанавливает мир как художественное произведение. Воображение ничего заново не создает, а лишь воссоединяет нечто с первообразом. Следовательно, формы искусства — формы вещей, каковы они сами по себе, как они даны в божественном первообразе. Если перед этим мы увидели в Шеллинге предвосхищение дальнейшего движения философской мысли, то в данном случае перед нами явная ретроспектива — реминисценция платонизма. А в чем различие с романтиками? В акцентировании моральной стороны дела. Романтики опасались морализаторства, Шеллинг — нет. Красота, настаивает он, сливается не только с истиной, но и с добром; Мы можем восхищаться мастерством художника, умело схватывающим природу, но, если в его произведении нет божественного добра, его произведение не обладает божественной красотой. И только гармонически настроенная душа (где гармония включает истинную нравственность) по-настоящему способна к восприятию искусства.

Нравственность надприродна, это божественная искра, зажженная непосредственно в человеке, в его сознании. Шеллинг полон пристрастия к природе, но не может забыть уроков Канта. И перечеркнуть сознательный момент в творчестве художника он тоже не может. Творчество — единство бессознательного и сознательного. В этом пункте Шеллинг отличается также от романтиков.

Таким образом, даже после того как уладился личный конфликт из-за Каролины; после того как он повернулся лицом к религии, Шеллинг все же стоял особняком внутри романтического движения, видел его слабые стороны, пытался преодолеть их. «Философия искусства» (как и «Ночные бдения») — самокритика романтизма!

Духу романтизма соответствует интерес к мифологии, который

никогда не покидал Шеллинга. Мифология — необходимое условие и первичный материал для искусства. Это та почва, на которой; вырастает художественное произведение. В мифе содержится первое созерцание универсума, которое еще не потеряло характер реального бытия. Минерва — нет образ и не понятие мудрости, она есть сана мудрость.

Древнегреческую мифологию Шеллинг называет реалистической и противопоставляет ее христианской, идеалистической мифологии. Греки погружены в природу, идеальный мир отступает у них на задний план. Для христианства природа оказывается закрытой книгой, тайной; христианский миф живет в морали, в истории, И сам миф здесь приобретает исторический характер, постоянно трансформируясь. На смену католицизму пришло протестантство. Хвала героям, которые упрочили свободу мысли и творчества, по крайней мере, для некоторых стран! Но Реформация принесла с собой и беду: на смену духовным авторитетам пришли новые, буквальные, прозаические, корыстные. Обычный здравый рассудок стал судить дела духовные, выхолостил их. Вольнодумство не может похвалиться поэзией. Немецкое просветительское богословие Шеллинг называет «прозой новейшего времени в приложении к религии», беда рационализма в том, что он убивает миф. Истребить миф, впрочем, невозможно. Шеллинг предрекает возникновение «новой мифологии», которая объединит природу и историю, он убежден, что его «умозрительная физика» дает необходимую для этого символику.

Без мифа невозможна поэзия. Творческая индивидуальность создает всегда собственные мифы. Великие художники — великие мифотворцы. Дон-Кихот, Макбет, Фауст — «вечные мифы».

Во времена Шеллинга не существовало устоявшейся эстетической терминологии (строго говоря, она и сегодня произвольна). Не приходится удивляться тому, что понятие мифа Шеллинг трактует предельно широко, зачастую подразумевая под мифом художественный образ. Термином «образ» он не пользуется, образ для Шеллинга — слепок с предмета, мертвая копия, «для полного тождества с предметом ему недостает лишь той определенной части пространства, где находится последний».

Центральное понятие искусства, по Шеллингу, — символ. Символ отличает он от схемы и аллегии. В схеме особенное созерцается через общее. У ремесленника есть схема изделия, в соответствии с которой он работает. Противоположность схемы: — аллегория: здесь общее созерцается через особенное (единичное). Поэзия Данте аллегорична в высоком смысле слова, поэзия Вольтера — в грубом. Совпадение общего и особенного есть символ.

Мы подошли теперь к узловой проблеме искусства, в которой Шеллинг сказал свое веское слово, — специфике художественного обобщения. Но чтобы оценить значение этого слова, нам придется вспомнить то, что говорили по этому поводу другие великие умы.

Начнем с Аристотеля. В его главном труде «Метафизика» написано: «Искусство есть знание общего, между тем всякое действие и изготовление относится к индивидуальному: ведь врачующий излечивает не человека, а Каллия или Сократа, или кого-либо другого из тех, кто носит это имя». На это место обычно ссылаются комментаторы, настаивающие на том, что для Аристотеля искусство есть совмещение общего и единичного. Отсюда делается вывод: чем индивидуальное, многообразнее единичное, тем лучше. Индивидуализация — мера художественности.

В этом будет убежден Гегель. В «Лекциях по эстетике» (глава «Характер») утверждается: «Всеобщее... должно смыкаться в отдельных лицах в целостность и единичность... У Гомера, например, каждый герой представляет собою совершенно живой охват свойств и черт характера... Об Ахилле можно сказать: это человек! Многосторонность благородной человеческой натуры развертывает все свое богатство в этом одном человеке. И точно так же обстоит дело с остальными гомеровскими, характерами. Одиссей, Диомед, Аякс, Агамемнон, Гектор, Андромаха, каждое из этих лиц является целым самостоятельным миром, каждое из них является полным, живым человеком, а не только аллегорической абстракцией какой-нибудь одной черты характера. Какими бедными, бледными, хотя и Сильными, индивидуальностями являются по сравнению с ними Зигфрид в рогатом шлеме, Хаген из Труа и даже Фолькер-музыкант». Означает ли это, что «Нибелунги» как эпос хуже, чем «Илиада»? Вопрос спорный.

Пушкин сравнивал двух скупых: у Мольера Скупой скуп, и только, а у Шекспира Шейлок к тому же сметлив, мстителен, чадолобив, остроумен. Значит ли это, что Мольер как комедиограф хуже Шекспира? Тоже спорно.

Потому что существуют два способа, две возможности художественного обобщения. Первый, кто заговорил об этом, был Лессинг. Откроем «Гамбургскую драматургию». Это замечательная книга: в ней Лессинг Пишет о двух смыслах термина «всеобщий характер». «В первом значении всеобщим характером называется такой, в котором собраны воедино те черты, которые можно заметить у многих или всех индивидов. Короче, это перегруженный характер, скорее персонифицированная идея характера, чем характерная личность. А в другом значении всеобщим характером называется такой, в котором взята определенная середина,

равная пропорция всего того, что замечено у многих или у всех индивидов. Короче, это обыкновенный характер, обыкновенный не в смысле самого характера, а потому, что такова степень, мера его».

Пишущие о «Гамбургской драматургии» почему-то не обращают внимания на это место. А здесь как раз квинтэссенция трактата, по словам автора, «фермент мышления». Лессинг считает, что Аристотелю соответствует только «всеобщность во втором значении». Что касается всеобщности первого вида, создающей «перегруженные характеры» и «персонифицированные идеи», то она «гораздо необычайнее, чем это допускает всеобщность Аристотеля».

Проблема двух возможностей художественного обобщения — одна из главных в немецкой классической эстетике. Целиком ей посвящена знаменитая статья Шиллера «О наивной и сентименталической поэзии».

Шиллер исходит из мысли Канта о том, что для эстетического наслаждения необходимо определенное несовпадение между художественным изображением и изображаемым предметом. (Если подобное совпадение произойдет, то исчезнет эстетическая эмоция, возникшие переживания будут носить либо моральный, либо интеллектуальный характер.) И тем не менее художник может стремиться к наиболее полной передаче действительности. Поэзию такого рода Шиллер называет «наивной». Поэзия другого рода — «сентименталическая» — дает изображение идеала. «Наивный» поэт воспроизводит предмет, «сентименталический» предаётся рассуждениям о впечатлении, которое производит на него этот предмет. С обоими согласуется высокая степень человеческой правды.

Речь идет не о противопоставлении античного и нового искусства, не о различии по жанрам, речь идет только о том, воплощаются ли мировоззренческие идеи в художественном произведении опосредованно или непосредственно. В одном и том же произведении могут быть представлены оба типа поэзии. Оба они имеют равное право на существование, ни один из них не является высшим по отношению к другому.

Статью Шиллера «О наивной и сентименталической поэзии» (1795), содержащую дихотомию поэзии, можно в известном смысле рассматривать в качестве ответа на статью Гёте «Простое подражание природе. Манера. Стиль» (1789), где предлагалась трихотомия, тройное разделение методов искусства. «Простое подражание» — это рабское копирование природы. «Манера» — субъективный художественный язык, «в котором дух говорящего запечатлевает и выражает себя непосредственно». «Стиль

покоится на глубочайших твердых познаниях, на самом существе вещей, поскольку нам дано его распознавать в зримых и осязаемых образах». Гёте нахваливает все три метода искусства, только полагает, что «стиль» является высшим, наиболее совершенным. Гётевская трихотомия служит цели обосновать преимущество одного, единственного метода.

Именно Шеллинг в «Философии искусства», впервые сопоставив диадку Шиллера с триадой Гёте, показал, что речь у великих поэтов и теоретиков идет об одном и том же. «Наивная» поэзия соответствует «стилю», «сентименталическая» — «манере». О «простом подражании» говорить не приходится, ибо оно находится за пределами искусства, в этом Шеллинг согласен с Шиллером. Но он решительно высказывается против шиллеровской идеи о равноправии двух методов.

«Поэтическое и гениальное всегда и необходимым образом наивно; таким образом, сентиментальное противоположно наивному лишь по своему несовершенству... Искусство может обнаружиться только в индивидууме. С этой точки зрения, стиль всегда и необходимо составляет истинную форму, т. е. опять-таки абсолютен, манера же только относительна... Манерой следовало бы назвать неабсолютный, неудавшийся, невыработавшийся стиль». И в другом месте:

«Характер наивного гения есть совершенное, не столько *подражание*, как утверждает Шиллер, сколько *достижение действительности*».

В последнем высказывании — суть расхождений между Шеллингом и Шиллером. Для Шеллинга идеальное тождественно с реальным, искусство. — своего рода продолжение природы, «достижение действительности», он ценит мифологию за то, что сознание совпадает в ней с бытием. Для него нетерпим любой дуализм в искусстве. У Шиллера же подобный дуализм с необходимостью вытекает из его общефилософской (кантианской) концепции, разделяющей бытие и сознание. Духовный мир для Шиллера создается в противоположность природе и может быть сам по себе объектом искусства.

Кто из них прав? Спор продолжается и по сей день — в иных терминах, но все о том же. Только ли в индивидууме, как считал Шеллинг, «может обнаружиться искусство»? Шиллер не боялся превращать индивидуумы в рупоры идей, в наши дни это широко распространенный прием. Искусство говорит не только об индивидуальном, живом, неповторимом, но оперирует абстракциями, играет понятиями, имеет право

на условность. Практика искусства оправдала толерантный, широкий, подход Шиллера. Да и сам Шеллинг в своих художественных опытах скорее выступает как «сентименталический» автор, нежели «наивный». Его «Эпикурейский символ веры» — картина не жизни, а определенного отношения к жизни. То же самое можно сказать и о «Ночных бдениях».

Пойдем, однако, дальше. Шеллинг строит систему искусств, аналогичную своей общефилософской системе. Последняя, как мы помним, состоит из двух параллельных рядов — реального и идеального. Реальный ряд в искусстве — музыка, живопись, пластика; идеальный ряд — литературные жанры. О музыке Шеллинг говорит общие вещи; он знает ее поверхностно, чисто умозрительно. Суждения его об изобразительном искусстве выдают, напротив, знание и понимание предмета. В свое время в Дрездене он видел великие образцы, братья Шлегель помогли ему воспитать вкус. Из живописцев он выше всех ставит Рафаэля. По мастерству рисунка, полагает он, верное место принадлежит Микеланджело, но искусству светотени — Корреджо, по колориту — Тициану.

Музыка, по мнению Шеллинга, безобразна. Образ берет начало только в живописи. Причем внешнее здесь совпадает с внутренним, истина в живописи есть видимость. А потому художник, желающий добиться истины в подлинном смысле слова, должен искать ее глубже, чем дает вам повседневность. Не следует стремиться к полному правдоподобию. Изображая фигуру человека (а это главный, едва ли не единственный достойный предмет изобразительного искусства), художнику надо проникнуть в глубочайшую взаимосвязь, игру и вибрацию мускулов и вообще показать ее не такой, какой она является нам от случая к случаю, а такой, какой замыслила ее природа, этот самый великий мастер.

Пластика в широком значении слова имеет свою музыку, живопись в собственно пластику. Музыка пластики — архитектура. Шеллинг называет архитектуру также «застывшей музыкой», «музыкой в пространстве», «музыкой, воспринимаемой глазом». Гегель приписал определение архитектуры как застывшей музыки Ф. Шлегелю, а Шопенгауэр — Гёте. Скорее всего эта мысль родилась в совместных разговорах в Иенском кружке. У Шеллинга она органично вплелась в систему его рассуждений об искусстве. В архитектуре Шеллинг отыскивает и ритм, и гармонию, и мелодию. Три античных архитектурных ордера тому примеры. Дорический ордер по преимуществу ритмический. Ионический ордер — гармонический. Мелодическая сторона архитектуры заметна в коринфском Ордере.

Шеллинг воспроизводит рассказ Витрувия о том, как был изобретен коринфский ордер. Скончалась молодая девушка, невеста, и на могилу поставили ее любимую вазу, положив под сосуд черепицу. Побег аканфа проросли под черепицей и обвили вазу листьями. Архитектор Калламах, увидев эту форму, воспроизвел ее на колоннах, которые изготовил для коринфян. Совершенная форма искусства создана была природой.

Аналогии с растительными формами находит Шеллинг и в готических храмах. Гёте воспел в прозе Страсбургский собор. Шеллинг дает свои вариации на эту тему. Собор предстает перед ним «в виде огромного дерева, которое из сравнительно узкого ствола распускает громадной величины крону, распространяющую своя сучья и ветви во все стороны ввысь. Множество более мелких зданий, прилаженных к главному стволу, каковы боковые башенки и т. д., благодаря которым здание простирается во все Стороны в ширину, представляет собой лишь воспроизведение этих сучьев и ветвей дерева, разросшегося в целый город; еще более непосредственно связана с этим первообразом повсюду прилаженная и нагроможденная листва. Боковые пристройки, которые примыкают к настоящим готическим зданиям ближе у земли, вроде боковых капелл в церквах, соответствуют корню, который это большое дерево распускает внизу кругом себя. Все особенности готической архитектуры характеризуют эту связь, например, так называемые крытые галереи в монастырях изображают ряд деревьев, ветви которых наверху наклонены и переплелись друг с другом, образуя таким образом свод». Шеллинг настойчиво проводит свою идею: гений человека продолжает дело природы.

Живопись пластики — барельеф. Пластика в собственном смысле слова — круглая скульптура. Здесь пластика выражает свои идеи преимущественно посредством человеческой фигуры. Человек же — живое подобие универсума. Отдельные части человеческого тела, утверждает Шеллинг, символизируют структуру мирового целого. Символику эту он заимствует из древних восточных мифологий. Вертикальное положение означает освобождение от земли, устремленность ввысь, к звездам. Симметричное построение выражает уничтожение полярности востока и запада. Голова — это небо и солнце. Грудь означает переход от неба к земле. Сердце есть вместилище страсти и вождения, очаг жизненного пламени, а живот и чресла символизируют действующую в недрах земли воспроизводящую силу. Кроме того, человеку даны вспомогательные органы — руки и ноги. Ноги выражают полное освобождение от земли; соединяя близкое с далеким, они характеризуют человека как зримый образ

божества. Руки — художественный инстинкт универсума и всемогущество природы, которая все преобразует и оформляет. Человек — микрокосм, а космос представляет собой макроантропос.

Итак, резюмирует Шеллинг, в скульптуре мы вернулись к исходной точке — к универсуму, к вечной природе. Реальный ряд искусств исчерпан, круг замкнулся. Для того чтобы двигаться дальше, нам надо покинуть сферу реального и перейти в идеальную сферу искусства, обратиться к поэзии.

Поэзия — более высокая духовная потенция, чем изобразительное искусство, она созидает идеи, в то время как искусство лишь выражает их. Искусство — это бытие, поэзия — продуцирование. Искусство — умершее слово, поэзия оживляет язык.

Как и почему становится возможной поэзия? Поэт организует речь в завершенное целое. Поэзия отличается от прозы не только ритмом, но и языком, с одной стороны, более простым, с другой — более красивым. Язык в руках поэта становится высшим орудием, ему дозволены сжатые обороты, непривычные слова, своеобразные флексии, однако все в пределах истинного воодушевления. Что касается метафор, то они свойственны скорее риторике, которая имеет целью выражать свои мысли образно, чтобы возбуждать страсть и вводить в заблуждение. Поэзия не имеет иной цели, кроме самой себя.

Лирическая поэзия — самый субъективный вид поэзии, в ней преобладает свобода. Эпос — сама необходимость. Эпос в поэзии соответствует картине в ряду изобразительных искусств.

Говоря о современной эпической форме, Шеллинг указывает на роман как на высшее ее воплощение. «Роман должен быть зеркалом мира, по меньшей мере зеркалом своего века и, таким образом, частной мифологией. Он должен склонять к ясному спокойному созерцанию к вызывать ко всему участие; любая часть романа, каждое слово должно быть золотым, должно быть включено в сокровенный метр высшего порядка, коль скоро внешний ритм отсутствует. Поэтому роман может быть плодом Лишь вполне зрелого духа, как и древняя традиция неизменно рисует Гомера старцем. Роман есть как бы окончательное прояснение духа».

Только «Дон-Кихот» и «Вильгельм Мейстер» могут быть названы в качестве образцов романа. «Роман Сервантеса зиждется на весьма несовершенном и даже сумасшедшем герое, который, однако, настолько благороден и, если только не затрагивается одна определенная точка, проявляет столько мудрой рассудительности, что ни одно оскорбление, которому он подвергается, не может его по-настоящему унижить», образ

Санчо Панса «непрерывный праздник для ума».

Роман — это уже не эпос в чистом виде, это «соединение эпоса и драмы». Поэтому он так важен в современном искусстве. Шеллинг вслед за романтиками ценил смешение жанров.

Преимущество драмы над эпосом состоит в том, что она синтезирует свободу и необходимость, в ней побеждает необходимость без того, чтобы свобода оказалась в подчинении, и, наоборот, торжествует свобода без того, чтобы необходимость подчинила себя. Ведь и в жизни личность, которая подчиняется необходимости, может вновь стать выше нее, так что свобода и необходимость, побежденные и одновременно побеждая, проявляются в своей высшей неразличимости.

Драму Шеллинг истолковывает прежде всего как трагедию. Суть трагического он видит в несчастье, predetermined необходимостью и вместе с тем свободно выбранном. Добровольно нести наказание за нечто неизбежное, чтобы утратой своей свободы доказать именно эту свободу, — вот что отличает трагического героя. У древних рок преследует человека. У величайшего трагика нового времени Шекспира человека губит характер. Шекспир вкладывает в характер такую роковую силу, что она существует как непреодолимая необходимость. Шекспир — величайший изобретатель характеристик! «Он не в состоянии изобразить ту высокую, способную устоять перед судьбой, как бы очищенную и просветленную красоту, которая сливается воедино с нравственным добром, — и даже ту красоту, которую он изображает, он не в силах представить так, чтобы она была явлена в целом и чтобы целое каждого произведения несло ее черты. Он знает высшую красоту лишь как индивидуальный характер».

В этих словах Шеллинга можно обнаружить некоторое противоречие с тем, что он утверждал выше. «Наивное» в искусстве, изображение индивидуального он провозгласил высшим художественным достижением, а теперь в Шекспире ему не хватает «идеального мира», то есть шиллеровской «сентиментальности». Шекспир, по мнению Шеллинга, остается в сфере рассудка. И не только потому, что он творил не в счастливом исступлении, сам себя не понимая, как бессознательный гений в духе «Бури и натиска». Рассудочность Шекспира проявляется и в том, что он воссоздает лишь реальные отношения. Идеальный нравственный мир открывается одному только разуму. В качестве примера идеального трагика Шеллинг приводит, правда, не Шиллера, творчество которого он хорошо знал, но совсем не жаловал и имя которого в разделе о драме упомянул только раз — в качестве отрицательного примера якобы неумелого использования хора; не Шиллера призывает Шеллинг в свидетели того, что

в трагедии может и должна быть нравственная перспектива, а Кальдерона, о котором судит на основании одной лишь пьесы «Поклонение кресту», известной ему в переводе А. В. Шлегеля. У Кальдерона Шеллинг находит высшие чувства, выраженные в христианской символике, которая выступает как «неопровержимая мифология».

Если перевернуть трагедию, перенести необходимость из объекта в субъект, возникнет комедия. Когда трус вынуждается к тому, чтобы быть храбрым, когда скупому приходится расточать свои богатства, когда жена играет роль мужа и наоборот — это смешно. Античная, аристофановская комедия — высший тип жанра. Впрочем, в современном искусстве Шеллинг находит комедию высокого стиля — «величайшее поэтическое произведение ненецкого народа» «Фауст» Гёте. (Это комедия в том смысле, в котором Данте назвал свою «поэму из поэм». «Божественной комедией», которую Шеллинг, как мы помним, ценил необычайно высоко.) Фауст, влекомый страстями, удовлетворяет их, задыхаясь при этом, растрачивая впустую свои потенции. Осуществляется то, что предсказал Мефистофель:

Я жизнь ему изведать дам в избытке,
И в грязь втопчу, и тиною оплету.
Он у меня пройдет всю жуть, все пытки,
Всю грязь ничтожества, всю пустоту!^[7]

В этих словах Мефистофеля, которые приводит Шеллинг, по его мнению, смысл поэмы. Вторая часть «Фауста», полная трагического пафоса, где герой обретает свободу и действует как нравственная личность, в то время еще не была написана.

«Философия искусства» осталась гениальным фрагментом. Шеллинг не завершил ее, не подготовил к печати. После Вюрцбурга он никогда не читал этот курс. Хотя сама жизнь его, как она сложилась после отъезда из Вюрцбурга, казалось, должна была побуждать к другому — к интенсивной разработке проблем эстетики.

*

Короткая война, вспыхнувшая осенью 1805 года и закончившаяся победой Наполеона под Аустерлицем, заново перекроила государственную карту Европы. Она имела существенное значение и для жизни Шеллинга.

Бавария, союзница Франции, стала королевством. Получив значительные территориальные приращения, Бавария, однако, потеряла Вюрцбург, который отошел к австрийскому дому.

Философ с опаской следил за происходящим: он предвидел теперь католическую реакцию в Вюрцбургском университете. (И не без оснований: через некоторое время все профессора-протестанты были уволены.) В том же письме к Виндишману, где он прощался с натурфилософией, Шеллинг сообщал: «Здесь я останусь недолго. Нет сомнения в том, что мы, приглашенные, не будем оставлены новому правительству, однако официально пока ничего не объявлено».

Планы его неопределенны. Добиваться перевода в баварский университет в Ландсгуте нет смысла: там те же католики, только либеральные. Здесь его обвинят в свободомыслии, там — в ретроградстве. Протестантский север его не зовет. Лучший вариант — добиться назначения в Мюнхенскую академию наук, где предполагается преобразование и расширение штата. В президенты, правда, прочат философа Якоби, с которым у Шеллинга прохладные отношения: «Критический журнал», издававшийся им в Иене, нападал на Якоби. Но надо все же попробовать.

Новому правительству Шеллинг не стал присягать. Нового курса на летний семестр не объявил. 24 марта прочел последнюю лекцию. Студенты знали, что профессор покидает университет, и устроили ему прощальную овацию, вечером под его окнами играла музыка. (Когда Шеллинг Покинул Иену, за ним в Вюрцбург перебрались 60 студентов, когда он оставил профессуру в Вюрцбурге, из университета ушло 150 человек.)

В апреле Шеллинг отправился в Мюнхен за назначением. Каролина пока в Вюрцбурге.

...Она пишет ему вслед нежные письма, полные любви И заботы. Уточняет мелочи, чтобы они его не тревожили: с ним только одиннадцать крахмальных рубашек, одна осталась дома, «пусть Ваша Точность не опасается того, что она потеряна». Зная сплетни о профессоре Келере, который к ней равнодушен, вносит ясность и здесь: он приходит часто по вечерам, но, соблюдая приличие, остается только до половины десятого. И пусть Шеллинг не беспокоится о деньгах: после продажи мебели у нее будет достаточно средств для переезда в Мюнхен. Сообщает новости не только мелкие, городские, но и весьма важные для мужа: вышла новая книга Фихте «О сущности ученого», судя по опубликованной рецензии, книга содержит нападки на натурфилософию. Каролина выписывает соответствующую цитату. Дает советы, как ему вести себя в Мюнхене.

«Постарайся стать там своим. Чем свободнее будет мой Шеллинг в обращении, тем скорее он, подобно солнцу, подчинит себе добро и зло».

Он сообщает ей, что все в порядке: встреча с Якоби прошла без осложнений. Он опасался встретить замкнутого, недоступного гордеца, а перед ним милый, общительный человек. Злоупотребляет, правда, в разговоре цитатами, но это можно стерпеть. Шеллинг понимает, что от того, какое впечатление произведет он на будущего президента академии, зависит его судьба. И он старается изо всех сил. Очаровал прежде всего домашних Якоби, двух его сводных сестер — «маму Лену» и «тетю Лору». Держится предельно скромно, о философии помалкивает, разве что (зная, что это встретит понимание Якоби) поносит Фихте. «Старые девы сидят при этом, как две старые кошки, которых так часто держат при себе ученые». Это он пишет Каролине. (Единственное сохранившееся его к ней письмо заканчивается так же нежно, как и ее письма: «Приди к своему другу, который тоскует без тебя, подруга, несравненная, возлюбленная, вечная».) Якоби наговорил Шеллингу кучу любезностей о Каролине, но в одном из писем Якоби мы читаем: «Жена, которую он себе взял, стоит ему поперек дороги».

Дело, конечно, не в Каролине. У Шеллинга в Мюнхене хватает собственных врагов, которые плетут интриги. Он обивает сановные пороги, с ним любезно разговаривают, но результаты на первых порах малоутешительные. Правительство назначило ему оклад, но не определило должность. Денег значительно меньше, чем в Вюрцбургге: отпала частная плата студентов за лекции. И он теперь рте профессор, а просто доктор. Одно время кажется, что йз академического назначения ничего не получится. В мае, распродав лишние вещи, прибыла в Мюнхен Каролина, а должности все нет. В конце июля выходит наконец королевский рескрипт, закрепивший за ним место в Баварской академии наук. Окончательно вопрос решен был только в сентябре.

В тех условиях быть членом академии означало примерно то же, что в наших — сотрудином. Чести и денег немного, а времени сколько угодно. Пиши в свое удовольствие!

Шеллинг все же не рад. Ему не хватает главного: студенческой аудитории, в которую он привык входить, встречая влюбленные глаза слушателей, воодушевляясь их воодушевлением, ожиданием и вниманием, поднимаясь на кафедру, как вступает на командный пункт перед боем уверенный в победе генерал. Он знал, что произносимое им слово действует сильнее, чем написанное. А его, лучшего лектора Германии, заставили замолчать. Умолкли, правда, и его гонители; как только он

перестал читать лекции, прекратились нападки в печати. Шеллинг ценит душевный покой, но любит бурю. И его не покидает чувство: Мюнхен — временное пристанище, вынужденная интермедия к чему-то другому, значительному. Если бы ему тогда кто-нибудь сказал, что здесь он проживет без малого тридцать лет, здесь достигнет высших ступеней признания и славы, вряд ли бы он поверил.

Шеллинг ценит покой. Но ищет бури. И он снова устремляется в полемику. Тем более что Фихте задел его первым. После книги «О сущности ученого» выходят еще две подряд: «Черты современной эпохи» и «Наставление к блаженной жизни», приковавшие внимание Шеллинга. Фихте явно подправил свое «наукоучение», все чаще вспоминает об абсолюте, о религии, все меньше говорит о Я, но по-прежнему не желает признавать примата природы, считает ее призраком, отблеском знания.

Три последние книги Фихте, говорил Шеллинг, это ад, чистилище, рай, как в «Божественной комедии» Данте, с той только разницей, что Фихте не ведает подлинного божества и рая. Он как дьявол-искуситель сулит сокровища, а одарить может только раскаленными углями. А какого рода наставлениями может он снабдить? Только полицейскими. Вроде того как в своем «Замкнутом государстве» он дедуцировал априорно устав прусской полиции вплоть до мельчайших предписаний писарям.

Свое новое полемическое произведение Шеллинг назвал «Изложение истинного отношения натурфилософии к исправленному учению Фихте». Он очень им доволен, считает его «одним из лучших своих и энергичных».

Якоби тоже доволен: пусть Фихте и Шеллинг таскают Друг друга за волосы, от этого его религиозная философия может только выиграть. «У Шеллинга царствует исключительная любовь к природе, а у меня любовь к сверхприродному», — поясняет он свою позицию.

Роль посредника между Шеллингом и Якоби берет на себя Франц Баадер, также вновь назначенный член Академии наук, врач по образованию, мистик по убеждению. Он любит природу как первый и религиозен как второй. Первый, уверяет он, должен взять у второго все лучшее, и наоборот. И тогда получится... Якоб Бёме, в котором все должны обрести друг друга.

Шеллинг рассказывает Баадеру, что Якоба Бёме ему открыл Эттингер. Баадер незнаком с сочинениями швабского пиетиста, и Шеллинг пишет в Вюртемберг отцу, чтобы тот постарался достать для Баадера книги Эттингера. Он и сам все внимательнее читает Эттингера и Бёме и все меньше новинки естествознания. Все меньше говорит он об опыте, все больше об откровении и магии.

Вот, видимо, почему он так легко стал жертвой мистификации (как, впрочем, Баадер и другие ученые мужи). Где-то на границе с Тиролем объявился некий Кампетти, обладавший чудесным даром чувствовать под землей руду металлов и воду. Баварское правительство поспешило доставить чудо-итальянца в Мюнхен. Шеллинг увидел в способностях Кампетти путь к познанию глубочайших тайн человеческой природы, к торжеству маго-поэтического направления в философии. Он пишет о Кампетти две газетные заметки. Виндишману сообщает: «Опыты уже довольно далеко продвинулись вперед. Меня удивило, что, судя по Вашей статье, Вы, по-видимому, еще ничего не знаете об этом влиянии воли (именно магическом, не механическом). Или, может быть, Вы молчите об этом как о тайне? Маятник, жезл или какой-нибудь другой предмет повинуются импульсам воли (или даже мимолетной мысли), подобно мускулу, движение которого является чисто механическим. Таким образом, наши мускулы на деле не что иное, как волшебные палочки, которые бьют наружу или внутрь, сгибаются или разгибаются, как мы захотим. Форма, фигура, число и т. д. имеют определяющее влияние на этот феномен. В некоторых наблюдениях и опытах обнаруживается близкое родство с магнетическим ясновидением. Короче говоря, или здесь, или нигде находится ключ к древней магии».

Мир действительно полон чудес. Брат Шеллинга Карл, штутгартский медик, исследует животный магнетизм, то есть гипноз. У него есть замечательная сомнамбула, которая не знает Фридриха, но безошибочно описывает его внешность, из десяти писем она сразу узнает то, которое пришло от него. А 25 декабря 1807 года, находясь за сотни миль от Мюнхена, она увидела Фридриха, как тот в 6 часов вечера пришел к себе домой, а его жена Каролина была в это время в гостях. «Вспомни, пожалуйста, — просит Шеллинга его брат, — так ли все это было, и если так, то попроси свидетелей подтвердить это...»

Шеллинг проявляет живой интерес и к животному магнетизму. Опытами же Кампетти он просто увлечен; подробно о них рассказывает Гегелю, пытаясь увлечь и его. «Это настоящая магия человеческого существа, ни одно животное не способно ее проявить. Человек в самом деле выделяется как солнце среди остальных существ, так что они играют роль его планет». Прозаический Гегель реагирует сдержанно. А мадам Шеллинг, разумеется, увлечена «сидеризмом», так называют новое таинственное явление, не меньше, чем ее муж, и как эхо (с соответствующими искажениями!) повторяет в письме к подруге его слова: «Это, должно быть, та же самая сила, которая движет планеты вокруг

Солнца, человек — это Солнце по отношению к составным частям Земли, с которыми он связан интимным, дружеским образом».

Решено издавать журнал, специально посвященный сидеризму. За это взялся Риттер, коллега Шеллинга по Академии наук, который доставил в Мюнхен Кампетти и больше всех с ним носит. В дальнейшем, однако, Кампетти был разоблачен как обманщик. Шеллинга это уже не волнует, у него другие заботы: он генеральный секретарь Академии художеств.

Каким образом Шеллинг оказался на местном Олимпе изобразительного искусства? Ведь пока он ничем не отличился в этой области. Мы забежали несколько вперед, и нам придется вернуться назад.

Позднее лето 1806 года. Назревает, но (к счастью, для Шеллинга) не происходит полемическая стычка его со знаменитым историком Иоганнесом фон Мюллером. Поводом была книга шеллингианца Молитора «Идеи к будущей динамике истории», в которой исторический процесс рассматривался с позиций философии тождества. Как и в природе, в истории нет развития, есть только количественные различия между идеальным и реальным. Античность ничем не хуже современности. Книга понравилась Гёте, и он предложил Айхштедту, редактору новой «Иенской всеобщей литературной газеты», дать ее на рецензию какому-нибудь шеллингианцу. Выбор редактора пал на Винцишмана.

Виндишман был близок с Мюллером и, видимо, не без влияния историка довольно сурово обошелся с книгой своего, казалось бы, единомышленника. Рецензия Виндишмана появилась в одном из августовских номеров «Литературной газеты» в сопровождении небольшого, но резкого послесловия Мюллера, подписавшего свой текст инициалами Ths, что следовало читать — «Фукидид».

Мюллер говорил как бы не только от своего имени, но и от имени самой Истории, ущемленной в правах выкладками Молитора, в книге которого, по мнению Мюллера, сквозило пренебрежение к живой ткани прошедшего. «Наша молодежь строит пирамиду сверху вниз, снабжая ее ужасным аппаратом вроде — продуктивность и эдуктивность, активность и пассивность, субъективность и объективность, диада и триада и бог знает сколькими полярностями; ведет речь о вещах, которых не знали герои Марафона, Земпах и Россбах, ни Сципион, ни Брут, ни Вильгельм Оранский, ни Великий курфюрст, ни Фридрих... С тех пор, как мы не в состоянии защитить ни один свинарник, мы помогаем господу устроить универсум; с тех пор, как мы не знаем, кто через неделю будет нашим хозяином, мы размышляем только о вечности».

В словах Мюллера слышна боль за немецкие поражения, тревога за

судьбу Германии, хозяином которой становился французский император. Историк хотел, чтобы его наука служила бы его родине, «час которой когда-нибудь пробьет», воспитывала бы патриотов.

Шеллинг тоже был патриотом, тоже с болью смотрел на французские победы и немецкие поражения. Он на баварской службе, Бавария союзница Франции, тем не менее Наполеон вызывает у него антипатию. Но в отповеди Мюллера ему почудилась неприязнь к философии как таковой. И он взялся за перо.

«Наша молодежь, — писал он, — не виновата в том, что ее весна пришлось на время порабощения; родину в ее современном состоянии им передали те, кто уже давно сложился как зрелый муж, и пусть они спросят себя, как это все случилось». Прошлое не помогает настоящему, воспоминания о победах не спасают от поражения. Герои Земпах и Моргартена не знали о тех, кто погиб при Фермопилах. Для того чтобы отдать жизнь за родину, не следует задаваться вопросом, как это делается. И философия тут ни при чем. Что остается делать тем, кто не в состоянии защитить ни один свинарник, да еще не по своей вине? Будет ли это смешно, если он займется строением универсума? Тому, у кого нет клочка земли, чтобы поставить ногу или преклонить голову, не естественно ли обратить свой взор к небу? Если у немца отнять страсть к познанию, не иссякнет ли последний источник его силы? Религию, героизм и веру разрушила философия, только не наша. Не наша наука привела немца туда, где он сегодня находится. Это чужая наука подорвала силы народа. Это чужие нравы, которые прививали ему последние полвека, губят нацию. Надежда немцев сегодня — верность своей науке, в которой только и тлеет еще священный огонь.

В конце августа 1806 года шеллинговский «Эпилог к эпилогу» лежал на столе Айхштедта. Редактор «Литературной газеты» не знал, что ему делать. Напечатать заметку — значило вступить в конфликт с Мюллером, первым историком в Германии. Не напечатать — обидеть Шеллинга, близкого к всемогущему Гёте. Айхштедту пришлось пустить в ход все свои дипломатические способности, чтобы уладить дело. Участникам назревавшего спора он говорил только любезности, каждому от имени другого. И вот они уже помышляют не о вражде, а о дружбе.

А тут еще национальная трагедия. В один день 14 октября в двух сражениях под Иеной и Ауэрштедтом перестала существовать прусская армия. Мюллер находился среди разгромленных войск. После этого обращаться к нему с поучениями было бы бестактно. Шеллинг не настаивает больше на публикации своей отповеди. Виндишману он пишет:

«Большую часть времени мой дух и сердце не со мной, а далеко отсюда... Впервые в жизни я ощущаю, что в тысячу раз лучше было бы мне держать в руке меч, чем перо. Говорят, что „Фукидид“ находился перед катастрофой в прусской штаб-квартире. Вы можете себе представить, что при сложившихся обстоятельствах я взял бы все назад, даже если бы он не писал Айхштедту обо мне с такой любовью, о которой я не мог и помышлять».

Мысли Шеллинга занимает теперь политика: «Я ожидаю полного примирения всех европейских народов и новые общественные отношения с Востоком; осознанно или бессознательно разрушитель работает в этом направлении. Это восстановленное единство с Востоком я считаю величайшей проблемой, над которой работает теперь мировой дух». Можно подумать, что пишет Гегель. Он тоже в эти дни бредит мировым духом, только видит его верхом на коне во главе французского войска. Взор Шеллинга обращен на Восток, то есть к России, от нее ждет он спасения для Германии. Европа — бесплодный корень, облагородить его может только Восток.

В эти дни он задумал антифранцузское сочинение, о котором рассказывает Каролина своей подруге. «Шеллинг намеревается написать небольшую вещь: ненависть к французам и признание ошибок сразу». Он хочет пробудить в побежденном, растерянном народе чувство национальной гордости, призвать к единству, к сопротивлению захватчикам. Ничего из этого не вышло. Только дошедший до нас фрагмент «О сущности немецкой науки» (ошибочно отнесенный в Полном собрании сочинений к 1811 году и лишь недавно правильно датированный весной 1807 года) свидетельствует о замыслах философа.

Шеллинг говорит в нем о стремлении немецкого народа к такой религии, которая связана с познанием и наукой, философией. «Метафизика придает органическую структуру государству, наделяет толпу сердцем и смыслом, т. е. превращает в народ». Это интересно, но неопределенно, далеко от политики и лежит в письменном столе. Фихте действует решительнее: в оккупированном французами Берлине он бесстрашно читает «Речи к немецкой нации», побуждавшие народ к борьбе с Наполеоном.

Шеллинг на распутье. Именно в это время он носится с Кампетти и увлечен сидеризмом. Собрался написать для издательства Котты труд по методологии, но так и не завершил его. Обещал ему же представить «Философские разговоры», не выполнил и это обещание. В начале 1807 года в баварском университете в Ландсгуте возникают сразу две

профессорские вакансии по кафедре философии. Его не зовут. Более того, назначают на освободившиеся места ярых его противников. Это очередное унижение.

Наступает лето 1807 года. Баварская академия наук, реорганизованная и укомплектованная, готовится к своему торжественному открытию. В праздничный день президент ее Фридрих Якоби должен выступить с программной речью. Текст написан заранее, и Шеллинга просят высказать свое мнение. Речь называется «Об ученых обществах, их духе и назначении». Шеллинг сразу заметил плохо завуалированные выпады по собственному адресу. Но это полбеда. Беда, по мнению Шеллинга, в том, что взят неверный тон: нужно было больше сделать упор на положительном и образцовом, а не на негативном. Зачем копаться во французской бездуховности, как будто она господствует у нас, а мы как обезьяны подражаем этой низости. Якоби отдает предпочтение разуму и изображает французов рассудочной нацией. Вольтера, Гельвеция, Дидро можно назвать героями рассудка, но только такого, который сам с собой не в ладах. Жизнь опровергла их политические и физические теории. Следовательно, это не рассудок, а безрассудство. «Я не думаю, что чрезмерный культ рассудка представляет собой главную беду современности. Безрассудство привело Германию к ее нынешнему состоянию. Безрассудство (недостаток взаимопонимания, чистой воли, способности объясниться) вызвало безграничное смятение, из которого нет иного спасения, как с помощью нового Магомета. И не расчленение душевных сил, по моему мнению, должно помочь человечеству, а высшее и полное их объединение».

У нас, поучает Шеллинг Якоби, есть люди разного рода. Одни погрязли в чувственности. Другие, таких меньше, Живут рассудком. Еще меньше людей, живущих разумом и сверхразумом. Беда, что нет людей, у которых все эти способности были бы гармонически развиты. Такие люди нужны сегодня Германии.

Короче говоря, речь президента не понравилась академику Шеллингу. Он бы построил ее иначе. Но говорил не он, а Якоби, и все было сказано так, как было написано.

Критиковать всегда легче, чем делать самому! Покажи-ка на деле, на что ты сам способен. Академику Шеллингу поручается произнести речь по следующему торжественному поводу: 12 октября день именин короля. Тема — «Об отношении изобразительных искусств к природе». Первое его публичное выступление в Мюнхене.

Он понимает, что это испытание. Притом решающее. Откладывает все

дела и тщательно готовится. Он знает, что в Баварии предполагается создать Академию художеств. Будет присутствовать кронпринц Людвиг, покровитель искусств, двор, министры. От того, какое он произведет впечатление, зависит многое. Другой такой возможности не будет. Сейчас или никогда.

Ни в какие метафизические глубины и искусствоведческие тонкости пускаться не следует. Его будут слушать 500 человек. Здесь важно не что, а как.

...Он говорит очевидные истины, знакомые читающей публике и по Винкельману, и по Лессингу, и по его «Системе трансцендентального идеализма». Искусство — звено между душой человека и природой. Мало проникнуть в душу творца, чтобы постигнуть его сущность, надо знать природу. Для некоторых природа мертвый агрегат, скопление предметов. Для других — почва, откуда поступают соки, питающие наши силы. И лишь вдохновенные исследователи видят в природе священную, творческую силу, из себя самой порождающую все сущее. «Мы присутствуем при достаточно странном зрелище, что как раз те, кто лишает природу какой-либо жизненности, в то же время требуют от искусства воспроизведения жизни природы! К ним могли бы быть приложены слова глубокомысленного автора: ваша лживая философия расправилась с природой, так с какой же стати вы требуете теперь, чтобы мы ей подражали?» Эти слова Шеллинга можно отнести и к омертвляющему механистическому взгляду на мир, но в равной степени и к субъективному идеализму, не признающему примата природы-прародительницы. Для него самого природа продолжает стоять на первом месте.

Он говорит о «жизненной средней линии», которой должен придерживаться художник. Если раньше в обычай искусства входило изображение тела без души, то теперь новейшие учения возвещают тайны душевности, не касаясь тайн телесности. «Жизненная средняя линия» ставит искусство вровень с природой. Поэтому нельзя утверждать, что природа выше искусства. У последнего есть одно преимущество: оно устраняет бег времени. Запечатлевая явление, оно вырывает его из потока изменчивости, изображает в чистой, извечной бытийности. И еще одна особенность. Искусству не только дозволено, но и предписано рассмотрение природы сквозь призму человека, сквозь призму нравственности; Красота, в которой чувственная привлекательность пронизана нравственной благостью, действует как чудо.

В творчестве Рафаэля изобразительное искусство «достигает своей цели», равновесия между божественным и человеческим. Новый Рафаэль

никогда не явится, но другой, заняв его место, «совершенно самобытным путем поведет нас к высотам искусства». Именно в Германии следует ожидать расцвета искусства. Ведь немцы дали «первый толчок к революции умов» в обновленной Европе. В заключение Шеллинг славит короля, о здравии и благоденствии которого нигде не могут возноситься более жаркие моления, нежели в этом храме, воздвигнутом в честь наук его монаршей милостью...

Речь произвела эффект. Каролина сидела среди гостей, волновалась. Но замечала все. По ее свидетельству, Шеллинг говорил с достоинством, воодушевленно, мужественно и завоевал сердца всех присутствующих — друзей и врагов. В течение нескольких недель в Мюнхене только и были разговоры, что о его речи.

Якоби, слушая Шеллинга, восторгался как все. Но потом на свежую голову он нашел в тексте серьезные изъяны. Его «возмутил обман с помощью слов». Свое недовольство он изложил единомышленнику. Об искусстве в письме Якоба не упоминается, его ортодоксальную душу оттолкнула общая, как ему показалась, атеистическая концепция Шеллинга, бог которого лишен ипостаси творца. «Существует только одно качество — жизнь как таковая. Все остальные качества или свойства представляют собой количественные различия или ограничения этого качества, которое одновременно является субстанцией или сущностью всего сущего. В человеке его больше, чем в навозном жуке, но все же человек не есть нечто более высокое и лучшее».

Могло ли недовольство президента Академии наук повлиять на судьбу академика Шеллинга? Теперь уже нет: его судьба была решена. Кронпринц Людвиг, внимавший Шеллингу, был в восхищении. При дворе теперь сразу отпали все сомнения по поводу его персоны. Теперь он там *persona grata*, *gratissima*, как выразился один автор.

Шеллингу поручают формирование Академии художеств, а в мае 1808 года назначают его генеральным секретарем (место и оклад члена Академии наук за ним сохраняется, теперь у него нет недостатка в деньгах). Его награждают орденом, обладание которым возводит в дворянское сословие. Теперь он «господин фон Шеллинг», «герр директор» (директором Академии художеств он никогда не станет, на этом посту будет всегда художник, но должность генерального секретаря соответствовала рангу коллежского директора).

Шеллинг послал текст своей речи в Веймар Гёте с просьбой отрецензировать ее в «Иенской литературной газете». Гёте написал рецензию, но она не увидела свет: Айхштедт, видимо, счел невозможным

откликнуться на речь Шеллинга и умолчать о речи президента Академии наук Якоби. С Якоби Гёте был на «ты», но взгляды их расходились решительным образом, поддержать его в печати у него не было желания.

Обращаясь к Гёте за содействием, Шеллинг напоминал, что тот открыл ему дорогу в свет. Поэтому он делится с ним своими планами. Он собирается посвятить себя искусству, в частности изучению древности. «К ней обращены мой ум и сердце с тех пор, как я перестал преподавать и освободился от своего фрагментарного бытия во имя высших интересов, которым я ранее не мог служить в достаточной степени. Кроме того, я понял, что философу нужен внешний фундамент, чтобы обрести действенность и покой».

В какой мере осуществились планы Шеллинга? Обрел ли он фундамент в искусстве? В 1808 году он опубликовал две газетные заметки о двух картинах своего шефа — главы Академии художеств Лангера — и разбор устава академии, в составлении которого принимал деятельное участие. Прodelанная работа, писал Шеллинг об уставе, «несет печать зрелых размышлений и выполнена с учетом предшествующего опыта». Заметка была анонимной, и он мог написать о своем труде все, что думал: никто, кроме автора, не знает цену затраченным усилиям.

Академия задумана как учреждение двоякого рода — как высшее учебное заведение и как сообщество выдающихся мастеров. Конечно, рассуждал Шеллинг, нельзя выучить «на Рафаэля и Тициана», но всякий природный талант нуждается в образовании. Живописец и скульптор прежде всего должны знать анатомию. Другой предмет преподавания — история искусств. Коллекция подлинников и слепков будет важной принадлежностью академии. Большое значение придает Шеллинг изучению мифологии. Это, по его мнению, единственный курс, который следует читать в академии. Здесь необходимы не просто исторические познания, но глубокое проникновение в суть дела: мифология откроет художнику глубины творчества.

Что касается академии как сообщества, то это «независимый институт, непосредственно подчиненный только министерству внутренних дел». Ее действительными членами могут быть работающие художники, принимающие участие в выставках академии или представившие для приема в академию специальное произведение.

Исключение составляет генеральный секретарь. Этот пост предназначен для ученого, «который соединяет в себе теоретические познания в области искусства с литературной подготовкой». В статье Шеллинга ничего не говорилось о генеральном секретаре, но в проекте

устава он четко определил свои обязанности: вести протоколы заседаний, переписку и другие литературные дела академии, вместе с директором составлять планы, отчеты, подписывать документацию, выступать докладчиком на торжественных заседаниях. Все это Шеллинг исправно делал в дальнейшем.

Поворот Шеллинга к искусству беспокоил его недоброжелателя Фридриха Шлегеля, брат которого Август Вильгельм прибыл (опять сопровождая мадам де Сталь) на рождество 1807 года в Мюнхен. Шеллинг и А. В. Шлегель часто встречаются на дружеской ноге. Фридрих предупреждает Вильгельма — не болтай об искусстве: «Шеллинг чувствует теперь неистребимое желание галопировать по художествам, а собственных мыслей у него нет, поэтому самое удобное для него — заимствовать их при случае у тебя или у меня».

Фр. Шлегель тревожился напрасно. Шеллинг пробыл на посту генерального секретаря Академии художеств пятнадцать лет. Он исправно вел протоколы, подписывал бумаги, составлял программы и каталоги выставок, произносил речи, но никогда ничего фундаментального об искусстве больше не писал.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЗЛО И СВОБОДА

*Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе.
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.*

Ф. Тютчев

Разрыв с Гегелем наступил как-то незаметно, неожиданно, сам собой, без предварительного выяснения отношений, взаимных упреков, попыток наставить друг друга на путь истины, как это было в случае с Фихте. Дружба сложилась без душевной близости, отчуждение накапливалось годами.

Покинув Иену, Шеллинг вспомнил о Гегеле только тогда, когда ему понадобились авторы для медицинского журнала. На предложение сотрудничать Гегель не ответил, и переписка возобновилась лишь в январе 1807 года, когда Шеллинг переслал свою работу против Фихте, где содержались ссылки на Гегеля. Шеллинг получил благодарность и извинения за долгое молчание. Причина молчания — Гегель заканчивает большое произведение, еще на прошлую пасху он хотел выслать Шеллингу часть работы, но теперь печатание ее близится к концу, и он надеется на эту пасху презентовать уже всю книгу. Затем, сообщая, что книга вышла и Шеллинг скоро ее получит, он писал: «В предисловии ты увидишь, что я не слишком разделался с той пошлостью, которая безобразно обходится с твоими формами и превращает твою науку в пустой формализм. Мне не нужно говорить тебе, что, если ты одобришь хотя бы несколько страниц, это будет для меня значить больше, чем положительная или отрицательная оценка всего произведения другими». Гегель просил Шеллинга «ввести работу в публику», то есть отрецензировать.

Выходит, что «Феноменология духа» (и ни одна строчка в ней) не была задумана как направленная против Шеллинга. Иначе приведенная выдержка звучала бы лицемерно, а просьба о рецензии выглядела бы нелепостью. Пути друзей разошлись, но они вряд ли осознавали, до какой степени, ибо каждый всегда существовал сам по себе. Такой вывод

напрашивается при чтении письма Гегеля.

Вчитываясь в предисловие к «Феноменологии», начинаешь, однако, в этом сомневаться. Уж очень резки формулировки и метят прямо в Шеллинга, хотя имя его не названо. Подлинная форма, в которой может существовать истина, пишет Гегель, — наука, пришло время возвести философию в ранг науки. Шеллинг, мы знаем, пророчил слияние философии с поэзией. Вот ему отповедь: «Прекрасное, священное, вечное, религия и любовь, приманка, которая требуется для того, чтобы возбудить желание попасться на удочку; не на понятие, а на экстаз, не на холодно развертывающуюся необходимость дела, а на бурное вдохновение должна-де опираться субстанция, чтобы шире раскрывать свое богатство... Предаваясь необузданному брожению субстанции, поборники этого знания воображают, будто, обволакивая туманом самосознание и отрекаясь от рассудка, они суть те посвященные, коим бог ниспосылает мудрость во сне, то, что они таким образом на деле получают и порождают во сне, есть поэтому также сновидение».

Наука аристократична, настаивал Шеллинг (имея в виду творческий процесс). Гегель выступает против науки, «находящейся в эзотерическом владении нескольких отдельных лиц» (имея в виду общепонятность).

Шеллинг гордился тем, что кантовскую идею конструкции математических понятий он применил к философии, в результате чего философское знание приобрело конкретность. Гегель же обличает «пустое применение формулы, которая называется конструкцией. С таким формализмом дело обстоит так же, как со всяким другим. Каким тупицей должен быть тот, кто не усвоил бы в какие-нибудь четверть часа теории, сводящейся к тому, что бывают астенические, стенические и косвенно астенические заболевания и столько же способов их излечения, и кто не мог бы в этот короткий срок превратиться из практика в теоретически подготовленного врача... Овладеть инструментом этого однообразного формализма не труднее, чем палитрой живописца, на которой всего лишь две краски скажем, красная и зеленая, чтобы первой раскрашивать поверхность, когда потребовалась бы картина исторического содержания, и другой — когда нужен был бы пейзаж. Результат этого метода приклеивания ко всему небесному и земному, ко всем природным и духовным формам парных определений всеобщей схемы и раскладывания всего по полочкам есть не что иное, как ясное, как солнце, сообщение об организме вселенной, то есть некая таблица, уподобляющаяся скелету с наклеенными ярлыками или ряду закрытых ящичков с прикрепленными к ним этикетками в бакалейной лавке». И т. д. и т. п. Вряд ли Шеллингу

могли импонировать эти строки. И уж тем более знакомый нам пассаж о том, что попытка совместить философию с поэзией приводит к тривиальной прозе, которая «ни рыба, ни мясо, ни поэзия, ни философия».

И все же Шеллинг не обиделся (или сделал вид, что ничего не произошло). Он принял версию Гегеля, что речь идет не о нем, а о ком-то другом, «Феноменология» попала в руки Шеллинга летом 1807 года. Ответил он Гегелю только 2 ноября. Посылая ему свою речь об изобразительном искусстве, Шеллинг писал: «Я прочитал пока только предисловие. Поскольку ты сам упомянул о полемической части, я должен быть со своей стороны справедливым и не отнести полемику на свой счет. Речь идет о злоупотреблениях эпигонов, хотя в работе не проведено это различие. Ты можешь себе представить, как я был бы рад от них избавиться. В чем у нас действительно могут быть различные убеждения и точки зрения, можно легко выяснить и решить, ибо примирить можно все. За одним исключением. Так, я должен признаться, не могу понять, зачем ты противопоставляешь понятие созерцанию». Письмо заканчивалось дружеским приветствием и просьбой поскорее ответить.

Ответа не было. Ни скорого, ни долгого. Возможно, что Гегель ждал от Шеллинга более обстоятельного разбора своего фундаментального труда, которого тот так и не осилил. С другой стороны, последнее вполне дружеское слово осталось за Шеллингом, он вправе был ждать письма.

На предисловие к «Феноменологии» он откликнулся еще раз — в предисловии к своему трактату «Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах», который увидел свет весной 1809 года в первом томе «Философских произведений» Шеллинга (второй так и не появился), где наряду со старыми произведениями включено было и только что написанное. Отклик был сдержанный, примирительный.

Шеллинг напоминал о том, что свою систему он изложил в статьях на страницах «Журнала умозрительной физики», сделал это недостаточно обстоятельно, полно и последовательно. Тотчас же началось высмеивание и искажение его взглядов, а с другой стороны — разъяснения и переделки, худшим видом последних был перевод на «квазигениальный» язык. «Ведь это было время, — продолжает Шеллинг, — когда умами овладело необузданное поэтическое опьянение. Теперь, по-видимому, наступает более трезвое время. Возрождается стремление к правдивости, трудолюбию, искренности. Начинают признавать пустоту тех, кто, подобно французским театральным героям, нарядился в сентенции новой философии или ломается словно канатный плясун. В то же время те, кто на

базаре разыгрывал на шарманке вождественное новое, вызвали наконец к себе столь всеобщее отвращение, что скоро не найдут для себя публики, особенно если благожелательные критики перестанут говорить по поводу всякой бестолковой рапсодии, где подобрано известное количество оборотов или выражений какого-нибудь известного писателя, будто это произведение, составленное в согласии с основными положениями последнего». (Кого из своих подражателей имел в виду Шеллинг, сказать трудно. Во всяком случае, он оправдывался перед Гегелем, снова повторяя версию об «эпигонах» и сваливая вину на них.)

В заключение, как бы обращаясь к Гегелю, Шеллинг писал: «Пожелаем, чтобы те, кто открыто или замаскированно нападал на автора в этой области, высказали теперь и свое мнение так же откровенно, как это сделано здесь. Если совершенное знание предмета делает возможным свободное художественное его изложение, то искусственные увертки полемики не могут быть формой философии». То есть одно дело «необузданное поэтическое опьянение», это к Шеллингу, мол, не относится, а другое — «свободное художественное изложение» предмета, этим Шеллинг может гордиться, и он не собирается повторять гегелевские «увертки полемики». И главное — «мы желаем всего сильнее того, чтобы все более укреплялся дух совместного искания истины и чтобы сектантский дух, слишком часто овладевающий немцами, не задерживал движения к обретению познания». Шеллинг протягивал Гегелю руку сотрудничества на благо родной культуры.

Гегель не обратил внимания на увещания Шеллинга. Так внешне без эксцессов, как бы по недоразумению, а внутренне вполне логично оборвалась их давняя дружба. На смену ей пришла вражда.

Один из биографов Шеллинга высказал предположение, что зловещую роль при этом сыграл Паулюс, давний враг Шеллинга. Гегель в бытность свою в Бамберге близко сошелся с ним, и его обвинения по адресу Шеллинга в визионерстве, мистике, ретроградстве, видимо, пришлись по вкусу Гегелю. Гегель оживленно переписывается с Нитхаммером, коллегой Шеллинга по Мюнхенской академии наук. Шеллинг вел переписку с Шубертом, своим учеником, директором нюрнбергского реального училища, которое помещалось в том же доме, где была гимназия, возглавляемая Гегелем. Друг о друге они не вспоминают. Когда умрет Каролина, Шеллинг не сообщит Гегелю о ее смерти и не получит от него соболезнования. На кончину жены своего бывшего друга Гегель отреагирует в письме к Нитхаммеру; передавая привет его жене, он напишет: «Сохрани ее господь, и пусть она проживет в десять раз больше,

чем та мегера, о смерти которой мы недавно узнали и относительно которой выдвинута гипотеза, что ее утащил черт». Предполагают, что автором сомнительной остроты был Паулюс. «Я видел много злых людей, — скажет Шеллинг — и испытал от них много зла, но еще не встречал такого злого, как Паулюс, и ни от кого не испытал больше зла, чем от него».

Что такое зло? В добре видят совершенство, в зле — ограниченность, недостаток. Но дьявол во всех религиях — наименее ограниченная тварь, в нем избыток активности и силы. Говорят, что человек по природе зол, надо преодолеть животное начало в человеке, воспитать его к добру, просветить, и зло исчезнет. Иные считают, что человек по природе добр, злым его делают обстоятельства, зло противопоставляет свободе. Шеллинг настаивает на том, что зло — такое же порождение человеческой свободы, как и добро. Из всех живых существ только человек способен творить зло, подчас добровольно, сознательно, со знанием дела. Цивилизованный, просвещенный человек может сотворить такое, что не придет в голову дикарю, что ему просто не под силу. Зло — болезнь, поражающая современное общество сильнее, чем первобытное, об этом свидетельствует размах и изощренность злодеяний. Как преодолеть зло?

Шеллинг хочет дать ответ в трактате о человеческой свободе. Повод для его написания был полемическим. Как раз тогда, когда Шеллинг стал генеральным секретарем Академии художеств, появилась работа Фр. Шлегеля «Язык и мудрость индийцев». Речь шла в ней о древних учениях, но выпады против пантеизма Шеллинг принял на свой счет. Опять его учат. Наставляют в делах веры. Главное, кто? Вероотступник! (Незадолго до выхода книги Фр. Шлегель и его жена Доротея перешли в католичество.) Шеллинг решает показать, что его взгляды не противоречат протестантской традиции. Тон полемики, заданный Шлегелем, он принимает — без имен и цитат, разговор только по существу дела.

Создается впечатление, что у Шеллинга нет желания ссориться с Фр. Шлегелем, он как будто даже ищет с ним сближения. Наиболее серьезные мотивы, разделявшие их, отпали: Шеллинг изменил свое отношение к религии. И с братом Фридриха Августом Вильгельмом у него снова приятная переписка. Старший Шлегель с недавних пор — его коллега по Академии наук, он избран «членом-корреспондентом по первому классу». Что такое «первый класс»? — спрашивает Август Вильгельм. Какие у него как члена этого класса будут обязанности? Шеллинг отвечает: «первый класс» — это философия, литература, филология. Шеллинг сам принадлежит к этому классу, кроме того, из знакомых там Баадер, Нитхаммер. Что касается обязанностей, то практически их нет никаких,

академия не предъявляет к Вам никаких требований, кроме того, чтобы Вы разрешили внести Ваше имя в список лиц, «три четверти которых никуда не годится». О книге Фридриха, посвященной индийской мудрости, Шеллинг ничего дурного не высказывает, он ценит заслуги младшего Шлегеля в востоковедении, он давно предлагает президенту академии снарядить на Восток научную экспедицию во главе с «достопочтенным брамином Фридрихом».

Дружелюбный тон полемики — новое в творческой биографии нашего героя. Он как будто устал от чернильных баталий и там, где его прямо не вызывают на открытую схватку, охотно готов избежать ее. Худой мир лучше доброй ссоры. К тому же он понимает, что дело не в Фр. Шлегеле, который считает несовместимым пантеизм и учение о свободе, это широко распространенное заблуждение. Иные считают, что идея свободы несовместима с идеей философской системы. Не обличая никого конкретно, Шеллинг выдвигает прямо противоположный тезис: вне системы нельзя определить ни одно понятие, в том числе и понятие свободы. Индивидуальная свобода связана с мировым целым.

Спиноза — фаталист, но есть другие виды пантеизма. Беда Спинозы не в том, что он помещает вещи в бога, а в том, что он говорит только о вещах, у него нет понятия мировых существ, его система безжизненна. Его пантеизм реалистический. Между тем в пределах пантеизма возможна и идеалистическая позиция. Что касается Шеллинга, то он видит свою задачу в том, чтобы совместить обе крайние точки зрения. Идеализм — душа философии, реализм — ее тело. Бог вездесущ, но он бог живых, а не мертвых. Живое наделено свободой.

Как сочетать промысел божий и свободу воли? Идею бога и существование зла? Зло существует — значит, бог либо не хочет, либо не может его устранить. И то и другое противоречит идее бога как существа всемогущего и всеблагого. Следовательно, либо бога нет вовсе, либо он не милосерден, либо он не всемогущ.

Шеллинг склоняется к третьей возможности. Он ссылается на свою работу «Изложение моей философской системы», где проведено различие между существованием и основой существования. Ни один предмет не самодовлеет, его бытие определено чем-то иным. Бог же имеет основу своего существования в себе самом. Следовательно, в боге есть нечто не являющееся богом, некое хаотическое первоначало, с которым ему еще нужно справиться. (Шеллинг заимствует эту мысль у Бёме.) Разум, начиная действовать, производит разделение сил, свет отделяется от тьмы. На каждой новой ступени дифференциации возникают новые существа с более

совершенной душой. В человеке эта поляризация достигает степени противоположности добра и зла. Ни в первозданном хаосе, ни в боге нет зла, ибо нет расчленения принципов. Золотой век, время невинности предшествует грехопадению. Зло создает человек, одновременно он — творец добра.

Один поступает дурно, другой в тех же условиях творит добро. И каждый персонально несет ответственность за свое поведение. Человек может, следовательно, свободно выбрать добро или зло? И да, и нет. Шеллинг признает свободу воли и одновременно отрицает ее.

Вспомним две новеллы о дон Жуане и дон Понсе в «Ночных бдениях». В первом случае все происходит по людскому произволу, злодей дон Жуан строит козни и распоряжается событиями. В другом случае в театре марионеток то же самое разыгрывается по воле того, кто управляет куклами, дон Жуан — такая же марионетка, как и все. Свобода достаточно реальна, чтобы нести ответственность (за свои поступки), но она слишком призрачна, чтобы взваливать на себя ответственность (за других). Ты мнишь себя хозяином судьбы, а сам висишь на ниточке!

Человек зол или добр не случайно, его свободная воля predetermined. Иуда предал Христа добровольно, но он не мог поступить иначе. Человек ведет себя в соответствии со своим характером, а характер не выбирают. От судьбы не уйдешь! Учение о свободе выбора Шеллинг называет «чумой для морали». Мораль не может покоиться на таком шатком основании, как личное хотение или решение. Основа морали — осознание неизбежности определенного поведения. «На том стою и не могу иначе». В словах Лютера, осознавшего себя носителем судьбы, образец морального сознания. Истинная свобода состоит в согласии с необходимостью. Свобода и необходимость существуют одна в другой.

Учение Шеллинга о свободе — своего рода ответ на сформулированную Кантом антиномию: есть свобода в человеке, никакой свободы нет. Для решения этой антиномии была написана «Критика чистого разума». В мире явлений, говорил Кант, господствует необходимость, в мире вещей самих по себе человек свободен. Но что такое, по Канту, свобода? Это следование нравственному долгу, то есть опять-таки подчинение человека необходимости. Задача состоит в том, чтобы выбрать правильную необходимость.

У Шеллинга выбор уже сделан за человека. Он говорит об ответственности, но частично она передана в высшие инстанции. (Кант суров и беспощаден к личности, он требует от нее нравственности, ничего не обещая взамен.) Шеллинг рисует утопическую картину торжества добра

над злом. Зло возникло с необходимостью и столь же необходимо исчезнет. Для этого должно завершиться полное отделение добра от зла. Зло сильно своей связью с добром, само по себе зло не имеет энергии. Мысль Шеллинга проста и гениальна: ни один злодей не называет себя таковым, он взывает к добру и справедливости; потоки крови пролиты во имя всеобщего блага; разоблаченное зло бессильно. Мысль Шеллинга в то же время наивна: зло хитроумно и каждый раз по-новому маскируется под добро.

Но дело не в знании. Указать пальцем на зло не значит победить его. Любовь, только сила любви способна обессилить ненависть и зло. Победа любви будет победой бога над природой, над величайшим таящимся в ней злом — смертью.

Трудно сказать, прочитал ли Шеллинг «Феноменологию духа». Так или иначе его трактат о человеческой свободе — своеобразный ответ Гегелю. Сотни Страниц «Феноменологии» ведут читателя к мысли о всемогуществе знания, которое достигает абсолюта в гегелевской диалектике. Из трактата Шеллинга вытекает, что знания недостаточно, наука может служить злу, науке нужен нравственный ориентир. А человеку тем более.

Что касается победы над смертью, то это следует, конечно, назвать утопией. Однако, дорогой читатель, мы живем в те времена, когда утопии становятся наукой, более того — сбываются. Наш соотечественник Николай Федоров, писавший полвека спустя после Шеллинга, всю свою жизнь думал об одном: о преодолении главного человеческого зла — смерти. И ему мало было сохранить жизнь живущему, он мечтал вернуть жизнь умершим. А от Федорова пошли импульсы к современной науке.

Смерть действительно величайшее зло. И не только для того, кто умирает, но иной раз для тех, кто остается жить. Шеллингу это довелось испытать на собственном опыте.

*

Каролина умерла 7 сентября 1809 года, скоропостижно, в расцвете сил. Еще за несколько дней до этого они стояли вечером у окна в доме его отца, любуясь пейзажем, и она сказала: «Шеллинг, можешь ли ты поверить, что я здесь умру?» Он не мог об этом даже помыслить: она была совершенно здорова, слабым после длительной болезни был он; необходимость ему отдохнуть, рассеяться привела их в Маульбронн к

родителям. Весной они хотели осуществить наконец давний свой плац поездки в Италию, новая австро-французская война помешала им и на этот раз. В Мюнхене стало беспокойно. Атмосфера политических доносов и преследований тяготила Каролину, два месяца она выхаживала больного мужа, и вот теперь в середине августа, когда он окончательно встал на ноги, они отправились в Вюртемберг.

Несмотря на плохую погоду, они много ходят пешком. 3 сентября, когда после трехдневного путешествия они вернулись домой, Каролина почувствовала себя плохо. Шеллинг вызвал местного врача. Вскоре стало ясно: дизентерия — болезнь, которая свела в могилу Августа. Шеллинг отправил нарочного в Штутгарт за братом, теперь уже известным врачом. Карл Шеллинг прибыл слишком поздно.

«Последние ее дни были спокойны, она не чувствовала ни власти болезни, ни приближения смерти. Она умерла так, как этого всегда хотела. В последний вечер ей стало легко и радостно, вспыхнула снова вся красота ее любвеобильной души, прекрасные звуки ее голоса звучали как музыка, душа витала еще над оболочкой, которую должна была покинуть. Она уснула утром... тихо, без борьбы, сохранив даже в смерти свое очарование; мертвая она лежала, слегка повернув голову с выражением света и сердечного умиротворения на лице. Пока она так лежала, и я мог покрывать слезами ее останки, я не был еще совсем несчастлив; взглянув на нее, я успокаивался, таким ясным было ее лицо. Но и с этим последним мне пришлось расстаться, я проводил ее к могиле... Таков был конец вашей-моей Каролины. Я поражен, убит, я не могу измерить величину моего горя... Бог дал ее мне, смерть не в силах ее похитить». Так писал Шеллинг Луизе Готтер, близкой подруге Каролины, две с лишним недели спустя после катастрофы. Последнюю фразу он высечет на надгробии.

Но что означают слова — «Она умерла так, как этого всегда хотела»? Значит, они не раз говорили на эту тему. Сохранились ли следы их разговоров? Запечатлена ли где-нибудь желаемая картина кончины? Приходит в голову только одно — смерть вольнодумца в «Ночных бдениях». Он тоже — уснул любящий в объятиях любви. Возникает аналогия. А перевернув еще несколько страниц переписки Шеллинга, встречаешь слова «ночные бдения». Шеллинг сообщает брату Каролины, что летом 1809 года он много болел и ночные бдения у его ложа измучили Каролину, подорвали ее силы. Напрашивается мысль, что, думая о жене, Шеллинг невольно, неосознанно, возвращался к их совместному литературному детищу. Детей у них не было.

«Она была неповторимым существом, ее нужно было любить всю или

не любить совсем. Эту способность завоевывать сердца полностью она сохранила до последних своих дней. Нас объединяли святыя узы, мы были верны друг другу в беде и страдании, с тех пор как она у меня отнята, все раны открылись снова. Если бы она не была мне тем, кем она была, я оплакивал бы ее просто как человек, печалился бы, что погибла такая душа, редкая женщина, обладавшая мужественным величием души, встрой мыслью и мудростью женственного, нежнейшего, любвеобильного сердца. Такое неповторимо!» (Из письма Шеллинга брату Каролины.)

Каролину похоронили в Маульбронне. И сегодня рядом с собором стоит там памятник, на котором можно прочитать полустершуюся скорбную эпитафию:

Здесь покоится КАРОЛИНА

Доротея Альбертина урожденная МИХАЭЛИС.

*Могила верной и вечной возлюбленной обозначил этим камнем
переживший ее супруг Фр. Вильг. Йозеф Шеллинг.*

*Пусть каждый способный сострадать поклонится останкам, некогда
носившим благородное сердце и высокий дух.*

Спи спокойно, чистая душа,

до вечной встречи.

Бог вознаградит тебя за любовь и верность,

что сильнее смерти.

Она умерла в гостях в родительском доме

в Маульбронне

7 сентября 1809 года,

став жертвой эпидемии дизентерии и нервной горячки.

БОГ дал ее мне, смерть не в силах ее похитить.

Каролину оплакивали родственники и друзья. Враги реагировали каждый по-своему. Сомнительную остроту, которую легкомысленно повторил Гегель («мегера... относительно которой выдвинута гипотеза, что ее утащил черт»), мы уже знаем. Доротея Шлегель уверяла, что «давно ее простила», иначе ей страшно подумать, что та «непрощеной покинула этот мир». Фридрих Шлегель: «Я должен еще сообразить, какое впечатление все это на меня производит. Впрочем, для меня она умерла давно». Жена Шиллера о Шеллинге: «Узник Освобожден».

Его жалели, старались утешить, но никто — ни близкие, ни недоброжелатели, ни даже он сам — не понимал, какой удар нанесла ему судьба. Каролина была не просто любимой женщиной, другом, она была частью его самого, сокровенным возбудителем творчества. Она ушла, и умерло что-то в нем. Часы труда остановились. Потом их починят, но ход будет иной. Он проживет еще много лет, больше, чем прожил. Его будут посещать оригинальные мысли, неплохо ложиться на бумагу, но все останется незавершенным, из печати не выйдет ничего значительного. Тому будет ряд причин. Одна из самых важных — отсутствие Каролины. В истории культуры трудно найти другой случай, чтобы женщина значила так много в творческой жизни философа.

Он сам еще не ведает, что произошло; заглядывая в будущее, старается думать только о творчестве. «Я клянусь вам и всем друзьям, — пишет он

Виндишману, — жить теперь целиком и полностью для высокого. Другой ценности эта жизнь не может больше иметь, прервать ее произвольно я не могу, обесценить — было бы позором; единственный способ вынести ее — смотреть на нее с точки зрения вечности. Завершение начатого нами дела может служить единственной основой для дальнейшего, после того как нас лишили всего — отечества, любви, свободы». Он обретет вновь отечество, любовь, свободу, но начатое дело, увы, не завершит.

Ему тяжело оставаться в Мюнхене. В январе 1810 года он получает длительный отпуск и отправляется в Штутгарт. У него теперь бездна свободного времени, он не знает, чем занять себя. Его дневник: «20. Прибыл в Штутгарт, между 2 и 3 был у сестры. 21. Занимался уборкой, все расставил по местам. 22. Написал матери, в полдень пошел к сестре. 23. Начал необходимое чтение и подготовку к философским беседам. Произведения Хана. После обеда — печаль и много слез. 23. Начал философскую работу и читал произведения Хана. В Мюнхене ночью в половине четвертого умер Риттер».

...Бедный Риттер. Ведь это было совсем недавно, он ставил опыты с Кампетти, увлекался сидеризмом. Ему всегда не хватало денег, свой профессорский оклад он тратил на эксперименты, а потом по мелочам занимал деньги в долг. И не был аккуратен в их возврате. В опытах с металлами он более точен, чем в обращении с металлом в повседневной жизни, острит Шеллинг по его поводу. Он принес однажды первый номер своего журнала и хотел одолжить на короткий срок пару золотых, но Каролина не допустила его до Шеллинга. (Она вообще никого не пускала к нему, когда он работал.) Риттер обиделся, написал раздраженно-ироническое письмо с просьбой выручить его, но Шеллинг был тогда не при деньгах. Через некоторое время Риттер снова попросил займы четыре золотых, Шеллинг ссудил их, и тот был растроган, благодарил не столько за деньги, сколько за дружескую поддержку, просил навестить больного Кампетти. Золотой — монета императора Карла, «каролина». Риттер всегда просил «каролины». Теперь нет ни Риттера, ни Каролины...

27 января — день рождения, первый (после жени v бы) без Каролины. О чем он думает в этот день, мы узнаем из дневниковой записи: «Нет такой страсти, которую невозможно преодолеть. Разгневанный подавляет свой гнев в присутствии монарха. Сладострастие утихает перед лицом невинности и добродетели. Чтобы стать хозяином своей страсти, человеку нужно всегда нечто внешнее, чтобы его потрясло, отвлекло, создало бы напряжение».

Это очень важное признание, которое объяснит нам многое из того,

что произойдет потом. Ему нужно преодолеть отчаяние. Клины выбивают клином. Что делать?

Он много читает. Кроме Хана, — Этингера, Сведенборга. Но это слабое отвлечение. Местный юрист Эбергард Фридрих Георгии предлагает Шеллингу в узком кругу заинтересованных лиц рассказать о своей философии. Шеллинг соглашается, просит только, чтобы слушателей было как можно меньше, чтобы встречи носили характер не лекций, а беседований. Так возникают «Штутгартские беседы».

Сохранился черновик, которым руководствовался Шеллинг, и запись Георгии, выправленная Шеллингом. Оба текста изданы теперь параллельно; сопоставляя их, можно получить представление о том, как тридцатипятилетний философ, переживший катастрофу, смотрит на свою философскую систему, как излагает ее.

Начинает он с критики предшествующих доктрин. Большинство из них — хорошо ли, плохо ли — измышлены их создателями. В этом смысле они похожи на исторические романы. Между тем философию надо не изобретать, а заимствовать из сущего. Система должна обладать последовательно проведенным принципом, быть всеобъемлющей, опираться на строгий метод.

О философском методе Шеллинг в «Штутгартских беседах» не говорит, даже не вспоминает о своей многообещающей идее «конструкции» воссоздания конкретности из абстракций. Зато свой основной принцип тождества он излагает предельно обстоятельно и популярно. Он уточняет: тождество не следует понимать формально, в том смысле, что одного нельзя отличить от другого («в темноте все кошки серы», — иронизируют его противники). Библейский Иаков носил также имя Израиль, а был одним и тем же человеком. Не об этом речь. Речь идет об органическом единстве противоположностей. Тождество идеального и реального не означает, что это одно и то же. Вместе с тождеством Шеллинг признает своеобразный дуализм бытия и мышления.

И этим он отличается от Фихте. Для последнего существует только совпадение объекта и субъекта в человеческом сознании. «Фихте знает только одну форму бытия, — записывает Георгии за профессором, — в то время как господин Шеллинг — две, деятельность в духе и покой, выражающийся в природе или материи».

Шеллинг говорит не только о Фихте, но и о других системах. Георгии кое-что воспроизводит неточно, Шеллинг дома выправляет текст, а затем, отсылая тетрадь, в сопроводительном письме еще раз разжевывает свою мысль:

«Декарт устанавливает две абсолютно различные субстанции

А и Б

идеальную или духовную реальную, протяженную субстанцию или материальную субстанцию.

Он — абсолютный дуалист. Спиноза — абсолютный антидуалист, то есть он полагает $A=B$, мыслящая и протяженная субстанция представляет собой одно и то же... Лейбниц устраняет совсем Б и устанавливает только А...

Французы („Система природы“) устраняют совсем А, то есть духовное, у них только Б, то есть материя, чисто внешнее; у них тождество, возникающее вследствие гибели всего духовного.

Кант и еще решительнее Фихте сводят Б к А. У Фихте тело, внешний мир не имеет не только идеального, но вообще никакого существования. Идеальное не выступает то субъективно (в нас), то объективно (вне нас), но всюду только субъективно. Это идеализм в его высшей ступени, крайней односторонности...

Я отличаюсь а) от Декарта тем, что не утверждаю абсолютного дуализма, исключаящего тождество; б) от Спинозы тем, что не утверждаю абсолютного тождества, исключаящего любой дуализм; в) от Лейбница тем, что реальное и идеальное (А и Б) не растворяю в одном идеальном (А), но утверждаю реальную противоположность обоих принципов при их единстве; г) от собственно материалистов тем, что духовное и реальное не растворяю целиком в реальном (Б). Последнее, впрочем, относится только к наиболее одухотворенным материалистам — гилозоистам. У собственно французских материалистов А исчезает совсем и остается только Б (атомисты и механисты), это полная противоположность Фихте, который оставляет только А; д) от Канта и Фихте тем, что я не полагаю идеальное только субъективно (в Я), напротив, идеальному противопоставляю нечто вполне реальное — два принципа, абсолютным тождеством которых является бог».

Шеллинг считает свою философскую систему всеобъемлющей потому, что она включает и природу, и бога, и человека. В большинстве предшествующих учений нет природы, а его система «частично в этом отношении может быть названа натурфилософией». И в 1810 году Шеллинг видит свою заслугу в том, что уделил достаточное внимание философским проблемам естествознания!

Что касается бога, то знание о нем Кант вывел за пределы философии,

Шеллинг совершает противоположную акцию. Вместе с тем он не превращает философию в богословие. Для теологии бог — особый предмет изучения, для философа — всего лишь высшая основа сущего. Как возможно знание о боге? Никак! Существование бога доказать невозможно, да в этом и нет необходимости. Нужно ли геометру доказывать существование пространства?

Вторая встреча состоялась 22 февраля. Затем последовал долгий перерыв, только летом Шеллинг смог вернуться к беседам: с 16 до 24 июля он провел 6 собеседований. Шеллинг говорил об отношении природы к богу. Многообразие природных вещей — следствие дифференциации изначального тождества. При этом тождество не исчезает, не устраняется, появляющиеся новые различия носят количественный характер (хотя различие между реальным и идеальным качественного порядка). Реальное ниже по своему «достоинству», но оно зато «первично». Шеллинг говорит о трех периодах самооткровения бога. Первый период, когда абсолютное ограничивается реальным, второй период — когда реальное переходит в идеальное, третий — когда снова снимаются все различия.

Процесс творения — самоограничение бога. («В уменье себя ограничить проявляется мастер», — цитирует Шеллинг Гёте.) Происходит это по свободной воле бога. Значит ли это, что мир возник случайно? Нет, не значит: абсолютная свобода представляет собой абсолютную необходимость, ни о каком выборе при свободном волеизъявлении речи быть не может. Проблема выбора встает там, где имеет место сомнение, где воля не прояснена, а следовательно, не свободна. Кто знает, что ему нужно, действует, не выбирая.

Согласно традиционным представлениям — бог «готовая и неизменная» первосущность и личность. Пантеизм отождествляет мир и бога. Согласно Шеллингу бог — единство противоположностей. Это и личность и сам мир. В боге две «первосилы» — эгоизм и любовь. Эгоизм — реальное в боге, любовь — идеальное. Любовь — преодоление эгоизма, отдача себя другому, сама по себе любовь существовать не может. Вот почему божественная любовь, преодолевая божественный эгоизм, творит мир, свое другое. Стоит обратить внимание на эти формулировки: мы встретим их у Владимира Соловьева.

Если бог представляет собой личность, то ему присущи атрибуты человеческой личности — становление и развитие. Значит, у бога (мира) было начало? Начало было, но только не во времени, потому что время содержится в боге, в универсуме. Времени самого по себе вне предметов не

существует. Каждый предмет (не говоря уж о боге) содержит время в самом себе.

Бог творит самого себя. Всякое живое бытие начинается с бессознательного состояния. То же самое и бог. «Темное, бессознательное, то, что бог как сущность постоянно пытается вытеснить из своей глубины и исключить, есть материя (пока еще не сформировавшаяся), материя есть не что иное, как бессознательная часть бога. Но исключая ее из себя, с одной стороны, он пытается, с другой, снова привлечь ее к себе, возвысить, преобразовать в высшую сущность, из бессознательного вызвать сознание».

Это место достойно внимания. Свидетельствует оно о том, что Шеллинг, распрощавшись с натурфилософией, все же сохранял природоведческую закалку, в своем спиритуализме оставался натуралистом. Признавая тождество двух потенций — материальной и духовной, он начинал процесс их становления с материи. Бог Шеллинга изначально материален и бессознателен, сознание существует в нем лишь как потенция. Замените бога природой, и отпадут здесь все возражения. В конце концов дело не в терминах.

Историческая дистанция обостряет зрение. По прошествии полутора веков мы можем беспристрастно и по достоинству оценить учение Шеллинга. Как пантеист он близок к Спинозе, отличаясь от него лишь большей диалектической гибкостью мысли. И еще одна известная нам особенность отличает Шеллинга — поэтическая необязательность формулировок.

В «Штутгартских беседах» она заметна в натурфилософском разделе. Шеллинг говорит о четырех элементах, которые еще в древности считались первоосновой мира и «к которым возвращается новейшая химия». Прежде всего это материальный принцип земли, «называемый углеродом». Распадаясь, он превращается в идеальное, в воздух.

Живое тождество того и другого — огонь. «Всякая вещь обладает внутренним теплом. Но когда элемент вступает в противоборство с продуктом, возникает пожирающий огонь. Огонь — враг своеобразия и самости». Отрицание огня — вода, негативный элемент, возникающий из противоборства продукта и производительности. «Вода — объективное пламя». Затем Шеллинг вспоминает о «пятом элементе древних — праматерии, где продукт равен производительности, новейшая физика называет его азотом». К этим пяти элементам можно свести все качества материи. «Качество — это в покое застывшая деятельность».

Шеллинг говорит далее о динамическом процессе и его проявлениях

— магнетизме, электричестве, химических реакциях. И снова повторяет свой тезис о противоречивой природе света: «Ни ньютоновская гипотеза, которая превращает свет в солнечную эмиссию материи, ни эйлеровская, выдающая свет за колебания эфира, а, следовательно, превращающая его в чисто механическое явление, не соответствуют действительности. Свет представляет собой позитивное материальное противоречие, в этом смысле духовную материю». Выше мы отмечали плодотворность подхода Шеллинга к природе света. Поэзия в науке иногда оказывается нелишней.

Переходя к органической природе, Шеллинг опять строит триаду: растение, животное, человек; соответственно — вертикальное, горизонтальное и универсальное положение организма. Общая тенденция мирового целого — «чтобы природа перешла в духовное». Три ступени усложняющихся животных инстинктов говорят именно об этом: инстинкт самосохранения, способность предвидеть и действовать соответствующим образом, способность к определенному характеру (лисы хитрость, мужество льва и т. д.).

Человек — связующее звено двух миров, естественного и божественного, природы и духа. Но человек не оправдал свое предназначение: он должен был подчинить природу духу, а получилось наоборот — природное, материальное начало господствует над человеком, материя превращается в бога. Виною всему — свобода человека.

Провал миссии человека замечен прежде всего в его взаимоотношениях с природой: разрушена жизнь природы как целого. Во-вторых, об этом свидетельствует наличие зла. В-третьих, факт смерти, человек умирает потому, что нет гармонии между природой и духом.

Ничто так ярко не говорит о преобладании в человеке материальной, физической природы, как существование государства. Человек живет не в одиночестве. Сообщество свободных существ возможно только в боге, природный вариант единства — государство. Разумное государство неосуществимо. Ссылаются на Платона, все дело, однако, в том, что его идеальная республика скорее всего шутка: попробуйте осуществить его рекомендации! Французская революция и Иммануил Кант мечтали создать государственный строй с возможно большей свободой для личности. А что получилось? Тот, кто продолжает разрабатывать принципы совершенного государства, невольно становится теоретиком деспотизма. (Такова судьба Фихте с его проектом замкнутого торгового государства.)

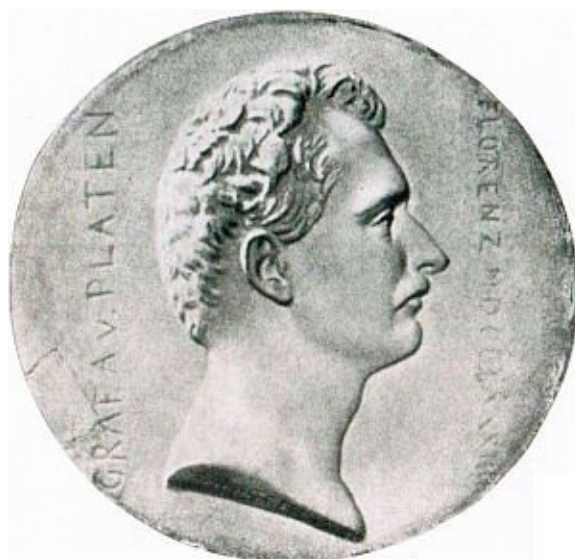
Из факта существования государства с неизбежностью вытекает война. И она будет существовать до тех пор, пока род людской не станет благороднее.



Шеллинг (литография).



Шеллинг (медальон 1834 г.).



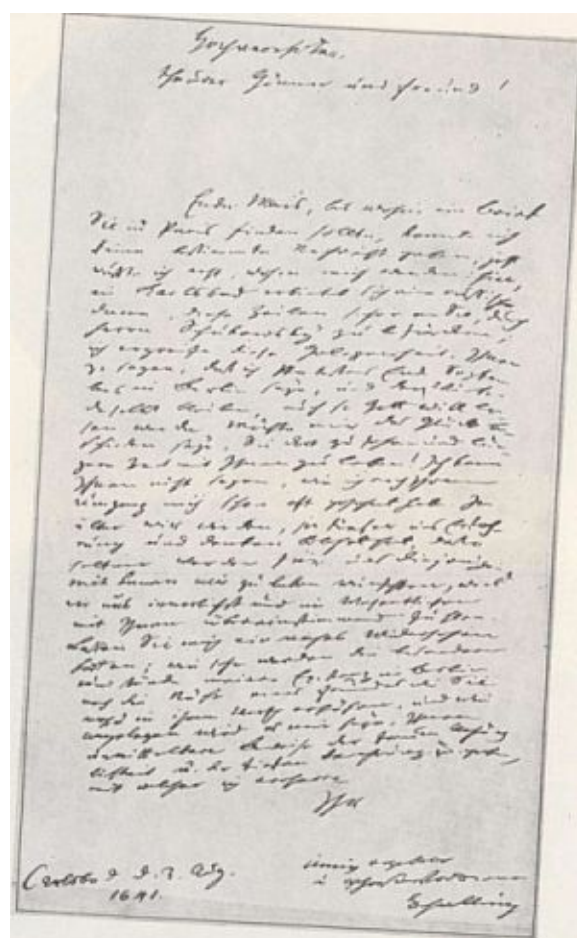
Август Платен.



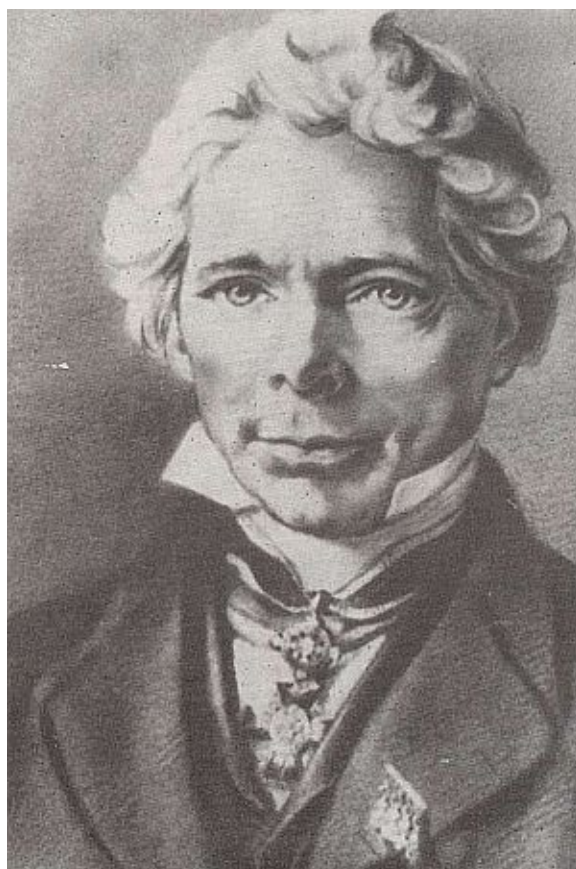
Паулина Шеллинг.



Рыночная площадь.



Письмо Шеллинга А. Тургеневу.



Шеллинг в 1842 году. Рисунок К. Клебера.



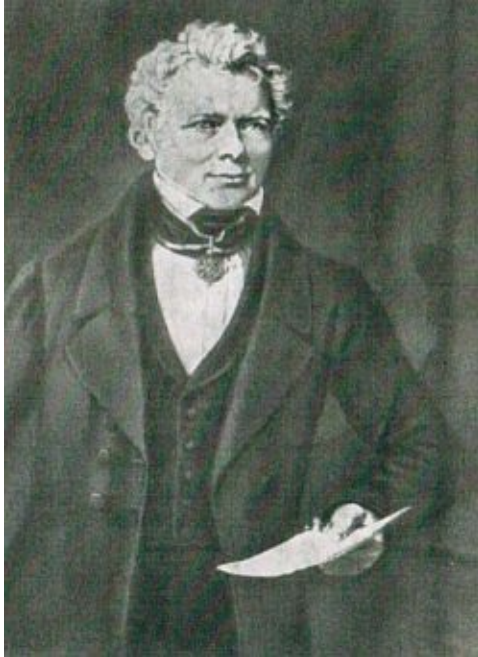
Шеллинг в 1842 году (литография).



Шеллинг (рельеф).



Шеллинг в 1844 году. Рисунок Ф. Крюгера.



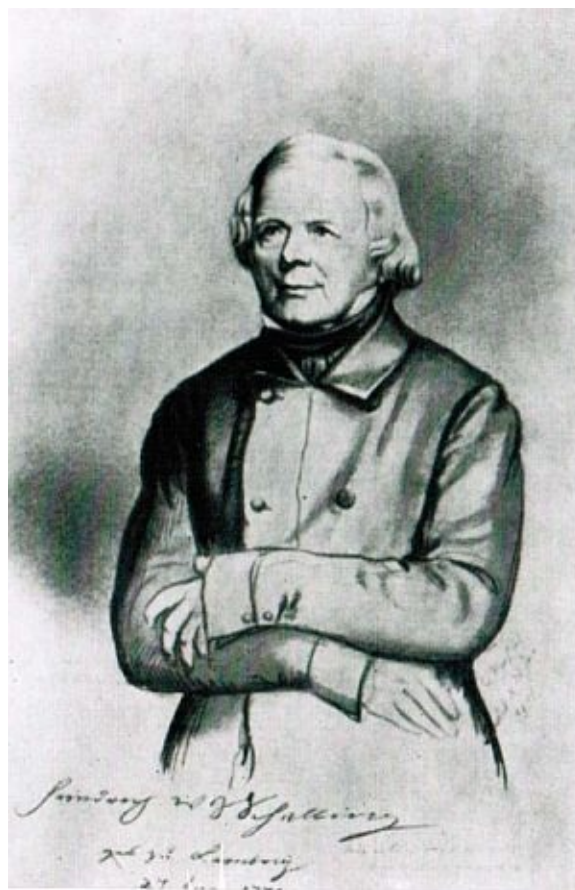
Шеллинг в 1843 году. Портрет работы К. Вегаса.



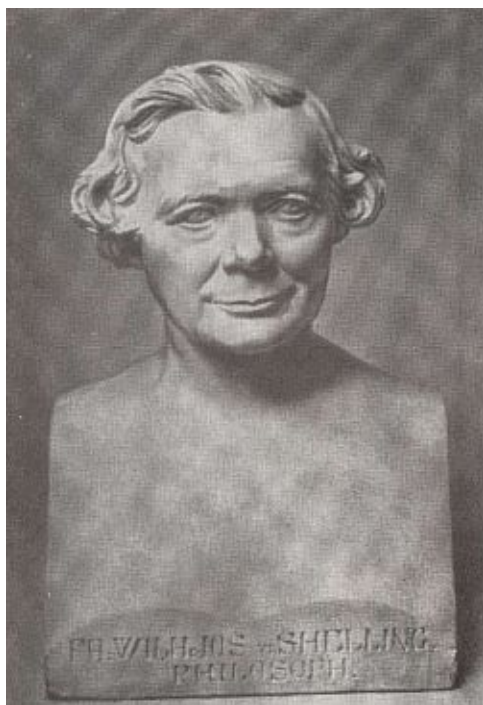
Шеллинг в 1846 году (литография).



Шеллинг в 1850 году. Рисунок И. Кайзера.



Шеллинг в 1851 году. Рисунок К. Фогеля.



Шеллинг. Скульптура И. Хальбига.



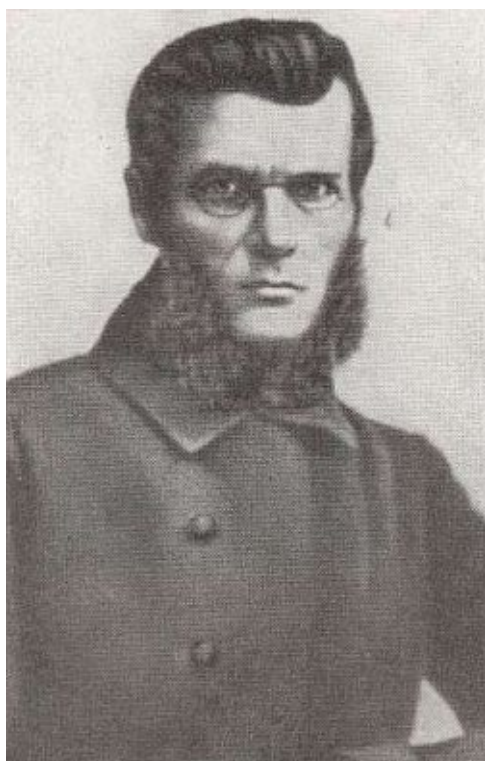
Надгробный памятник.



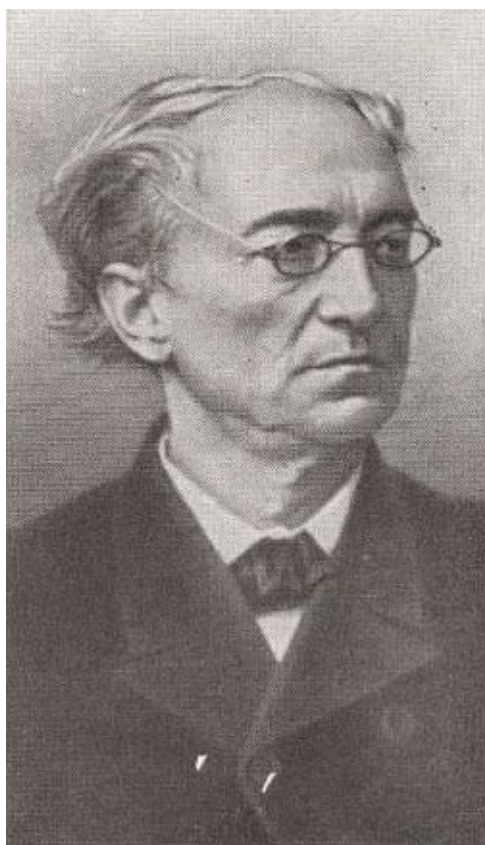
П. Я. Чаадаев.



В. Ф. Одоевский.



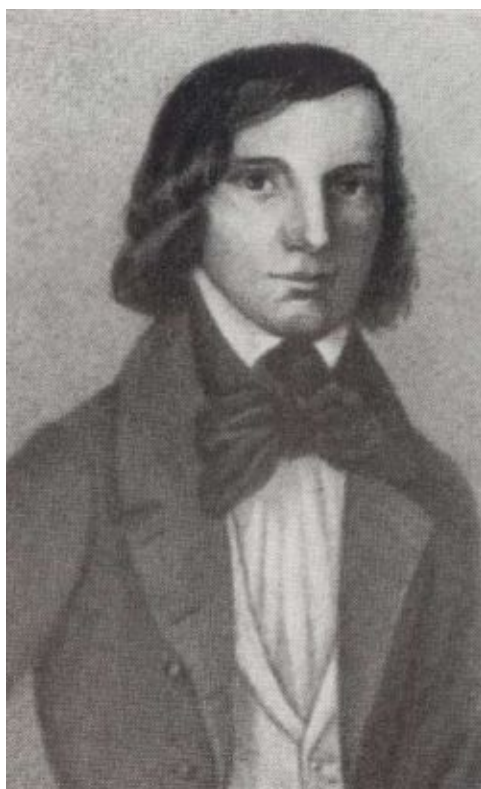
И. В. Киреевский.



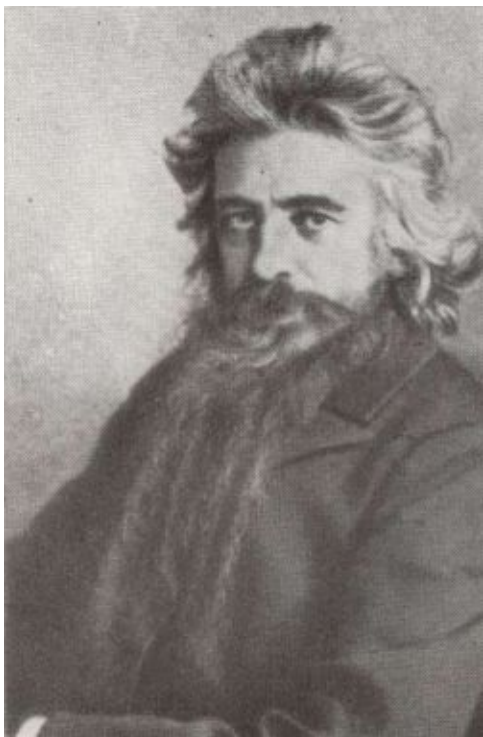
Ф. И. Тютчев.



Д. В. Веневитинов.



Н. В. Станкевич.



В. С. Соловьев.



А. А. Григорьев.



Памятник Шеллингу в Мюнхене.

Десять лет назад в «Системе трансцендентального идеализма» Шеллинг вслед за Кантом считал возможным достижение вечного мира путем договора между государствами. Наполеоновские войны настроили его пессимистически. Юношей он мечтал о свободе для своей страны. Но вот пришли в Германию французы и поработили ее во имя свободы. Немудрено, что свобода ему кажется сопряженной со злом.

Последнюю беседу Шеллинг посвящает духовным способностям человека. Их три, по его мнению, — нрав, дух, душа. Нрав формируют влечения и чувства, это «темная», неосознанная сторона психики. Дух подчинен сознанию, здесь властвует рассудок. Высшая духовная потенция человека — душа. Сюда относятся искусство, философия, мораль, религия.

Новым для Шеллинга является взгляд на искусство как на низшую ступень по сравнению с философией. Рассматривая последнюю, Шеллинг ставит вопрос о соотношении рассудка и разума, отвечая на него иначе, чем прежде. Теперь он считает, что в принципе это одно и то же. Рассудок больше связан с личностью, разум надперсонален. А высший принцип

морали звучит, по Шеллингу, так: действуй не как личность, исключи из поведения все субъективные влияния, поступай как всеобщее существо. Такого рода поведение достигается в религии.

Смерть не убивает дух и душу. Личное начало после смерти усиливается, крепнет; духовное и физическое со временем снова найдут друг друга и сольются воедино, и это будет последний акт мировой истории, эпоха воскресения мертвых и Страшного суда. Бог станет повсюду, пантеизм найдет свое полное воплощение.

«Шеллинг вернул бога миру, откуда его изгнали своим умничаньем ученики Канта», — писал королю Вюртемберга куратор Тюбингенского университета Вангенгейм, участник «Штутгартских бесед». Осенью 1811 года возникает профессорская вакансия в Тюбингене. Решено предложить ее бывшему воспитаннику богословского факультета. Королю подана соответствующая петиция с изложением основных идей системы Шеллинга, с описанием его славы и заслуг, в частности перед верой в бога.

Так думают, однако, далеко не все. Широко распространено мнение — Шеллинг еретик и вольнодумец, чуть ли не атеист. Поэтому король отказывается утвердить его кандидатуру, мотивируя свое решение следующим образом: «Даже если основоположения и система Шеллинга могут быть для мыслящего человека неопасными и даже привлекательными, я все же сомневаюсь, что его примут наши теологи и их многочисленные приверженцы, и назначение его в главное учебное заведение королевства обойдется без большого скандала. Есть предрассудки, которые заслуживают уважения, опасно делать толпе добро против ее воли».

Ортодоксия, безусловно, имела основания не принимать Шеллинга. Веря в бога, он интерпретирует эту идею по-своему, сохраняет независимую позицию.

Почти одновременно со «Штутгартскими беседами» возникает диалог «Клара». Шеллинг писал его для себя, для личного успокоения. Это скорее художественное, нежели научное произведение, философская фантастика. Где-то ближе к концу диалога у Шеллинга появляется потребность обосновать правомерность избранного им жанра, и он делает выпад против... «Феноменологии духа».

Работа Гегеля, разумеется, не названа, просто речь идет о том, что «вышла философская книга, которая, обладая рядом достоинств, написана совершенно непонятным языком и напичкана, так сказать, всяческим варварством... Нужны ли эти ужасные искусственные слова? Нельзя ли то же самое сказать общепонятным человеческим образом? Должна ли книга

стать неудобоваримой, чтобы быть философской?». Глубина и темнота изложения — разные вещи. Самое глубокое можно излагать предельно ясно, на языке народа. «Язык народа существует от века, а искусственный язык школы создан вчера». Ныне в философской аудитории можно встретить и женщин. Неужели у автора нет возлюбленной, с которой он хотел бы поделиться мыслями? А если он может подобрать для нее понятные слова, почему бы не донести их и до народа?

Клара, участница диалога, спрашивает: почему философ не может записать и издать разговор, который он ведет на научную тему в обыденной жизни? Да потому, отвечает другой участник диалога, что сразу посыплются обвинения в поверхностности, в том, что внутреннее подчинено внешнему. «Я уже слышу крики: смотрите, какой гермафродит, помесь романа и философского диалога». (Помните в «Феноменологии духа» — «ни рыба, ни мясо, ни поэзия, ни философия».)

Я знаю, продолжает Шеллинг, несколько прекрасных романов, которые могли бы носить название моральных диалогов и не посрамили бы такое название своим содержанием. Не склоняется ли вообще роман, ведущий жизнь между эпосом и драмой, к диалогическому началу? Правда, роману противопоказано единство места и времени, а в философском диалоге это единство представляется обязательным. Впрочем, внешнее единство может быть заменено внутренним. Надо попробовать. Жизненность той или иной художественной формы проверяется только в деле.

И Шеллинг пробует. Он убежден в том, что плох тот философ, который не в состоянии изложить свои взгляды любому мало-мальски образованному существу, а если нужно, то и способному ребенку. (Помните, как разжевывал старательно Шеллинг свои идеи штутгартским собеседникам.) «Куда приведет наш сегодняшний разрыв между учеными и народом? Воистину я вижу то время, когда народ, которого все больше отстраняют от высших материй, заговорит о них и скажет: вы должны быть солью нации, почему же вы кормите нас пресной пищей? Верните нам огненное крещение духа».

Шеллинг пытается говорить языком народа. И верить его верой. Есть в «Кларе» наивная притча — ключ к диалогу. У жены лавочника умирал ребенок. Доктор ничем не мог помочь. Соседи убеждали ее дать обет святому Вальдериху, который уже многим помог. Но как она, добрая лютеранка, даст обет католическому святому? Больному становилось все хуже: и однажды доктор сказал, что он пришел в последний раз: ночью ребенка не станет. Тогда вознесла она свои молитвы к святому Вальдериху и дала обет. Утром ребенку стало лучше...

Вот так и Шеллингу хочется верить. Щерить в то, что не исчезла совсем его Каролина. В «Кларе» нет о ней речи, но имя Клара созвучно Каролине (своих дочерей Шеллинг назовет потом Каролиной и Кларой). Клара рассказывает о смерти своей подруги так, как описывал Шеллинг кончину своей жены. И как он вместе с Каролиной в «Ночных бдениях» изобразил смерть вольнодумца: «Когда приблизились к ней тени смерти, произошло небесное преображение всего существа, мне казалось, что я никогда не видела ее столь прекрасной, как в момент ее исчезновения, я никогда не думала, что в смерти может быть столько прелести, мелодичные звуки ее голоса звучали, как небесная музыка».

И все же профессору Шеллингу, члену двух мюнхенских академий, простой народной веры мало. В глубине своей души он рационалист, и он должен рационально обосновать возможность личного бессмертия. Он не ссылается ни на какие авторитеты, религиозные или светские, логикой своих рассуждений, исходя из посылок своей системы, он пытается убедить, уговорить себя: жизнь вечна, душа продолжает жить, а дух не может существовать сам по себе, без материальной оболочки...

Шеллинг не собирался печатать свой диалог, он никому о нем не рассказывал. Только иногда в письмах проскальзывают мысли из «Клары». Так, на пасху 1811 года он пишет Георгии: «После смерти Вашей любимой супруги не стало ли Вам яснее значение телесного начала? Я всегда старался не принижать телесное в отличие от того, как поступал всегда и продолжает ныне идеализм, но в данном случае существо дела предстает в совсем ином плане. Мы не можем довольствоваться лишь всеобщим бессмертием наших умерших, мы хотим сохранить всю их личность, не потерять ничего, даже самого малого из того, что к ней относилось».

Какая злая, страшная ирония судьбы! В «Ночных бдениях» не знавший горя Шеллинг потешался над Новалисом, который тосковал по умершей возлюбленной и пытался реально представить себе общение с потусторонним миром. «Парочка откормленных червей», «пепел», «ничто» — вот что остается от человека, говорил Шеллинг в «Ночных бдениях». Теперь пришла его очередь поверить в жизнь за могилой. Вспоминать о том, как богохульствовал он в молодости и как жестоко судьба наказала его за это, было, видимо, неприятно. Немудрено, что когда однажды, много лет спустя, Шеллинга спросили об авторстве «Ночных бдений», он резко отрезал: «Не говорите мне об этом». (Так говорят, когда больно вспоминать о чем-либо. Для того чтобы отказаться от авторства, достаточно было сказать «нет».)

Шеллинг уверовал в бессмертие и при этом сохраняет свою

оппозицию идеализму. Как совместить противоположные позиции? Такова диалектика истории мысли. В Германии в XVIII веке существовало целое философское направление, сочетавшее естественнонаучный материализм с учением о личном бессмертии: душа состоит из материальных атомов и именно поэтому вечна и нетленна. Шеллинг был убежден в нерасторжимости духа и материи.

Помимо литературной работы, помимо чтений, есть у него теперь еще одно, пока слабое, успокоение — переписка с Паулиной Готтер. Дочь близкой подруги Каролины, она прислала ему одно из первых соболезнований. Она называла его женой своей второй матерью. «Мне кажется, полмира обрушилось, такая беда, такая боль, время не заглушит ее, она останется навеки. Но я не должна расстраивать Вас собственным горем. Простите меня и, если можете, дайте о себе знать. Наша любовь к ней объединяла нас, теперь нас связывают воспоминания».

Он ответил: «Пусть нас объединит наша память. Я не стану чувствовать себя совсем одиноким: кто любил Каролину при ее жизни, после ее кончины сохранит для меня чувство дружбы. Не считите нескромностью мою просьбу, чтобы Вы не только думали обо мне с сочувствием, но и писали бы мне так часто, как можете. Я буду отвечать, и если сознание нашей боли способно нарушить покой блаженных, то Каролина будет Вам благодарна за все, что Вы делаете для покинутого, за каждое слово успокоения, которое от Вас придет».

И вскоре пришло новое письмо Паулины: «Всегда утешает и успокаивает, когда в другой груди находишь свою боль и свою любовь, когда чувствуешь, что тебя поняли. Ваша печаль, Ваша любовь к женщине, которую Вы боготворили, — бальзам на наши раны. Ах, как хочется поговорить с Вами, оплакать ее общими слезами, услышать из Ваших уст рассказ о ее последних часах. Какое блаженство говорить *о ней*, когда уже навеки невозможно говорить *с ней*. Не надо восставать против высших предначертаний. И разве не живет в нас счастье, что мы ее знали и были ею любимы, ее образ, память о ней также глубоко в нашей душе, как и боль, что мы ее потеряли. Но последнее — только в нашей короткой жизни, а первое вечно, никакая сила на земле, никакое божество не в силах лишить нас этого».

Паулина находила как раз те самые слова, которые он повторял себе сам. И все же на этот раз он ей не ответил, и она сама напомнила о себе и их общем горе. «Вы не пишете нам больше, — писала она ему, — с октября нет от Вас никаких известий, и мы не знаем, как Вы себя чувствуете. Не оставляйте нас больше в неизвестности, память о нашей дорогой Каролине

тесно связана с мыслью о Вас. Ведь Вы — это самое дорогое для нее, что она оставила в этом мире. Если мы знаем о Вас, если мы получаем от Вас весточку, то мы чувствуем, что наша любимая рядом с нами, и все, что мы потеряли, кажется, возвращается к нам, и мысль о ее смерти нас не ранит так больно».

Теперь он ответил сразу. Рассказал о своих делах, что он не мог оставаться в своей квартире в Мюнхене, поэтому уехал в Штутгарт, что здесь у него родные, два брата и сестра, что он живет за городом и постепенно возвращается к своим делам. «Примите друга по-дружески, он снова обретает себя, хотя и не преодолел боль, но взял себя в руки. Дайте услышать мягкую мелодию Вашего голоса (поет ли Паулина?) — и помогите обрести ему то состояние, которое достойно святого чувства, которое останется навеки, притупится, не переставая быть болью».

Он видел Паулину только один раз, девочкой; плохо помнил ее; теперь это барышня, она дружна с Гёте. Шестидесятилетний поэт влюблен в ее подругу Сильвию Цигезар, впрочем, передают, что он и Паулине оказывает знаки внимания. В год смерти Каролины вышел его роман «Избранное сродство», идею для романа дала история их любви. На Шеллинга роман произвел сильное впечатление еще и тем, что нашел он там близкие ему мысли о власти судьбы над человеком: напрасно разум, добродетель и долг преграждают ей путь, она всегдастоит на своем. Шеллинг спрашивает Паулину, какого она мнения о романе Гёте, что думает о романе автор, как и когда он его написал.

Ответ ее задерживается, и он беспокоится, не пропало ли его письмо, и отправляет новое, короткое. А ответ уже в пути. И опять слова о Каролине, волнующие его: «Не живет ли еще Каролина? Не живет ли она самым настоящим образом в ваших сердцах? В них отражаются ее взоры, и ее полная любви душа обосновалась именно там, и погибнет она только с нами».

Паулина рассказывала о домашних горестях и радостях. Она живет сейчас в семействе Цигезар. Здесь бывает Гёте. Он мил и любезен, тепло говорил о Каролине и посылает привет Шеллингу. Относительно «Избранного сродства» она может сказать многое, но боится показаться нескромной, письмо и так вышло слишком большим...

Их переписка продолжается. Иногда с перерывами, но все же каждый из них в курсе событий другого. Наступает годовщина смерти Каролины. Паулина отправляет ему очередное сочувственное письмо, а у него новое потрясение ровно через год после смерти Каролины от дизентерии в Мальбронне умирает ребенок его сестры, малютка, которую он нежно

любил. Пройдет еще год, та же болезнь унесет брата Каролины, Филиппа Михаэлиса. (Его сына Шеллинг хотел взять на воспитание, мальчик, однако, попал в другие руки.)

Настроение у Шеллинга мрачное; помимо личных бед, он остро переживает судьбу родины: после военных поражений в Германии царит духовная депрессия. «Все мчатся в пропасть; жрите и пейте, слышно повсюду, завтра нас не будет!» Это из письма Шеллинга художнику Вагнеру. Сентябрь 1810 года.

В октябре он вернулся в Мюнхен. Ему сняли новую квартиру, и по странному стечению обстоятельств — ту самую, которую когда-то облюбовала Каролина, но хозяин дома не мог тогда ее им предоставить, а теперь она свободна. Шеллинг послал Паулине и ее сестрам на память о Каролине ее вещи — платье, серьги, шаль. Паулина взяла себе шаль.

В каждом письме она упоминает о «старом господине», о Гёте. Он подарил ей свою новую книгу «Учение о цвете», пусть она поищет там что-нибудь интересное для себя; потом он написал ей, что она, наверное, его проклиняет и давно бросила книгу в огонь, этот подарок сделан в наказание за ее грехи. Она провела день в Веймаре, и Гёте пригласил ее в театр. Спектакль был скучный, в результате они могли весь вечер болтать. «Он был мил и любезен, как обычно, только оживленные уверения в его склонности ставят меня в неловкое положение, так как я понимаю, что дело не во мне, а в случайном стечении обстоятельств».

Другой раз она рассказала, как в гости к ним с Сильвией приехал Гёте и привез своего друга Кнебея, который еще старше его. Барышни принарядились и приукрасились, стариков это тронуло: наши ноги не танцуют, но зато сердца, — сказано было при прощании. Гёте при встрече всегда говорит ей: «Милое дитя, в твоём присутствии я молодёю на двадцать лет!»

Из других источников мы также знаем, что девица Готтер напропалую кокетничала с Гёте, ей импонировали его ухаживания. Только зачем она рассказывает о них Шеллингу? Объяснить это детской непосредственностью трудно: ей уже 22 года. Философа ее нехитрые уловки не трогают. Она получила в подарок от Гёте учение о цвете, ну что ж, было бы прекрасно услышать ее мнение о книге. Сам он заканчивает работу, над которой размышлял много лет.

...Начало работы над «Мировыми эпохами» зафиксировано в дневнике — ночью 15 сентября 1810 года. Он только что закончил «Клару», а может быть, еще работал над ней: среди первых черновиков нового произведения есть и набросок продолжения уже законченного диалога.

«Мировые эпохи» должны осуществить ту программу, которую он декларировал в «Кларе», — писать для народа. В одном из писем он назовет «Мировые эпохи» своей «популярной философией». Шеллинг ставит перед собой вопросы, которые могут волновать каждого. Что сейчас происходит? Что было в прошлом? Что ждет нас в будущем? Прошрое мы знаем, настоящее исследуем, будущее предчувствуем. Соответственно — три мировые эпохи. Его ТРУД будет состоять из трех книг — о прошлом, о настоящем, о будущем. Весной 1811 года он правил корректуру первой книги.

Во введении он излагает общие принципы — следовать не развитию понятий, внутренне присущему науке, а развитию самой действительности. Задача философа, обращающегося к прошлому, аналогична задаче историка. «Если в историке не проснутся те времена, картину которых он хочет нам передать, то она никогда не выйдет наглядной, живой, истинной. Что было бы с историей, если бы ей на помощь не приходило внутреннее чувство?» Так и с философией. У истории природы есть свои памятники, свои живые картины, философ вживается в них.

Но «мы живем не только созерцанием, наше знание состоит из кусочков, то есть должно быть создано путем расчленения и градации». В созерцании нет рассудка. А он необходим для познания. Всякая вещь представляет целую совокупность процессов. Узреть их невозможно. Крестьянин смотрит на растение, как и ученый, но знает о растении меньше, чем ученый.

Поэтому для познания мало внутреннего чувства, нужны внешние средства, которые философ находит в диалектике. «Каждая наука должна пройти сквозь диалектику», хотя последняя еще пока не стала наукой. У Платона многие работы пронизаны диалектикой, но вершина его творчества исторична, то есть содержит непосредственные воспоминания о начале вещей.

У Шеллинга снова возрождается интерес к диалектике понятий. К сожалению, диалектику он противопоставляет историзму. И поэтому оказывается в тупике. Его труд полон исторического пафоса, но одного пафоса философу мало. Ему нужна и строгая система понятий, у Шеллинга мы ее не найдем.

Первая книга «Мировых эпох» посвящена прошлому. Как часто можно слышать: существует то, что уже было, ничего нового не происходит, ничто не ново под Солнцем. Но всегда ли было Солнце, возражает Шеллинг, и будет ли оно всегда? Шеллинг говорит о «системе времен», и его интересует, как возник этот мир, в котором мы живем. Познать настоящее

можно, только зная прошлое, и тогда окажется возможным заглянуть в будущее.

Окружающий нас мир древен, но не вечен. Планета Земля, безусловно, старше живущих на ней растений и животных. А последние старше рода людского. Все создано временем. Проблема развития, одно время исчезнувшая из поля зрения Шеллинга, теперь снова возвращается в его философию.

Возвращается и еще одно забытое «пристрастие», — интерес к проблеме материи. Шеллинга интересуют материальные процессы развития. Высказав свою привычную точку зрения философии тождества («природа и духовный мир происходят из общего среднего пункта, одного и того же первоединства»), он называет изначальное тождество не «разумом» (как это было в работе «Изложение моей философской системы»), а «материей». Речь идет о том, что «самовоспроизводящую первоматерию нельзя противопоставлять духу, она может быть только одушевленной материей... В материи даже чисто телесных вещей находится внутренний центр преобразования». И Шеллинг воздает хвалу реалистической (материалистической) позиции:

«Если обратиться к глубокому прошлому, то реализм бесспорно имеет преимущество перед идеализмом. Кто не признает приоритета реализма, тот хочет иметь развитие без предшествующего развития, плод и цветок без твердого стебля. Так же как бытие есть сила и прочность вечности, так реализм — сила и прочность философской системы».

Три раза набирали текст «Мировых эпох», трудно сказать, сколько раз его перерабатывал автор. Но и в первом, и в последнем вариантах мы находим процитированный абзац. Изменен контекст, но мысль осталась без изменений. И она очень важна.

Одновременно с «Мировыми эпохами» возникала гегелевская «Наука логики». Гегель решал ту же задачу, что и Шеллинг, — философское осмысление процесса развития. Решал последовательно идеалистически. Он построил систему понятий, положив в основу принцип восхождения от абстрактного к конкретному, начал с самого абстрактного понятия — «бытие» и выстроил за ним цепочку все более содержательных понятий. И сказал — вот логическая схема исторического процесса, логика повторяет историю!

Возражение против гегелевской схемы было готово еще до того, как

«Наука логики» увидела свет. В «Мировых эпохах» Шеллинг размышляет над тем, с чего должна начинать философия. Абстрактного, пустого «бытия» быть не может, у бытия должен быть носитель. Вот почему Шеллинг критикует идеализм и воздает хвалу реализму. Но проблема соотношения истории предмета и его логики оставалась нерешенной.

Задачу решил Маркс. Он дал ответ на вопрос о связи между движением категорий и реальным путем истории. Надо отметить, что, соотнося историческое и логическое, мы вкладываем в первый термин два смысла: в одном случае мы обозначаем им развитие объекта, в другом — развитие его познания.

В реальной истории нет «начала», движение здесь идет не от абстрактного к конкретному, а от одной конкретности к другой. Здесь мы сталкиваемся с иной последовательностью категорий (реальных отношений), чем в движения понятий, раскрывающих структуру развитого, «ставшего» объекта. Исторически, например, земельная рента, торговый, ростовщический капитал предшествовали промышленному капиталу, но в структуре сложившегося буржуазного общества доминирующую роль играет последний, и с его анализа начинается движение мысли в «Капитале». «Было бы недопустимым, — писал К. Маркс, — брать экономические категории в той последовательности, в которой они исторически играли решающую роль».^[8] Отношения, которые играли важную роль при возникновении явления, затем превращаются в побочные формы его проявления. Происходит своеобразное «перевертывание» исторической последовательности категорий. Исторически предшествующее становится логически последующим. Может быть, логика совпадает с историей познания предмета? Нет, и здесь можно лишь условно говорить о совпадении логического с историческим, имея в виду общую тенденцию знания к большей полноте, большей конкретности. История познания никогда не начинается с абстракций. Начало всегда конкретно. Это либо конкретное чувственное представление, либо конкретная совокупность понятий, которая затем усложняется. Абстракции вырабатываются в ходе развития науки. Построив систему понятий по принципу перехода от абстрактного к конкретному, мы решаем методологическую и коммуникативную задачу, но не отражаем реальной истории — ни предмета, ни знания о нем. Так мы смотрим сегодня на проблемы, волновавшие Шеллинга и Гегеля.

Личное горе рождало желание уйти с ним от посторонних глаз, спрятаться. «Я все больше стремлюсь к уединению, будь на то моя воля, мое имя совсем исчезло бы», — признавался Шеллинг в одном из писем. Служебное положение вынуждало к прямо противоположному — необходимости бывать на людях, публично выступать, администрировать. И это возвращало его к привычной жизни.

Академия художеств готовилась к своей первой выставке. Заботы по ее организации легли на плечи генерального секретаря. Шеллинг составляет программу выставки, затем каталог ее и отчет о ней. По желанию кронпринца публикует анонимную рецензию о выставленных произведениях.

Выставка была приурочена к именинам короля, открытие ее состоялось 12 октября 1811 года. В ней принимали участие все местные знаменитости. Директор Академии художеств Петер Лангер выставил три картины — «Амур упрасивает Юпитера прекратить муки Психеи», «Афинская молодежь выбирает по жребию жертву для Минотавра», «Адам и Ева после грехопадения». Его сын Роберт Лангер, профессор академии, выставил также три картины мифологического содержания. О них должен был в первую очередь писать Шеллинг в своей рецензии.

Официальные восторги выпали на долю академического начальства. Между тем знатокам было ясно (да и из текста рецензии явствует), что подлинную живопись являла собой только одна картина — пейзаж Йозефа Коха. Шеллинг, разбирая эту картину, обнаруживает тонкое понимание живописи. Он сравнивает Коха с Клодом Лорреном. Французу удалось передать на полотне небо и воздух, немцу — землю, объемно и осязательно, он не уводит глаз в бескрайние дали, а останавливает его на переднем плане. «Отдельные предметы не исчезают в общем впечатлении от целого, последнее возникает из полноты и определенности отдельных предметов». Это как раз то, что Гёте называл в живописи «стилем».

В конце ноября выставка закрылась. Теперь на Шеллинга свалились новые заботы и неприятности. Его начальник по Академии наук Якоби выпустил в свет книгу «О божественно сущем», где выводил на чистую воду еретическую сущность философии тождества. Это как раз совпало с отказом вюртембергского короля санкционировать приглашение Шеллинга на должность профессора в Тюбинген. Создавалось впечатление, что книга Якоби отражает общее мнение: академик Шеллинг проповедует атеизм.

Шеллинг еще летом предчувствовал полемическую схватку. В письме к Паулине он сравнивал философа с воином, художнику значительно проще: он выставляет картину, отходит в сторону и спокойно ждет, пока не

возникнет контакт между произведением и публикой. «Ученый, который высказывает свое убеждение, должен отстаивать его, вкладывая в это свою личность. Мы, философы, в полном смысле слова воины на полях духа. Когда в мозгах беспокойно, нам не приходится думать о мире, и мы должны быть всегда в боевой готовности».

Теперь на него снова напали, и он, как в былые времена, лихо бросается в контратаку. Забрасывает все дела (даже свой «главный труд», над которым он непрестанно продолжает работать, — «Мировые эпохи»), забывает писать Паулине и в течение нескольких последних недель 1811 года сочиняет памфлет «Памятка к сочинению господина Ф. Г. Якоби „О божественно существе“». После Нового года он получил авторские экземпляры, в конце января книга поступила в продажу, произведя впечатление разорвавшейся бомбы.

Это суровая отповедь. (Последний всплеск полемического задора.) Якоби судит о «второй дочери критической философии» (первая — фихтевское «учение о науке»), не будучи с ней знаком. Якоби уверяет, что создатель натурфилософии не верит ни в бога, ни в бессмертие души. [(Это сказано про Шеллинга, который после смерти Каролины только и думал, что о бессмертии!) Якоби — лжец и фальсификатор. Что касается позитивной программы Якоби, то в его противопоставлении бога природе, веры знанию нет ни веры, ни знания. Это не вера, а суеверие.

Памфлет наделал много шума. Шеллинг резко выступил против своего начальника, потому что знал: при дворе к нему благоволят; он не опасался за последствия. И он не ошибся. В Академию наук назначают правительственного комиссара со специальными полномочиями. По сути дела, это почетное понижение Якоби в должности.

Общественное мнение разделилось. Все живо обсуждают случившееся. Критикуют Якоби за то, что он выступил против Шеллинга, не прочитав внимательно всех его работ, недовольны Шеллингом за грубый тон ответа. Якоби спора не продолжает. Гёте, который с ним на дружеской ноге, пишет ему, что недоволен его книгой. Как поэт Гёте политеист, как естествоиспытатель — пантеист. Гёте ближе к Шеллингу, но эсхатологические увлечения философа ему не по душе. «Вашего бога он не понял, — доносит Паулина Шеллингу слова поэта, — но что касается того бога, который мог бы радоваться старику Якоби и его двум сестрам, то это жалкий бог».

Переписка Шеллинг — Паулина продолжается. Письма становятся теплее, каждый зовет в гости другого. Шеллинг через брата (а тот через издателя Котту) наводит справки о Паулине. Шеллинга интересует прежде

всего состояние здоровья Паулины. Котта узнает все, что нужно, и спешит сообщить философу: по словам людей, на которых можно положиться, здоровье девицы Готтер в порядке, а по части нравственности и душевности — лучше не найти.

Шеллинг благодарит Котту за посредничество. Со всех сторон он слышит о Паулине самое хорошее. Вот только насчет здоровья вопрос остается неясным. Дело не в нынешнем ее состоянии, его можно выправить покоем и умеренностью, а в природных задатках, которые могут сыграть роковую роль. «Я знаю, драгоценный, любимый друг, что Вы не упустите возможность разузнать об этом подробнее. Я со многим готов примириться, но страдания и болезни любимого существа для меня непереносимы». Поговорите на этот счет с Гёте, если будете в Веймаре, просил Шеллинг Котту, Гёте хорошо знает Паулину, а сплетничать не станет.

Сплетни всегда неприятны. Кто-то пустил слух, что он намерен жениться на своей экономке. (Видимо, это сделал уволенный за нерадивость слуга, который рассчитывал на то, что экономка будет уволена, а его возьмут назад.) Экономка убедила Шеллинга в том, что она непричастна к сплетне, и была оставлена. Молодой вдовец, бездетный, с положением в обществе, Шеллинг — завидная партия. Сам он уже созрел для нового брака. Пора наконец увидеть Паулину.

Встретиться договорились на полдороге между Мюнхеном и Готтой (где живет Паулина) в Лихтенфельсе. Это глухая почтовая станция на саксонско-баварской границе, лежащая в стороне от магистральной дороги. Место выбрала Паулина. Шеллинг сначала заартачился, предложил другое место, где его друг профессор Маркус сможет обеспечить удобное жилье (нетрудно догадаться, зачем ему понадобился Маркус!). Но потом понял, что Паулина права: встречу пока лучше держать в тайне. В Лихтенфельсе их никто не знает. Если что, то никаких пересудов. «Я должен был учесть два обстоятельства, — пояснял потом Шеллинг брату, — во-первых, не скомпрометировать почтенное семейство и, во-вторых, по возможности сэкономить время (самое ценное для меня сейчас) и деньги».

Встреча произошла 28 мая 1812 года. Маркуса Шеллинг все же прихватил по дороге. Медицинского осмотра, разумеется, не было, да и необходимость в этом не возникла: опытным взором давно практикующего врача профессор Маркус сразу определил за внешней subtilностью Паулины здоровую натуру. Кроме того, он тоже наводил справки.

Паулина прибыла на смотрины с матерью и сестрами и вскоре уехала. Вот результат: «Из комнаты, где все еще дышит тобой, несколько мгновений спустя после нашего расставанья, пишу я тебе, моя жизнь, это

письме в твердой уверенности, что рука, которая лежит на бумаге, ляжет раньше в твои руки, чем написанные ею строки. Если оно придет после меня, ты увидишь по крайней мере, как я переживаю разлуку, и сможешь сравнить мои чувства с теми, которые обрушатся на тебя при встрече. Дитя мое милое, я надеюсь, что небо не даст мне долго страдать в одиночестве, которое, признаюсь тебе, мучит меня больше, чем я предполагал. Пришло время молиться, мои слова и мысли — непрестанная мольба о том единственном, что составляет теперь содержание моей жизни. Я тебе обязан своей верой в любовь, а это самое главное, и надеждой на чистую небесную любовь, которую на земле трудно себе представить».

Шеллинг вернулся в Мюнхен и быстро добился разрешения на брак. 11 июня в Готте сыграли свадьбу, а через три дня он пустился в обратный путь. В спешке не успел сообщить родителям подробности происшедшей в его жизни перемены и только через месяц описывал в письме к брату его новую родственницу: «Ей 23 года, она высокого роста, стройна, похожа скорее на произведение фантазии, чем продукт природы. Она не красавица, но есть у нее свое очарование во всем ее существе, которое завоевывает все сердца. У нее хрупкое здоровье, но никаких женских болезненностей, здоровые жизненные соки, хороший цвет лица, ровный и веселый нрав. В этом отношении ты можешь не беспокоиться, я брал на смотрины своего друга Маркуса, который, наведя справки, дал совет жениться и как врач поручился за мое счастье... Самое главное, и это признают все, у нее доброе сердце, и любит она меня искренней любовью. Я никогда не встречал такого сердца, в котором зло так мало пустило корней... К этому надо добавить полное совпадение наших мыслей, что необходимо для счастья, и поэтому я твердо уверен, что наш образ жизни будет построен по моему вкусу и моим склонностям, которые одновременно разделяет она. Ее воспитали для дома, и я надеюсь, что она хорошо будет вести мое домашнее хозяйство».

Когда судьба свела Шеллинга с Каролиной, он не думал ни о домашнем хозяйстве, ни о «женских болезненностях», не навел справки, не боялся пересудов, не размышлял. Теперь все было иначе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

МИФ КАК ФОРМА БЫТИЯ

Рассудок все опустошил.

Ф. Тютчев

Уверяя брата, что время для него самое ценное, что он страшно занят, поэтому спешил со свадьбой и не спешил уведомить о, ней родителей, Шеллинг не преувеличивал. Он был уверен, что наступил решающий момент его творчества, что он создает эпохальный труд, который подведет итог его философствованию, наметит новые перспективы, а главное, будет общедоступен. И нервничал оттого, что дело не клеилось. Такого с ним не было никогда.

Первоначально он собирался выпустить первую часть «Мировых эпох» весной 1811 года. Он настоял на том, чтобы Котта анонсировал книгу к пасхальной ярмарке. В апреле перед ним лежала корректура — 13 печатных листов. Но дальше верстки дело не пошло. Шеллинг передвинул дату окончания работы на июнь. В августе он утешал издателя (и себя) тем, что «такая книга (обширнейшая по содержанию и доступнейшая по форме из всего мной написанного) может только выиграть от затраченного на нее времени». В октябре — «От произведения „Мировые эпохи“ я не могу оторваться. Это плод любви, выношенный годами, мне не хватает только уединения. Но к пасхе определенно появится».

В ноябре ему пришлось оторваться от «Мировых эпох», чтобы ответить Якоби. Он думал отделаться брошюрой размером в лист; когда начал писать, полагал, что уложится в три; получилось тринадцать. Не беда, уговаривал себя Шеллинг, в нынешнем виде книга может служить прекрасным введением к «Мировым эпохам».

И он снова берется за свой главный труд, обещает его закончить к концу лета. Это 1812 год. В европейском воздухе пахнет надвигающейся военной грозой. Шеллинга увлекает новая идея — издание популярного «Всеобщего немецкого журнала для немцев». Нет, никакой политики здесь не будет. «Там, где вопрос решается иным оружием, оружием духа делать нечего», — поясняет он Котте. Он вообще-то хотел назвать свой журнал «Немецкий музей», да Фр. Шлегель упредил его, и уже объявил в печати о

таком журнале. Журнал Шеллинга рассчитан на широкого читателя, будет освещать философию, все другие науки, религию, искусство, литературу.

Его начинание в целом соответствует духу времени, способствует пробуждению национального самосознания. «Дать немцам связующий пункт, в современном разброде немецкой литературы создать место, где солидный автор мог бы высказаться во имя всеобщего блага, — такова главная цель журнала». Под этими словами стоит подпись издателя, но написал их Шеллинг.

Общедоступность он понимает по-своему. В первое номере журнала он публикует письмо к нему философа Эшенмайера по поводу его трактата о свободе и свой обширный ответ. Конечно, он излагает свои мысли проще, чем написана, скажем, «Феноменология духа», но, чтобы следить за ходом рассуждений, нужна немалая философская культура.

Нужно знать французский язык, чтобы оценить достоинства воспоминаний дочери Дидро о Своем отце. Каким-то образом рукопись попала в руки Шеллинга, и он публикует ее в своем журнале на языке оригинала. Он считает, что для Дидро характерна любовь к истине как таковой, «благодаря чему он внутренне ближе немецкому духу, как и внешне благодаря оригинальности, лапидарности и силе языка, чем какой-либо другой писатель его нации». Шеллинг мыслит национальными категориями, но чужд национальной ограниченности. Его народ воюет с французским императором, а не с французской культурой.

В течение 1813 года вышло четыре номера «Всеобщего немецкого журнала для немцев». Затем издание прекратилось, хотя духовная ситуация эпохи, казалось, должна была его стимулировать: Германия переживала эпоху национального подъема, освобождаясь от наполеоновского господства. Журнальные начинания Шеллинга, увы, недолговечны.

Между тем работа над «Мировыми эпохами» не прекращается. Она продвинулась так далеко, что в начале 1813 года потребовался новый набор первого тома. Шеллинг берет типографские расходы на себя. Первый том он планирует теперь в размере 30 листов. К пасхальной ярмарке все будет готово.

Пришла и прошла пасха, первый том лежит набранный в новом варианте, но конца работы не видно по-прежнему. Виновато теперь время, треволнения войны. В октябре он оправдывается: «„Мировые эпохи“ ждут, когда наступят лучшие времена. В этом году, заполненном войной, бурями и беспокойством, я не хотел выпускать их в открытое море, в 1814 году такие идеи будут восприниматься лучше, и тогда их больше не удержишь».

Новый год не принес ничего нового. Теперь речь идет о пасхе

пятнадцатого года. Шеллингу нужны деньги, он просит у Котты аванс и одновременно рассказывает о своих планах. «Мировые эпохи» будут в трех томах, первый — 30 листов, второй — 40, третий — 30. Сначала он опубликует первый том. «Его, как и все произведение, можно рассматривать как плод моих усилий за последние 20 лет. Не берусь судить, одержит ли содержащаяся в нем система победу и когда это произойдет, но, во всяком случае, эта книга будет классической для подобного образа мысли, так что я не смогу к ней ничего добавить, ничего изменить». Он отложил все другое, работает только над ней, поэтому доходы сократились, поэтому просит деньги. И еще одно важное соображение, на которое следует нам обратить внимание, высказывает Шеллинг: «В „Мировых эпохах“ содержится не только полная метафизическая, но и религиозная система».

Это август 1814 года. В ноябре он сообщает Котте, что погружен в работу и можно будет скоро приступить к печатанию. Шеллинг имеет в виду третий набор первой части, третий вариант.

Все три варианта корректуры сохранились. Последний вариант был напечатан сыном Шеллинга в Полном собрании сочинений. Первые два увидели свет только в 1946 году в качестве особого, дополнительного тома к так называемому Мюнхенскому юбилейному изданию.

Сравнивая три варианта, видишь, куда движется мысль Шеллинга, что мучает его. Он остается на позициях философии тождества, но материалистические черты все более стираются. В первом варианте шла речь об одухотворенной «праматерии», теперь — исключительно о боге. Абзац во славу реализма остался, но к фразе «реализм — сила и прочность философской системы» добавлены слова, «и это также говорит о том, что страх божий есть начало мудрости». (Шеллинг погружен в религиозные искания, идет молва, что он перешел в католичество. Последнее он решительно опровергает, но первое — неопровержимый факт.)

Третий вариант также застывает на стадии верстки. В мае 1815 года Шеллинг опять винит во всем войну и беспокойное время. Наполеон бежал с Эльбы, высадился во Франции, он снова хозяин в Париже и угрожает Европе. «Новое мировое смятение смешало мои планы: я бы мог в скором времени выпустить „Мировые эпохи“, но кому это теперь нужно? Почти все, у кого есть молодость, дух и мужество, идут на войну, и нет охоты выходить в такое беспокойное время с трудом, так долго выношенным, требующим спокойствия духа».

Ему приходится уделять время и своим обязанностям генерального секретаря Академии художеств. Осенью 1814 года состоялась вторая

выставка, приуроченная к очередным именинам короля. На этот раз она сопровождается открытым конкурсом живописных, графических и скульптурных работ. Темы заданы академией. По историческому жанру — «Жертвоприношение Ноя», по пейзажному — «Природа после всемирного потопа», по ваянию — «Тезей поднимает скалу, под которой хранится меч его отца».

Участники конкурса должны представить свои работы под девизом, сообщив в запечатанном конверте данные о себе. Победителям присуждаются денежные премии, вскрываются конверты только призеров.

Шеллинг в свое время разрабатывал условия конкурса, а теперь (в специальной брошюре) подводит итоги. На тему о жертвоприношении Ноя представлено девять работ. Об одной из них Шеллинг судил резко: «Неизвестный, потративший силы на то, чтобы написать картину, называет себя любителем, не получившим обучения. Создается впечатление, что ему никогда не приходилось сидеть подлинного произведения искусства. Пусть он найдет возможность взглянуть на какую-нибудь настоящую картину, и он будет благодарен академии за то, что она воздержалась от разбора его произведения».

У других — иные слабости. Премию получил один из воспитанников академии за графическую работу, в которой величие замысла сочеталось с мастерством исполнения. В сиянии божества, освещавшего спасенный мир, Ной представал не как смиренный христианин, а как человек Востока, друг бога.

В жанре пейзажа первое место завоевал любимец Шеллинга, известный нам Йозеф Кох, избранный год назад членом-корреспондентом Академии художеств, а в скульптурном жанре — Йозеф Галлер, студент академии. Успех молодого ваятеля Шеллинг объяснял благоприятными условиями для развития таланта, существующими в Мюнхенской академии художеств.

В 1815 году Шеллингу поручают подготовить праздничную речь ко дню именин короля. Шеллинг выбрал тему из истории античной религии и мифологии — «О самофракийских божествах». Восемь лет назад аналогичное выступление он провел с блеском, и теперь не хочется ударить в грязь лицом.

Тогда он главное внимание обратил на форму выступления, ее внешний блеск. Теперь он решил блеснуть ученостью. К основному тексту приложены обширные, главным образом этимологические, примечания, содержащие цитаты на латинском, греческом, древнееврейском языках. Примечания разрослись и в два с лишним раза превысили объем основного

текста. Работа завершена к середине августа, времени для опубликования осталось меньше двух месяцев. Шеллинг торопит издателя Котту. Академия наук закупит 300 экземпляров, Шеллинг озабочен тем, сколько из них на какой бумаге будет напечатано. Его удручает качество набора. Несмотря на то, что в Тюбингене, где печатается работа, наняли профессора греческого языка, чтобы править корректуру, в тексте попадаются грубые опечатки. В таком ответственном издании это недопустимо. Пусть привлекут к работе знатока древних языков Шнуррера, бывшего учителя Шеллинга, а ныне его поклонника, он предлагает свои услуги. Котта торопит типографов, брошюра готова вовремя и отпечатана на соответствующей бумаге в соответствии с пожеланиями автора, доставлена в Мюнхен, но — о ужас! — перепутаны страницы. В таком виде раздавать текст почетным гостям в день именин короля нельзя. Издательство, извиняясь, досылает (уже после юбилея) заново изготовленный печатный лист.

Речь была произнесена 12 октября 1815 года. Основываясь на материалах древней мифологии, Шеллинг говорил о развитии идеи божества. Самофракийские культы — древнейшие в Греции. Объекты поклонения — кабиры, покровители мореплавателей, боги-пигмеи, глиняные изображения которых устанавливались на кораблях. Первоначально известно было три самофракийских божества, которым в позднейшей мифологии Греции соответствовали Деметра, Персефона, Дионис. Некоторые древние авторы упоминают о четвертом — главном — кабире, среди греческих божеств это Гермес. Выше Гермеса стоит некий внемировой бог — демиург всего сущего. В примечаниях Шеллинг называет также Зевса, Венеру, Аполлона. Таким образом выстраивается ряд (из семи-восьми) божеств, каждый из которых обладает все большим совершенством (Деметра — богиня плодородия, удовлетворения самой примитивной потребности, Аполлон — бог искусства). Иерархия богов, настаивает Шеллинг, полна глубокого смысла.

Какие отклики получило выступление Шеллинга? Были сдержанно-положительные (Ф. Баадер — «приятный подарок»). Были и резко отрицательные. Гёте откликнулся пародией.

В каждой из двух частей «Фауста» есть сцена «Вальпургиевой ночи» — это шабаш ведьм, да в нем легко можно различить насмешки над современной автору жизнью, в том числе философской. В первой части подаются реплики реалист, идеалист, догматик, скептик, супранатуралист — идейные противники Шеллинга. Во второй части трагедии объектом пародии становится сам Шеллинг. Среди прочей «античной нечисти»

упоминаются кабиры.

СИРЕНЫ

Ростом — сморчки,
Силой — быки,
Кабиры — спасенье
Терпящих крушение...

Философ, который вместо того, чтобы закончить свой главный труд, ударился в этимологические премудрости, порой весьма сомнительные, явно терпит крушение.

НЕРЕИДЫ И ТРИТОНЫ

С собой мы захватили трех,
Четвертый остался, не мог,
Он главный, его к нам не тянет,
Он важными мыслями занят...
Считалось ведь семеро их.

СИРЕНЫ

Куда ж подевали троих?

НЕРЕИДЫ И ТРИТОНЫ

Никто не мог дать справок,
Идет с Олимпа слух,
Что есть восьмой, вдобавок
К семи примкнувший вдруг...

ГОМУНКУЛУС

Так вот что, не щадя башки,
Исследует ученый!
Божки похожи на горшки
Из глины обожженной.

И тут же мы находим фигуру самого ученого. Это Протей, морское божество, непрестанно меняющее свой облик.

ПРОТЕЙ

Люблю я шалости и козни.

Чем что курьезней, тем серьезней.

ФАЛЕС

Где ты, Протей?

ПРОТЕЙ

(Голосом чревовещателя, то близко, то издали),

Я там! Я тут!

Протей появляется то в облике гигантской черепахи, то дельфина, то в «благородном образе». Гомункулусу он дает следующий жизненный совет:

Начни далекий путь свой становленья.

Довольствуйся простым, как тварь морей.

Глотай других, слабейших, и жирей,

Успешно отъедайся, благоденствуй

И постепенно вид свой совершенствуй.

Ни в одном из комментариев к «Фаусту» нет сопоставления Протея с Шеллингом, и все же (зная, что недоброжелатели подчас называли так нашего героя) рискую настаивать, что именно его имел в виду здесь поэт. Эккерман, постоянный собеседник Гёте в последние годы жизни, сказал однажды ему: «Я очень рад, что мне удалось прочесть книжечку Шеллинга о кабирах; теперь я знаю, куда вы метите в этом замечательном месте Классической Вальпургиевой ночи». «Мне всегда казалось, — ответил Гёте, смеясь, — что знание идет на пользу».

Вторая часть «Фауста» появилась после смерти поэта, но отражает настроение Гёте тех лет и тогдашнее его отношение к Шеллингу. Слово было найдено: Шеллинг — Протей. Может быть, Гёте знал, что его самого некоторые современники окрестили Протеем, и он как бы отводил от себя это прозвище, показывая на Шеллинга: вот, мол, истинное непостоянство. На глазах Гёте проходили все метаморфозы философа: он и в своей натурфилософии легко менял точки зрения; затем представал то метром эстетики, то теоретиком врачевания; сколько начинаний не доводил до конца! Еще недавно хотел стяжать лавры на почве популярной

журналистики, теперь погружается в мрак мистики и мифологии. Жан-Поль Рихтер сравнивал Фихте и Шеллинга: у обоих глаза насекомых: только у Фихте они неподвижны, устремлены в одном направлении, а у Шеллинга — фасеточные глаза, которые позволяют смотреть в разные стороны, «особенно назад».

В 1816 году возникла профессорская вакансия в Иене. Веймарское правительство официально приглашает Шеллинга, предложив ему выгодные условия. Гёте недоволен. В письме к министру Фойгту он признает заслуги Шеллинга, признает, что сам у него многому научился, но положение ординарного профессора в университете Иены слишком ответственное. Кто решится сказать: я знаю Шеллинга в такой степени, что могу доверить ему столь высокое место, где он фактически станет хозяином университета. Кто знает, может быть, он уже католик или станет им в ближайшее время. «Простите, но мне кажется комичным после трех сотен лет нашего протестантского процветания снова вводить здесь мистический пантеизм и обскурантистскую философию». Гёте не придавал значения конфессиональным проблемам, но искренне опасался мистики.

Шеллинга прельщала возможность вернуться к преподаванию, вернуться в Иену. Ему предложили кафедру логики и метафизики, хотя он с большей бы охотой предпочел богословие. «Мысль, что я опять могу действовать как преподаватель в это значительное и приобретающее еще большую значительность время, что я могу насладиться золотой свободой, которую, пожалуй, ни в одном университете нельзя вкусить в той мере, как в Иене, глубоко волнует меня. Перспектива стать лишь преподавателем философии не увлекала бы меня в такой высокой степени, но возможность совершить постепенный и достойный переход к теологии, для чего бы я подыскал средства, и мысль, что таким образом с божьей помощью я совершил бы нечто значительное для всей Германии и зажег бы в ней благодетельный свет, по сравнению с которым то, что я сделал в молодости, было бы лишь тусклым мерцанием, — вот что возбуждает меня и почти приводит к решению». Но он просит отсрочку, время на размышление.

Три обстоятельства мешают ему сразу принять приглашение. Прежде всего он не уверен, действительно ли это ему нужно. Кроме того, надо проверить свои силы, моральные и физические. И наконец, его связывает чувство долга перед баварским правительством, которое во всем идет ему навстречу. Он спрашивает совета у брата и у матери (отца уже три года как нет в живых). Карл уговаривает его остаться в Мюнхене. Шеллинг поступил именно так. О том, что Гёте строил против него козни, он не узнал.

Все это время Шеллинг не забывает о главном своем труде. Выпуская «Самофракийские божества», он ставит к брошюре подзаголовок: «Приложение к „Мировым эпохам“». Раз вышло приложение, книга обязательно будет! Апрель 1816 года он проводит за городом, в одиночестве, Думая таким образом ускорить работу. Но книга не получается. В июне Котта спрашивает, как дела. «Вы спрашиваете о „Мировых эпохах“». После того как я столь часто возвещал об их завершении, сейчас я буду молчать до тех пор, пока не преподнесу Вам чистые листы. С этой книгой у меня как с вином у винодела: после долгого хранения все стало таким хорошим, что невольно хочется добиться лучшего. Разумеется, пора кончать с колебаниями, тем более что не могу выступить ни с чем другим, пока не заложен этот фундамент. Я думаю, в течение этого года книга появится».

Июль, август, сентябрь он снова проводит за городом, интенсивно работает. Каков результат? В конце сентября Шеллинг предлагает Котте издать книгу... об эгинских скульптурах.

Сегодня они стоят в Мюнхенской глиптотеке. Мраморные фигуры, некогда украшавшие фронтоны храма Афины на острове Эгина. В центре богиня, взирающая на схватку между ахейцами и троянцами. У ее ног павший греческий воин, за его тело и идет бой копьеносцев и лучников. Композицию восстановили виднейшие искусствоведы, статуи реставрировал знаменитый скульптор Торвальдсен.

А тогда это была груда обломков, недавно найденная и извлеченная из-под земли. Кронпринц Людвиг приобрел их для Мюнхена, но находились находки еще в Риме. Художник Вагнер первым описал их; по желанию кронпринца Шеллинг включился в работу и дополнил текст Вагнера своими соображениями. В таком виде, как труд двух авторов, книга увидела свет в начале 1817 года.

И снова «Мировые эпохи». Котте он поясняет: «Не думайте, что только что законченная работа, от которой я не мог отказаться, которая связана с моими служебными обязанностями, заставила меня забыть о главной задаче» — книга, мол, будет написана.

Шеллинг стал другим. Изменился и его характер. «Многие острые углы закруглились, — свидетельствует современник. — Деспотические черты уступили место доброжелательным». Он наслаждается семейным счастьем. «Я нашел то, что мне было нужно», — сказал он в первый же год своей новой супружеской жизни и от этих слов никогда не отрекался. Что касается Паулины, то она без ума от своего мужа. «Я счастлива без меры, — признается она своей доверенной подруге, — Шеллинг — самый

дорогой, самый лучший человек на свете, у нас взаимная сердечная склонность, наши желания и стремления едины, мы живем каждый в другом и только для другого».

Паулина подарила ему уже трех детей — двух мальчишек и девочку, названную Каролиной (потом будут еще две девочки и мальчик). Сначала случился выкидыш. Паулина была на четвертом месяце, когда в октябре 1812 года почтальон принес письмо в траурной рамке. Ей показалось, что письмо из Готты, где остались ее близкие, и она свалилась замертво. Письмо было из Вюртемберга: умер отец Шеллинга. Несколько дней Паулина чувствовала себя плохо, и затем наступили преждевременные роды. Шеллинг горевал и строил мрачные прогнозы на будущее. Ему так хотелось иметь детей.

Через год все обошлось благополучно, на свет появился здоровый мальчик, названный в честь матери Паулем. Счастливый отец описывал теще подробности родов, которые прошли необыкновенно легко. «Это было прекрасное, незабываемое мгновение». У Шеллинга удивительно развито эстетическое отношение к миру. Раз уж он смог опоэтизировать даже смерть самого близкого ему существа, как же ему не любоваться появлением на свет нового человека!

Как он был горд и доволен своим сыном! «Это замечательный ребенок, совсем не такой, каких я видел прежде, у него развитые формы, он круглый, упитанный, сильный и очень длинный, так что трудно понять, как это Паулина перенесла так легко беременность. Что мне особенно в нем нравится, так это выражение лица, умное, понимающее, разумное. Мне не следовало бы упоминать об этом, так как все находят, что он похож на меня, как две капли воды. А голова у него в темных волосиках, большие красивые ногти на ногах и руках, и весь он полон жизненной силы. Паулина носила его, сколько нужно, вес и размеры у него нормальные, вообще сделан он заботливо и умело, это не фрагмент будущего человека, а настоящий человек, да еще парень».

В кругу семьи хорошо. Только вот работа не клеится. Дома стало шумно, пищат малыши, снует прислуга. Столица тяготит его. «Лучше жить в деревне, чем в этой сутолоке, где каждый третий — солдат». Летние месяцы он проводит за городом. Ищет уединения.

В 1818 году он уже в марте перебрался в Валлерзее. Здесь гробовая тишина и изумительный ландшафт. Но покоя и радости нет. Он думает о том, как лучше устроить свой быт в городе. Прежде всего надо убрать шкаф, стоящий перед входом в его комнату, чтобы никто не попадался ему на глаза, и запереть все ведущие в кабинет двери. От Паулины нет писем,

он волнуется, собрался уже возвращаться в Мюнхен, как вдруг пришло долгожданное письмо. Слава богу, все в порядке. Жена и дети здоровы. «Я могу находиться в разлуке с вами только потому, что уверен, если бог даст мне здоровье и силы, я завершу наконец свою работу». Он ложится спать в половине десятого, встает в половине шестого. Но «Мировые эпохи» далеки от завершения.

А Шеллинг по-прежнему уверен в своих силах. Ему кажется: еще одно усилие — и будет поставлена точка, книга уже почти готова, остается навести лишь последний блеск. «Я стою там, где хотел, и нужно мне всего лишь несколько часов, свободных от посторонних занятий, чтобы все закончить, к моему полному удовлетворению». Это он пишет в январе 1819 года шведскому поэту П. Аттербому.

Год назад они виделись, и Аттербом нашел во внешности философа нечто наполеоноподобное. «Его манера вести разговор несет печать своеобычности, непосредственности, лаконичности, он всегда попадает в точку, чем, как рассказывают, отличались лучшие беседы императора; различие в принципах и устремлениях между ними абсолютно, сходство касается чисто внешней манеры, которая является общей для всех мужей *античного склада*. Эта манера у Шеллинга, как и у Наполеона, состоит в ясности, самообладании, спокойствии».

Слава его растет и давно перешагнула границы Германии. В Швеции начало выходить Полное собрание сочинений. К 1819 году издано уже четыре тома. Из Франции приезжают к нему на выучку два философа — Виктор Кузен и Луи Ботен. Каждый из них проводит в Мюнхене по месяцу, стараясь проникнуть в глубины его учения. Шеллинг очаровывает и того, и другого, держит перед каждым длинные речи, из которых они мало что усваивают. Вот когда речь зашла о политике, Кузен уверенно записал в своем дневнике «Думает, как я».

Шеллинг — умеренный консерватор. Он не одобряет Карлсбадские постановления. (В начале осени 1819 года в Карлсбаде встретились немецкие монархи и договорились об усилении цензуры, запрещении тайных обществ и других мерах против нараставших студенческих волнений.) Оппозиция с «засохшими староякобинскими замашками» его не устраивает тем более. В родном Вюртемберге возник конституционный спор. Король предложил ввести в стране новую конституцию, а собрание сословных представителей воспротивилось этому. Гегель выступил с острой критикой консерваторов. Шеллинг тоже недоволен «вюртембергскими ультра», но боится резких перемен. «Спасение и мир можно найти только в праве, — шлет он в Штутгарт. — Подобно тому, как

раздел Польши тяготеет еще чувством вины над Европой, точно также, пока право вюртембергского народа не встретит справедливого отношения, всегда будет оставаться беспокойное и неудовлетворенное сознание, а мир сознания стоит выше всего...

...Прошное не умирает окончательно, оно продолжает жить в настоящем, составляя основу для его развития. Время отняло у старой конституции силу, но он еще не положило ее в гроб, и эта столь любимая многими мать должна произвести на свет ребенка, новую конституцию, выросшую из ее плоти, из ее крови».

И в философии он сторонится крайностей. С Океном Шеллинг разошелся потому, что тот «анатомический материалист». С Баадером — по прямо противоположной причине. «Баадера с некоторых пор я вижу редко и вполне доволен этим. В последний раз я вынужден был выслушать его рассказ о том, как дьявол дает ему знать о себе, посещает его дома и преследует его. А дочь его впала в экстаз, слышит безбожные и непристойные речи нечистой силы. Он говорил обо всем этом как о радостном событии, видимо, он доволен, что черт обратил на него свое внимание».

Больше всего забот Шеллингу доставляет состояние собственного здоровья. Он все чаще болеет, а выздоровев, чувствует общее недомогание. В 1819 году он отправился лечиться в Карлсбад. Вернулся окрепшим, но в конце года снова тяжело заболел.

Ему настоятельно советуют уехать из Мюнхена: здешний климат не для него. На севере Баварии в Эрлангене климат мягче. Там есть университет, но нет вакансии. Кроме того, при его упадке сил нет гарантии, что он выдержит полную профессорскую нагрузку. Как быть?

Ему опять идут навстречу, да так, что лучше не придумаешь: правительство отпускает его из Мюнхена на неопределенный срок, сохранив за ним полностью оклад по двум академиям. Во избежание кривотолков он публикует (разумеется, без подписи) в газете «Моргенблатт» следующую заметку:

«Господин директор фон Шеллинг с королевского соизволения, действительного на неопределенный срок, переезжает этой зимой в Эрланген. Его любезное предложение выступить в тамошнем университете с лекциями, от которых ожидают много интересного, принято без того, чтобы возложить на него какие-либо постоянные обязанности. Г-н фон Шеллинг будет поддерживать связь с обеими академиями, участвовать в

осуществлении их задач, выступать с отзывами по научным проблемам. За ним сохраняется полностью получаемый оклад и в том случае, если он не сможет вернуться как по состоянию здоровья, так и в результате решения посвятить себя целиком университету. Полагают, что Шеллинг начнет свои лекции в Эрлангене уже этой зимой».

1 декабря 1820 года он покинул Мюнхен.

*

После пятнадцатилетнего перерыва он снова на кафедре. Перед ним битком набитая аудитория. Лекцию назначили на пять часов вечера, но задолго до этого все места были уже заняты. Присутствует вся профессура. Студенты толпятся и в соседних помещениях, сняли с петель двери, настежь распахнули окна. (Следующую лекцию перенесут в актовый зал, и будет такая же толкотня.)

Официально курс не объявлен. У него вообще нет никаких официальных обязательств по отношению к университету в Эрлангене. По доброй своей воле, отдохнув после переезда, 4 января 1821 года он начал читать цикл лекций, озаглавленный «Всеобщее введение в философию».

Уверенно и неторопливо льется речь. Никаких внешних эффектов: он теперь знает, в чем подлинная артистичность философа — стремительные полемические эскапады, неожиданные парадоксы, тонкая игра слов.

Он не навязывает свою систему, не называет ее единственно истинной. Философия не геометрия, здесь сколько голов, столько систем, и каждый день появляется новая. А в живом организме разве одна система? Есть система пищеварения, кровообращения, нервных тканей и т. д. Философия как организм — это тотальная система, состоящая из совокупности систем. Пусть они борются, пусть взаимодействуют, сосуществуют, победа одной системы будет означать гибель не только противоположной системы, но и всего философствования. Высшая задача духа состоит не в том, чтобы отвергнуть ту или иную систему, а в том, чтобы свести все системы в единое целое, подняться над ними и освободиться от них.

Нет иного критерия истинности философии, кроме ложности составляющих ее систем. Конечно, каждая такая система должна быть оригинальной, что-нибудь значить, «содержать момент развития», а не просто являть собой набор слов, как это часто встречается. Иному автору

слишком большая честь сказать, что он заблуждается. Чтобы заблудиться, надо по меньшей мере отправиться в путь. Сидя дома, не заблудишься. Моряку, не покидающему гавань, не угрожает кораблекрушение, но он не увидит и заморских стран. Философ, философствующий по поводу философии, может не опасаться ошибки, если он не трогается с насиженного места.

Первая предпосылка истины — движение, развитие. Другая предпосылка — единство познающего субъекта, постоянство при всех изменениях.

Что же это за субъект, который всюду есть и нигде не пребывает, не задерживается. Определить это основное понятие философии невозможно. Он — вечное, бесконечное движение. Чтобы постигнуть его, философ должен забыть все конечное. Не только, как сказано в Писании, покинуть дом, жену и детей, но — Шеллинг не боится произнести эти слова — покинуть самого бога...

Он делает паузу. В зале гробовая тишина. Все затаили дыхание, пораженные смелым ходом мысли. Не слышно даже скрипа перьев. (Пишут тайком, на задних скамьях: Шеллинг не разрешает писать за собой, ему нужно видеть устремленные на него глаза, а не склоненные над бумагой головы.)

...Он просит понять его правильно. Абсолютный субъект — это не бог и в то же время это не не-бог. В этом смысле он выше бога. Если один из мистиков мог говорить о сверхбожестве, почему мы не можем позволить себе этого? И он опять ссылается на Писание: кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее; а кто потеряет ее ради Евангелия, сбережет ее. Только тот придет к глубине познания жизни, кто покинет привычную точку зрения. У входа в философию надо начертать слова Данте, которыми он обозначил врата ада: «Оставь надежду всяк сюда входящий!» Воистину, кто хочет философствовать, должен расстаться со всеми надеждами, стремлениями и чаяниями, забыть о воле и знании, все потерять, чтобы все обрести. Абсолютный субъект — это вечная свобода...

А ведь лексикон-то чужой! Не его, Шеллинга, а скорее Фихте. И ход мысли для него непривычный. Ни слова о тождестве бытия и мышления. Еще недавно в «Мировых эпохах» он исходил из единства необходимости и свободы. Теперь речь идет о вечной, абсолютной свободе. Вот уж истый Протей, опять сменил свой облик. О Фихте говорит с почтением, вспоминает, что Фихте стоял до него на этом месте. (Когда-то Фихте читал лекции в Эрлангене, теперь — его нет в живых, он умер от тифа, который свирепствовал в военных госпиталях победной зимой четырнадцатого

года.) Фихте «впервые властно призвал к свободе». Шеллинг, правда, намекает и на слабые стороны учения Фихте («у него исчезает объективная сторона»), но в целом мысль Шеллинга идет сейчас по дороге, проторенной его предшественником.

Как мы приобщаемся к вечной свободе? Есть древняя истина: подобное познается подобным, Шеллинг цитирует Гёте:

Не будь наш глаз солнцеподобен,
Как мы узрели б солнца луч!

Человек представляет собой олицетворенную, воплощенную свободу, это «не что иное, как Я». Но он, увы, не ведает этого. Наука должна открыть ему глаза на собственную природу. Интеллектуальная интуиция — средство познания свободы. Ее можно сравнить с состоянием экстаза. Для того чтобы достичь его и постичь свободу, надо пройти три этапа. Сначала абсолютный субъект обнаруживает себя исключительно как нечто внутреннее, все внешние определения ему чужды. Второй этап — субъект переходит в объект, сливается с ним. На третьем этапе происходит восстановление абсолютного субъекта, осознающего, «вспоминающего» свою изначальную вечную свободу. Древняя истина гласит: философствование — это воспоминание. Вот почему в философии нет готовых истин и лишь постепенно можно прийти к полному пониманию. Истинного мастера в философии отличает способность не созидать и стремительно двигаться вперед, а медлить, стоять на месте, обращаться вспять...

Среди многочисленных слушателей Шеллинга есть один внимающий ему с искренним благоговением. Это будущий знаменитый поэт Август фон Платен — молодой офицер, участник парижского похода. Во время освободительной войны он горел патриотическим пафосом, а в мирные дни стал тяготиться, военной службой. Когда он однажды скомандовал солдатам «налево!», а сам, задумавшись, пошел направо и потерял свое подразделение, его отправили под арест. Военной карьере пришел конец. Он взял длительный отпуск; решив пополнить свое образование, поступил в Эрлангенский университет. Здесь он слушал краткий курс, прочитанный Шеллингом с 4 января по 30 марта 1821 года. Он довольно подробно излагает в своем дневнике содержание лекций Шеллинга, радуется его «божественной ясности». Правда, уже через месяц в дневник внесена жалоба: «последнее время его стало трудно понимать». (Чем непонятнее,

тем привлекательнее, «чем курьезней, тем серьезней».)

Пеллинг — его кумир. Он вручает философу только что вышедший первый сборник своих стихов. Он посвящает ему сонеты и выслушивает его советы. Он бывает у него дома. Шеллинг окружен почитателями и друзьями, самый близкий из них — его давний ученик Шуберт, ныне профессор в Эрлангене.

Конец весны Шеллинг провел в Карлсбаде. Летом начал читать новый курс — о смысле и происхождении мифологии. Пока только четыре лекции. Платен от них в восторге. «Сплошные молнии, рвущиеся из глубины», — записано в его дневнике.

А вот Арнольд Руге, будущий соратник молодого Маркса, относится к лекциям Шеллинга скептически. О курсе мифологии он впоследствии напишет: «Эта тема еще в 1821 году легла ему тяжело на желудок, и он ее так и не смог переварить. Тогда этот поворот дела был новым, от лекции к лекции возрастало удивление слушателей по мере того, как мудрость удалялась все глубже в праэпоху, к пранароду. Петэки, открыватели мистерий, и кабиры, их хранители, а среди них кабир Кадмия, страж порядка, играли значительную роль, служили очками, через которые открывалась увлекающая в Азию панорама прамудрости. Аудитория состояла больше из профессоров, чем из студентов, она была многочисленна и солидна, речь лектора элегантна и изысканна; он читал текст, и тривиальная мысль — вначале был бог, первые люди были рядом с ним, ближе всего к источнику мудрости, они обладали прамудростью, и эта мудрость изложена в мифологии, древнейшем документе человечества, только тот, кто обладает силой духа и ученостью, может читать древние письма, кабиры не каждому дают ключ к своим мистериям, — вот эти тривиальные и детские слова преподносились столь значительно, что великий маг, покидая зал, вызывал всеобщее удивление и восхищение». Для Руге Шеллинг — «маленький уродливый человек с большой головой и пронизывающими глазами». Что это за философия, которая апеллирует к кабирам, возмущался Руге. Многие с ним не соглашались, говорили, что он просто не дорос до понимания «знаменитейшего из немецких мудрецов». Лекции Шеллинга вызывали споры.

Сам он ими доволен. Еще не начав читать курс мифологии, понял, что из него получится интересная книга, которая может стать введением к «Мировым эпохам» (мысль о них не оставляет его).

Закончив курс, он пишет издателю Котте о своем замысле: новая работа будет непосредственно предшествовать «Мировым эпохам», которые «рано или поздно обязательно появятся». Он задумал книгу

объемом 8—10 листов, в случае необходимости может за счет приложений довести ее до 12 листов. Он уже договорился со здешней университетской типографией — при тираже 1000 экземпляров они берут 7 флоринов за лист. Если Котта согласен, пусть определит тираж и сам решит вопрос, относительно гонорара.

Котта ответил немедленным согласием и на издание книги Шеллинга, и на условия типографа. Тот попросил у него аванс. Котта немедленно перевел деньги. В ноябре была готова корректура 12 листов, Шеллинг намеревался довести размер книги до 20 листов. Речь уже шла о чистых листах. Но дальше этого она не пошла. Что-то опять помешало Шеллингу довести до конца начатое дело.

Может быть, болезнь жены? На десятом году их совместной жизни (1822) Паулина тяжело заболела, так тяжело, что врачи опасались за ее жизнь. Шеллинг приуныл. Лишь к концу лета постепенно наметились признаки улучшения. Тем временем у него возникла идея нового курса. На летний семестр он объявил «Методологию университетского образования». Затем передумал и наврал свой курс «Введением в философию», но получилась «История новой философии». Впоследствии в Мюнхене он прочтет большой курс на эту тему. Пока это первая проба сил. В Эрлангене он вольноопределяющийся, читает, что и сколько хочет. Начал 15 августа и через двенадцать дней распрощался со слушателями. И опять у него успех, опять сидит профессура в первых рядах.

Он говорил о генезисе современной философской ситуации. О Канте, о Фихте, на них закончилась теоретическая философия и началась практическая, в центре которой стоит проблема свободы. Впервые с университетской кафедры Шеллинг критикует Гегеля. Его старший однокашник после нескольких лет профессорства в Гейдельберге приглашен теперь в Берлин. «Наука логики» и «Энциклопедия философских наук» принесли ему громкую славу. Шеллинг видит его слабые стороны — панлогизм, переоценку роли абстрактного мышления.

На зимний семестр Шеллинг объявил философию религии. И проблема мифа снова занимает его. В 1823 году ему удалось сложить с себя обязанности генерального секретаря Академии художеств (сохранив при этом вклад!). Зимой он читает в последний раз лекционный курс. Теперь уже совсем никаких обязанностей, никаких отвлечений. Сиди и пиши! Он много пишет и в начале 1824 года снова обращается к Котте с предложениями по поводу книги, которая два года назад чуть было не вышла из печати. Вместо 12 лекций по философии мифологии у него теперь готово 36. «Это произведение я начал с намерением сделать из него

лишь простое введение и умолчать в нем обо всем том, что хотел оставить для „Мировых эпох“ как чисто философского труда. Но после того как в течение долгого времени я безуспешно пытался все это осуществить, я понял наконец неразрешимость поставленной задачи. Рамки первого варианта оказались слишком узкими, и я решился, как ни тяжела была жертва, на то, чтобы рассыпать набор и начать работу сначала — писать и набирать. Теперь, когда все написано заново, я могу обосновать новый план. Не отняв у философского труда ничего существенного, я чувствую вместе с тем, что освободился от значительного груза идей и ходов мысли, которые скопились у меня за последние годы и переработать которые в одном произведении оказалось свыше моих сил. С легкостью и духовной свободой я могу теперь заняться этим трудом. Между тем я надеюсь, что работа по мифологии будет принята публикой с радостью и интересом. Что касается результатов, то она дает *полное* представление о моей системе... В книге затронуты и сопричастные проблемы (религия, откровение, христианство и т. д.), и если учесть, что я не пожалел сил на стиль и ясность, то я не сомневаюсь, что это будет всеми читаться и завоеует себе друзей». Все в деле составит три части, по 24–30 листов в каждой. Стоимость старого набора Шеллинг мог бы погасить сам, но сейчас обстоятельства ему не позволяют этого. Пусть Котта вычтет потом сколько нужно из причитающегося ему гонорара. «У Вас есть все основания быть мной недовольным, теперь, однако, поскольку лед тронулся, моим самым жгучим желанием будет завоевать снова Ваше расположение, оправдать доверие, которое Вы всегда мне дружески оказывали».

Котта и на этот раз согласен на все. Его долготерпению нет предела. Он уладил все денежные дела с типографией. Размер гонорара пусть определит сам автор. Единственная просьба — сообщите заранее срок окончания первого тома, чтобы своевременно обеспечить сбыт книги.

На этот раз были уже не только чистые листы; несколько экземпляров готовой книги покинули пределы типографии. И снова Шеллинг остановился в нерешительности. Вернее, решительно прекратил печатание и распространение книги. Деталей мы не знаем. Крушение в момент успеха? Вот он только что был рад тому, что все так удачно получилось, горд и доволен написанным, а вот опять ему кажется, что получилось не то, что надо все начинать сначала, переделывать, шлифовать. И он упорно продолжает работать.

Шеллинг уверен, что вот-вот книга будет завершена и увидит свет. 1 августа 1825 года он пишет Кузену: «Надеюсь выслать Вам первый том лекций по мифологии, второй и третий последуют незамедлительно».

Август он проводит в Карлсбаде. Здесь он познакомился с двумя русскими — А. И. Тургеневым и П. Я. Чаадаевым (первый станет его задушевым другом). Их он также уверяет в том, что книга скоро выйдет.

(О дружбе Шеллинга с А. И. Тургеневым мы знаем крайне мало. Как и о добрых отношениях его с Ф. И. Тютчевым, служившим в русском посольстве при Баварском дворе. Сохранилось теплое письмо Шеллинга А. И. Тургеневу, мы прочтем его ниже. В 1832 году Шеллинг ездил вместе с Тургеневым в Венецию, об их совместном пребывании там, к сожалению, известно немного.)

Пока Шеллинг лихорадочно пытается завершить свой труд, то наводя последний блеск, то перекраивая все заново, заглянем в его рукопись. Что происходит с ним? Ищет ли он что-то существенно важное, новое, или уже просто не контролирует себя, не может остановиться, занят графоманскими упражнениями, подобно живописцу в новелле Бальзака, полагавшему, что создает нечто гениальное, а в действительности просто маравашему холст?

Выпуская в 1856 году (посмертно) «Введение в философию мифологии», сын Шеллинга отмечал в предисловии, что первая часть работы была уже однажды — примерно тридцать лет назад — отпечатана, и хотя в продажу не поступила, но отдельные ее экземпляры все же разошлись. В опубликованном тексте заметны следы работы философа вплоть до последних лет его жизни. Он говорит о Платене как о покойнике (умер в 1835 году), упоминает, что пятьдесят лет назад читал лекции по философии искусства (следовательно, это упоминание относится к 1853 году), но если верить сыну Шеллинга, то основные мысли «Введения» были сформулированы еще в Эрлангене.

Шеллинг начинает лекционный курс с того, что отмечает его новизну. В науках, которые давно уже получили признание, результат преподносится слушателям без указания на то, как он был достигнут. В новой науке дело обстоит сложнее, и слушатели невольно становятся свидетелями ее возникновения, в их присутствии осмысливается фактический материал, рождаются выводы.

Философия и мифология на первый взгляд чужды друг другу и несопоставимы. Но это только на первый взгляд. Подобно тому как существует философия языка, философия природы, может существовать философия мифологии.

Сначала, разумеется, надо дать ответ на вопрос, что такое мифология. Миф обычно противопоставляют истине, правде. Следовательно, миф — это вымысел, вот что прежде всего приходит в голову. Действительно, простейшие теории мифа рассматривают его как поэтический вымысел.

Взгляд этот широко распространен, поэтому у Шеллинга нет необходимости называть какую-либо фамилию. Он мог бы остановиться на трудах Гердера, не устававшего подчеркивать теснейшую связь между античной мифологией и искусством. Шеллинг не возражает против такой связи, он только показывает недостаточность подобного взгляда. По его мнению, индийская мифология непоэтична, и это один из аргументов против отождествления мифа с поэзией.

Шеллинг называет ряд имен, когда рассматривает другой вариант истолкования мифологии — аллегорический. Нам, пожалуй, больше всего скажет имя Фрэнсиса Бэкона. В трактате «О мудрости древних» английский рационалист и эмпирик уверял, что в мифе всегда можно обнаружить тайный однозначный смысл, тщательно завуалированный его создателями. Не нужно быть особенно проницательным, чтобы, услышав миф о Фаме (Молве), которая после гибели гигантов явилась на свет как их сестра, чтобы сразу же понять, что речь идет о подстрекательских слухах, тайно распространяемых политическими партиями, как это бывает после поражения мятежей. Миф о Купидоне Бэкон толковал как изложение атомистической теории вещества: первоначальные семена вещей, то есть атомы, чрезвычайно малы и остаются в вечном младенчестве. Купидон пускает стрелы, — всякий, признающий атомы и пустоту, должен признать силу атома, действующую на расстоянии. И т. д. и т. п.

В обеих этих теориях — «поэтической» и «философско-аллегорической» — есть, по мнению Шеллинга, одно слабое место. Миф рассматривается в качестве «изобретения», в качестве результата преднамеренного творчества. Но мифологию нельзя ввести, как вводятся в действие школьные программы, учебники, катехизисы. «Создать мифологию, придать ей реальность в мыслях людей, необходимую для того, чтобы она проникла в толщу народа, без чего невозможно ее поэтическое использование, все это выходит за пределы возможностей одного человека и даже многих, объединившихся для этой цели».

В свое время геттингенский филолог Хайне показал, что мифологию создает народ. Он прав в том смысле, что как нет народа без единого языка, так нет его без единой мифологии. Не только единство хозяйства и политических институтов скрепляет нацию, но прежде всего единство сознания, общие представления о богах и героях.

Все это верно, но как объяснить наличие общих мотивов в мифологии разных народов, даже таких, которые не соприкасаются друг с другом? Говорить о том, что один народ заимствовал свои мифологические представления у другого, по мнению Шеллинга, нет оснований. Один миф

не относится к другому как копия и оригинал. Остается только допустить, что мифологию создает совокупное человечество на определенной стадии своего развития. Мифология возникает как индивидуальное сознание народа, когда это сознание отделяется от всеобщего сознания человечества, когда из племен возникают народы.

Здесь Шеллинг сказал новое слово. Он впервые взглянул на мифологию взглядом философско-историческим, увидел в ней некую всеобщую, закономерную ступень развития сознания. И еще одно важнейшее обстоятельство подметил Шеллинг.

«Мифология изначально возникла благодаря единству и взаимному проникновению идеального и реального». Это цитата из книги филолога О. Мюллера, появившейся в 1825 году. Шеллинг приводит ее и отмечает, что он сформулировал аналогичное положение четырьмя годами раньше, то есть в первом варианте набранного текста своей невышедшей книги, при первом же чтении курса по философии мифологии. Он критикует Мюллера за плоскую интерпретацию идеи, явно заимствованной у него. Идея Шеллинга состоит в том, чтобы корни мифологии искать не у отдельных индивидов (и даже народов), а в человеческом сознании вообще, где протекает реальный процесс теогонии (происхождения богов), то есть формирования и смены религиозных верований. В этом смысле следует исходить не из знания человека, а из его бытия.

Основная идея шеллинговской философии, идея тождества бытия и мышления, совпадения идеального и реального, нашла удивительно точное применение в теории мифа. Современная наука видит в мифе наиболее всеобщую, изначальную форму сознания, которое еще целиком погружено в бытие. Миф — форма не только сознания, но и бытия, пусть иллюзорного, но все же бытия. Антитеза мифа — рассудок. Человек, живущий во власти мифа, не способен критически подойти к самому себе и к окружающему миру, свои мысли и чувства он принимает за подлинную реальность. Миф лишен рефлексии, размышления, это полная отрешенность от смысла (своих или чужих поступков);, овладеть смыслом — значит разрушить миф.

Миф — чисто формальная структура сознания. Содержание мифа может быть различным — гуманистическим и прямо противоположным, человековраждебным. Миф бывает массовым и сугубо индивидуальным, он наследуется по традиции и благоприобретается. Шеллинг не прав, утверждая, что нельзя заново придумать миф и ввести его как «школьную программу». В XX веке это оказалось возможным. Рост урбанизации, развитие массовых средств информации, исчезновение традиционных

мифов создали благоприятные условия для манипулирования массовым сознанием, для возникновения новых мифов. Современная социальная мифология во многом отличается от первобытной, но и в одном схожа: и там, и здесь перед нами иррациональный регулятор поведения, адаптирующий индивида к общности. Одна из самых опасных книг, написанных в наше время, — «Миф XX столетия» — библия немецких фашистов.

Шеллинг видел в мифологии результат творчества не отдельных людей, а многих народов. Между тем, как мы теперь знаем, бывают мифы неповторимые, которые человек создает сам для себя; Влюбленный живет в мифе, он создает для себя божество, встречая подчас насмешки окружающих. Есть чисто бытовые мифы, неконтролируемые стереотипы взаимоотношений в семье, на работе, на досуге. Иной «теогенический процесс» ограничен пределами кухни. Мода — самый яркий пример мифологического сознания.

Шеллинг многого не предусмотрел, но поставил жизненно важную проблему. Сознание начинается в бытии. Суть мифа — взаимопроникновение мысли и действия, неспособность отделить одно от другого — была схвачена им безукоризненно.

Муки творчества, которые переживал Шеллинг, были исполнены смысла: философ продуцировал новые идеи. Он охотно делился ими с окружающими. Еще много раз подымется он на кафедру и покорит аудиторию глубиной и обаянием своих лекций. После смерти оставит готовые к опубликованию работы, ряд из которых вошел в золотой фонд классического наследства. Сам же так и не решится их выпустить в свет.

Откуда этот страх перед печатным станком? Гипертрофированная требовательность к себе? Понимание, что концы не сходятся с концами? Желание писать общедот ступно и отсутствие уверенности, что это удалось? Материальная обеспеченность, позволяющая не думать о завершении литературного труда? Не станем гадать.

(Отметим только одно: конфликт между «хочу» и «могу», который иного свел бы в могилу или парализовал бы силы, был запятан у Шеллинга где-то внутри и не выплескивался наружу. Шеллинг — сановник, ведет респектабельный образ жизни. Каждое лето он лечится в Карлсбаде, хотя пора угрожающих болезней миновала. Растут здоровые дети, два старших мальчика учатся на его родине в Нюртенгене, где учился он сам. Дома уют и достаток. Приветливая, заботливая, образованная жена. Впереди — новые почести.

(А может быть, все это — семейное счастье и знаки общественного

признания — только миф, иллюзорное бытие? Счастье построил рассудок, а творческую ниву он опустошил. Есть всходы, но нет урожая. Пришла расплата за то, что он, мыслитель-поэт, человек творческого воображения, вступая в брак вторично, вел себя самым прозаическим, рассудочным образом; проза жизни вознаграждена, поэзия исчезла? Кто знает, кому дано право произнести приговор!)

*

В октябре 1825 года скончался король Баварии Максимилиан Йозеф. На престол вступил кронпринц Людвиг, покровитель искусства и философии, воспитанник Иоганесса Мюллера, поклонник Шеллинга. Он пополнял мюнхенские художественные коллекции, он решил основать в столице королевства университет. В качестве профессоров приглашены Баадер, Окен, Шуберт.

Сенсационным было приглашение Йозефа Герреса. Когда-то юный Геррес примыкал к немецким якобинцам, издавал «Красный листок», приветствовал продвижение французских революционных войск в глубь Германии. Но когда армия Директории заняла его родной Кобленц и начались неизбежные во время войны грабежи, Геррес пытался протестовать, за что угодил в военную тюрьму. Теперь он — сторонник всеобщего мира, консерватор и мистик, редактор журнала «Католик». В университете Геррес никогда не преподавал. Король Людвиг предложил ему кафедру истории.

Новый университет, конечно, должен украсить и королевский любимец Шеллинг. Король позвал его, и он не мог отказаться. Единственное, что мог он сделать, — попросить годовую отсрочку. Он все еще надеялся завершить литературную работу (теперь он трудится уже не над «Философией мифологии», а снова над «Мировыми эпохами»). Он просит разрешения приступить к чтению лекций зимой 1827 года.

«Если я вынужден буду сейчас перебраться в Мюнхен, то это сорвет окончательно мой часто нарушавшийся план жизни и научной деятельности, и цель, которую я уже почти достиг и от достижения которой зависит мой покой и счастье моей жизни, отодвинется на неопределенное время. Дело не только в том, чтобы отпечатать произведение, на создание которого я потратил лучшую часть моей жизни; придется на неопределенное время отложить завершение работы, которая вернет меня самого, даст мне возможность почувствовать себя свободным и приступить

со спокойной душой к исполнению преподавательских обязанностей...»

Шеллинг был обеспокоен сложившейся ситуацией и без обиняков излагал дело своему монарху. «Уже ряд лет я не писал ничего значительного. Лишь очень немногие (сколько их вообще может быть?) полагают, что я молчу, чтобы выдать нечто весьма значительное. Толпа же сомневается во мне и, пожалуй, думает, что я запутался в своих убеждениях. В настоящее время — скажу откровенно — мое имя для большинства звук пустой или слово с неопределенным смыслом; да, да, есть люди, которые не понимают, что Вы, Ваше Величество, нашли во мне хорошего, чего Вы от меня ждете». Король предоставил ему еще год отпуска. Ничего нового этот год не принес.

Тем не менее Шеллинг возвращался в столицу Баварии как триумфатор. Королевские милости так и сыплются на него. Он еще в Эрлангене, а в мае 1827 года его назначают генеральным хранителем научных коллекций государства. Оклад — 4500 флоринов. В августе — президентом Академии наук, это дает надбавку еще 500 флоринов. Но дело даже не в надбавке: он возведен на высший научный пост в стране, пост, который некогда занимал его обидчик Якоби. Того уже восемь лет как нет в живых. Другие его недоброжелатели в Мюнхене, «пакостные субъекты» удалены от дел. Новый король — новая эпоха.

В августе еще до отъезда из Эрлангена Шеллинг отправляет письмо в далекую Москву. Год назад евангелический проповедник Зедергольм прислал ему из России свои соображения о философии религии. Шеллинг не мог оторваться от своей работы и ответ задержал. Потом пришло еще два письма от Зедергольма, и теперь он отвечал на все сразу.^[9]

«Его благородию
господину доктору Зедергольму,
проповеднику еванг. Общины в Москве.
Эрланген 1 авг. 1827

Вы бесспорно извинили меня сами за запоздалый ответ. Ваше первое письмо от 23 авг. 1826 вместе с наброском Вашей философии религии мне переслали еще в ноябре прошлого года из Мюнхена. Но о результате, точнее — неудаче Вашего обращения к королю мне стало известно из Ваших, полученных мной только вчера писем от 26 апреля и 20 мая. Это побудило меня прочитав Ващ набросок, к которому ранее я не притрагивался в ожидании возможного запроса. В ответ на Ваше дружеское доверие скажу прямо: Ваша основная идея может быть

подвергнута многообразным толкованиям, и таковых у нас в Германии достаточно. *Нельзя сказать, что она ошибочна, но* (разумеется, по моему мнению) *ее нельзя назвать верной*. Мне кажется, это должно побудить Вас к дальнейшей работе. Огромное расстояние, разделяющее нас, которое, судя по тому, что Вы пишете, не удастся в ближайшем будущем устранить, а также многие обязанности, которые либо уже лежат на мне, либо скоро лягут на меня, — все это вынуждает меня воздержаться от подробного суждения и, как я уже давно поступаю с близкими друзьями, отослать Вас к моим произведениям, а именно к моему, видимо, Вам неизвестному трактату „О сущности человеческой свободы“ (это важнее, чем „Философия и религия“, он содержится в 1-м томе моих „Философских сочинений“, изданных в Ландсгуте Крюллем в 1809 г., вполне возможно, что он вошел в шведское Полное собрание моих сочинений), а также к „Лекциям о значении мифологии“ в трех частях, которые скоро выйдут, эта книга полностью прояснит наши отношения. Будь на то Господня воля, я сделал бы все необходимое, чтобы помочь Вам перебраться в Германию. Но, по крайней мере, в настоящее время на это нет никакой надежды. Продолжайте писать мне, если будет возможность, я постараюсь быть полезным Вам по мере сил и обстоятельств. Мой дорогой, незабвенный Кернел включил в свой дневник выдержки из лекций по мифологии. Но, судя по сделанному для меня переводу (сам я не знаю шведский), он не передал мои мысли достаточно глубоко (может быть, из-за языковых трудностей), а в некоторых (правда, второстепенных) местах приписал мне прямо противоположное тому, что я говорил. Об этом в случае необходимости Вы можете сообщить другим.

Я вынужден на этом с Вами распрощаться и заверить Вас в моем сочувствии, моем желании помочь Вам и глубоком уважении, остаюсь преданный Вам

Шеллинг».

Письмо Шеллинга передает его настроение перед отъездом в Мюнхен: он уверен, что труд по мифологии скоро увидит свет. Он считает наиболее важным своим произведением трактат о свободе. Интересно упоминание о шведском издании: о его существовании немецкие шеллинговеды узнали

недавно. В Баварской академии наук мне показали пять томов (1, 5, 7, 9, 11-й), но на вопрос, знал ли о них Шеллинг, ответить не смогли. Публикуемое письмо устраняет сомнения.

Шеллинг заводит новые порядки в Академии наук. 25 августа в день рождения короля Людвига он произносит свою «тронную», программную речь. Пусть в академии воцарится подлинный научный дух. Пора кончать с бессмысленными заседаниями, надо вести научную работу на благо народа и государства. Собираться будем два раза в год, по двум праздничным дням, «один из них является священным для всей Баварии, другой важен для академии». Это день рождения короля и день основания Академии наук (28 марта). Будем тесно сотрудничать с университетом, где воспитываются новые ученые. Философия займет предпочтительное место. Только чуждая немцам ограниченность, погруженная в эмпирию, может найти это предосудительным, ибо успехи опытного знания базируются на достижениях чистой мысли. Правильно понятая природа не нуждается в поэтических добавках, она содержит поэзию в самой себе. Так не нужны ей и философские добавки. Если отбросить пустую болтовню прозаических, псевдонаучных гипотез, которые только путают эмпирию, дать слово самой природе, то она обнаружит свою философскую сторону в качестве подлинного образца творческой мысли.

В октябре Шеллинг окончательно переехал в Мюнхен. Ему теперь предстоит читать не отдельные лекции, а полный полугодовой курс. Он объявил «Мировые эпохи». Пока не готова книга, он расскажет о ее содержании.

Тем временем и для университета наступают новые времена. Реформой высшего образования занят сам король. Президент Академии наук — его деятельный помощник. Шеллинга теперь можно встретить и в приемной монарха, и в его рабочем кабинете. 20 октября 1827 года русско-англо-французский флот нанес поражение турецкой эскадре, открыв тем самым путь к освобождению Греции. «Наваринская победа баварских университетов» (так здесь острят) предоставила студентам свободу посещать лекции по своему усмотрению и освободила от экзаменов.

Не опустеют ли теперь профессорские аудитории? Шеллинг озабочен другим: чтобы всем желающим его слушать хватило места. На первую его лекцию ждут короля. Его Величество не прибыл, но высокие чины государства присутствуют как на официальной правительственной церемонии.

Очевидец рассказывает: «Шеллинг фактически — глава всего университета, его все боятся и любят, он господствует над всем благодаря

силе своего духа. Весь он — само достоинство, держится прямо, спокойно, строго. Возраст выдают черты лица и седые, до белизны, волосы, Лучшего лектора я не слышал. Каждое слово продумано и взвешено, каждая фраза имеет четкую структуру. Глубокие и прекрасные мысли облечены в совершенную форму. Один час у Шеллинга дает больше, чем все то, что можно услышать в Гейдельберге... Его первая лекция о значении и необходимости философии для естествознания, права, искусства, религии и политики должны были бы выслушать все. И действительно, помимо студентов, на нее пришли представители всех слоев, даже из министерства. Ожидали короля, но его не было. Я не слышал никогда ничего более прекрасного и сильного, чем эта вступительная лекция».

Шеллинг объявил «Мировые эпохи», но в последний момент передумал и назвал курс «Введение в философию». Никаких особых премудростей его вступительная лекция, судя по сохранившейся авторской записи, не содержала. Разумеется, она была красиво построена. Слушателям импонировали высокий ранг Шеллинга, шум вокруг его имени, увлекало ораторское мастерство.

Он говорил о том, о чем спорил образованный Мюнхен, — о нраве студентов на академическую свободу. В какой мере допустимо принуждение в высшем образовании? Философия — любовь к мудрости, разве можно принудить к любви? Не старайтесь — ничего не получится, в лучшем случае напичкаете человека банальностями, и получится некая общедоступная премудрость, избегающая крайностей, ко всему прилагающая привычную мерку. В результате молодежь лишена будет подлинной философии, в которой испытывает нужду. «В наше время, когда все другое зашаталось, когда все позитивные устремления поставлены под вопрос, вдвойне важно и необходимо установить и укрепить мужественную, открывающую глубину духа философию». Философия не свод правил, это внутреннее убеждение человека. В философии каждый начинает с азов, постепенно проникаясь ее духом. Где гарантия того, что государство, принудительно избравшее тот или иной вид философствования, не ошибется? Спасибо королю, предоставившему баварской молодежи право свободно искать истину. У философии нет иного предмета, кроме того, что изучают другие науки, только рассматривает она этот предмет в свете высших отношений; на систему мироздания, на мир растений и животных, государство, мировую историю, искусство она взирает как на части одного великого организма, который выходит из бездн природы, поднимаясь до мира духовности.

«Когда я вот уже скоро тридцать лет назад впервые был призван

деятельно включиться в развитие философии, в высшей школе господствовало само по себе мощное, в высшей степени живое, но чуждое действительности учение». (Это явно про Фихте. Два года назад в Карлсбаде А. И. Тургенев спросил его, считает ли он себя учеником Фихте. Шеллинг решительно запротестовал, нет, они были только коллегами.) «Кто мог бы подумать тогда, что безвестный преподаватель, почти юноша, преодолеет такую могучую, но пустую абстракцию и станет мастером философии, таившей в себе многие живительные тенденции. Тем не менее это случилось». (Явно о самом себе, о своем первом дебюте в Иене.)

«И теперь снова философия достигла состояния, преодолеть которое она не может, поскольку то, что выдается в ней за последнее и высшее, находит всеобщее решительное противодействие у лучших». (О ком это? О Якоби? Вряд ли: Якоби в могиле, и не он владеет умами любителей мудрости. Гегель — вот модный отравитель умов, его Шеллинг не раз еще будет выводить на чистую воду!) «В этих условиях нашей отчизны, нашей эпохи, Нашей науки я пришел к вам и вошел в вашу среду. Я несу вам любовь, так примите же и вы меня с любовью. Я буду жить для вас, творить и трудиться, покуда это будет угодно господу».

Шеллинг умолкает. Лекция окончена. Мгновение тишины — и бурная овация. Кто-то зычным голосом провозглашает здравицу, и зал троекратно скандирует: «Хох! Хох! Хох!»

Затем потекли преподавательские будни. Оглядываясь назад, на историю мировой мудрости, говорил Шеллинг на следующей лекции, видишь перед собой как бы поле некогда бушевавшего здесь сражения: повсюду разрушения, обломки, тела пораженных друг друга врагов. Одна система сражает другую, и может возникнуть впечатление, что каждую ведет заблуждение, а не истина, и все же момент истины в каждой содержится. Основной недостаток предшествующей философии — стремление познать человека, а не бога. Между тем человек в сравнении с богом всего лишь негативное, относительно сущее. Положительно сущее — бог. И философию Шеллинг соответственно делит на негативную и позитивную. Первую он называет также «логической», вторую — «исторической». Логическая философия выводит со строгой последовательностью одно из другого, строит необходимые структуры. Историческое знание не исключает логического, но добавляет к нему момент времени, некоего непредсказуемого изменения. Логическое знание однозначно, историческое знание содержит в себе возможную противоположность. Сумма углов треугольника равна двум прямым, ничего другого быть не может, это знание логическое, а человек может быть

здоровым или больным; мой друг здоров, это знание историческое, ибо он может быть и больным. Логическое знание строится на необходимости, историческое включает момент свободы. Положительная философия познает бога как свободное высшее существо.

Между тем в предшествующей философии доминировала негативная тенденция. Шеллинг приступает к детальному ее рассмотрению. Эта часть огромного вводного курса 1827 года, состоявшего из 44 лекций, была издана посмертно под названием «История новой философии».

Шеллинг начинает с Декарта. Декарт и Бэкон покончили с засильем схоластики и открыли дорогу подлинному философствованию. Каждый сделал это по-своему. «Декарт велик благодаря своей имеющей всеобщее значение мысли, что только то в философии можно признать истинным, что познается ясно и отчетливо. Но поскольку это непосредственно возможно не всюду, то мы должны непосредственно и безошибочно осознавать хотя бы необходимую связь познаваемого».

Проверяя истинность наших знаний, Декарт предлагает в них усомниться. Сомневаться можно во всем, кроме акта самого сомнения. Сомнение есть мысль. Я мыслю — следовательно, я существую. Из этого непреложного обстоятельства выводит Декарт существование мыслящей души, существование бога и сотворенного им мира. Шеллинг не устает подчеркивать одно важное ему обстоятельство: бог, по Декарту, необходимая сущность, действующая с железной необходимостью.

То же самое Шеллинг находит и у Спинозы, и у Лейбница. К Спинозе он по-прежнему полон почтения. «Спиноза принадлежит к числу непреходящих писателей. Он велик высокой простотой своих идей и своей манерой, своим отказом от схоластики и ложных красот языка». Но это «мысль в отставке», то есть на покое, здесь нет и следа свободы, одна голая необходимость.

Лейбниц, казалось, привел в движение застывший мир Спинозы, одухотворил его. Он признает персонального, личного бога, и все же его бог не личность, он создает мир в силу необходимости, не в результате свободного деяния.

«С появлением Канта сразу меняется течение философской мысли. Как будто давно сдерживаемый поток нашел наконец выход, который все больше и больше расширяется, пока окончательно не сокрушит преграду и не потечет свободно и безудержно...» Кант разрушил старую школьную, «негативную» метафизику, построенную на логических рассуждениях. Он воздвиг фундамент для созидания «положительной» метафизики, построенной на принципе свободы.

Шеллинг переходит к подробному рассмотрению «Критики чистого разума». В основе ее лежит простая мысль: прежде чем приступить к процессу познания, надо проверить имеющиеся для этого средства. Предусмотрительный строитель проверяет свой материал и инструмент, прежде чем начать работу. Но познание познания ведь тоже познавательный акт, как же приступить к нему без предварительной подготовки? — ехидно замечает Шеллинг. Это мелкий укол. Более основательные возражения сводятся к следующим. Кант разделил действительность на два мира — явления и вещи сами по себе. Если вещи сами по себе непознаваемы, то как тогда вообще можно что-либо думать и говорить о них? Как отделить вещи сами по себе, выступающие в качестве материального субстрата познания, от вещей самих по себе «другого рода», как-то: бог и бессмертная душа человека? И еще три вопроса относительно процесса познания остаются у Канта без ответа: как вещи сами по себе воздействуют на субъект? Как поставляемый чувственностью материал поддается обработкам рассудком? Откуда у субъекта власть над этим материалом?

И все же Кант велик. Его заслуги состоят прежде всего в том, что он «устранил ту философскую анархию, которая господствовала до него», заложил единые исходные принципы подлинного умознания. Он указал далее на интеллигибельную основу познаваемого бытия, пусть не ответил на вставшие при этом вопросы, но заставил над ними задуматься, ниспроверг все виды скептицизма и сенсуализма. И главное — он повернул философию в сторону субъекта, что окончательно было утрачено Спинозой. «Путь к идеализму был открыт».

По этому пути и пошел Фихте. Однако у него, как и у Канта, оставались нерешенными две коренные проблемы, которые должна осветить философия. Первая — это «объяснить генезис природы», показать, какой процесс порождает ее. Второе, без чего нет философии, — объяснение того, как открывается нам «метафизический мир», «сверхчувственный регион», к которому относятся бог, душа, свобода, бессмертие.

Шеллинг подразумевает, что решить эти проблемы выпало на его долю. Он основательно препарирует взгляды своего «учителя и предшественника» Фихте, изображая его большим субъективистом, чем он был на самом деле. Заслугу создания диалектического метода приписывает самому себе. Упоминая о «Системе трансцендентального идеализма», он говорит следующее: «В этом произведении мы уже находим полное применение того метода, который позже был употреблен лишь в более

обширном масштабе. Обнаруживая уже здесь этот метод, ставший впоследствии Душой и всей независимой от Фихте системы, легко убедиться, что он был для меня в такой степени характерен, можно сказать естествен, что я, хотя и не собираюсь хвалиться его изобретением, но все же не могу позволить похитить его у меня или допустить, чтобы кто-нибудь другой хвалился его изобретением». Это в огород Гегеля.

О Гегеле еще будут сказаны суровые слова. А пока Шеллинг ведет речь о своем этапе в развитии «негативной», то есть логической, мудрости. Он назвал раздел «Натурфилософия», но излагает здесь не столько свою позицию ранних лет, сколько современное свое к ней отношение, внося некоторые, порой существенные, коррективы. Одновременно он знакомит слушателей и со своим трансцендентальным идеализмом и с философией тождества.

Как правильно назвать его систему тех лет? «Очень трудно было найти этой системе подходящее имя, потому что она сохраняла в себе противоречия всех предшествующих систем. Действительно, это не был ни материализм, ни спиритуализм, ни реализм, ни идеализм. Ее можно было бы назвать реал-идеализмом, поскольку содержащийся в ней идеализм имел в качестве базиса реализм». Как видно из контекста, реализм теперь не равнозначен материализму (на чем Шеллинг настаивал в «Штутгартских беседах»). Протей-Шеллинг меняет не только облик, но и терминологию!

В свое время систему трансцендентального идеализма венчало искусство. Теперь выше искусства поставлена религия. А выше всего — философия, объединяющая в себе объективность искусства и субъективность религии.

Система «реал-идеализма», настаивает Шеллинг, всеобъемлюща, все познаваемое в нее включено. По части метода она безупречна. То же самое можно сказать о ее форме. И тем не менее что-то мешает признать ее в качестве «последней истины». В чем же дело? Философия тождества хорошо схватила движение, но беда в том, что это движение... мысли. А мысль, наука не могут схватить подлинное существование. Это чисто негативная философия, она необходима, но недостаточна. Только с помощью «положительной философии» можно познать бога.

О том, что такое «положительная философия», Шеллинг не спешит поведать своим слушателям. Ему надо сначала расквитаться со своим идейным противником. Раздел «Гегель» открывается следующей тирадой: «У Гегеля нельзя отнять заслугу, что он хорошо понял чисто логическую природу той философии, которую он стал разрабатывать и которой вознамерился придать совершенную форму». Если бы он на этом

остановился и подготовил переход к положительной философии, было бы все в порядке. Но он вознамерился придать своей философии всеобщее значение, и в этом его ошибка. Вся философия ограничивается у него логикой, все сущее, включая бога, становится понятием.

Шеллинг видит в гегелевском учении всего лишь искаженный, ухудшенный вариант собственной ранней теории. Гегель заимствовал свой метод из натурфилософии, но ухудшил его, подменив реальное развитие природы движением понятий. Гегель уверяет, что понятие обладает самодвижением, на самом деле двигаться вперед его может побуждать только сам философ. «Понятия как таковые существуют только в сознании, объективно рассмотренные, они не предшествуют природе, а следуют за ней. Гегель лишил их естественного места, поставив их в начале философии». В результате абстрагированное от действительности предшествует самой действительности.

Гегель начинает с абстрактного бытия, но такового нет, бытие всегда конкретно, имеет носителя. Становление не предшествует становящемуся. Мысль Гегеля занята пустыми абстракциями. Это как поэзия, которая обращена к самой поэзии. «Многие наши так называемые романтические поэты занимались подобным прославлением поэзии ради поэзии. Но никто не считал эту поэзию для поэзии подлинной поэзией».

Гегель объявляет свою логику наукой о том, как разворачивается божественная идея в чистом мышлении, до всякой природы, до времени. Как же затем идеальное превращается в реальное, как мысль создает мир, логика природу? По Гегелю получается, что природа — всего лишь «агония понятия».

Когда один идеалист критикует другого, выигрывает материализм. Шеллинг нащупал самую уязвимую точку, ахиллесову пяту гегелевской философии. Именно сюда нанесет удар материалист Фейербах.

Фейербах будет потом критиковать и Шеллинга. Но сначала он скажет Шеллингу спасибо. Год спустя после ухода Шеллинга из Эрлангена Фейербах защитит там диссертацию и пошлет текст ее Шеллингу в Мюнхен «в знак своего искреннего уважения и почитания». А когда (в 1839-м) выйдет первая антиидеалистическая работа Фейербаха «К критике философии Гегеля», то аргументы ее будут перекликаться с тем, что настойчиво твердил своим слушателям Шеллинг.

«В логике нет ничего изменяющего мир». Это еще один шеллинговский аргумент против гегелевского панлогизма. Гегель пытается разложить действительность на логические понятия без остатка и терпит неудачу, продолжает Шеллинг, но это не вина его, а беда: задача

неразрешима, Пытаясь решить ее, можешь только оттолкнуть людей от философии. «Нередко случается, что умы, наделенные опытом и ловкие, но лишенные настоящей изобретательности, берутся за решение механических задач, например за изобретение прядильной машины; они могут построить машину, но ее механизм оказывается столь сложным и трудным, шестеренки так скрипят, что люди предпочитают старый способ пряжи руками. Так может случиться и в философии... Если мучения противоестественной системы оказываются тяжелее, чем груз незнания, то предпочитают нести последний».

В прошлом были, однако, не одни только ошибочные, ложные учения. В числе непосредственных предшественников положительной философии Шеллинг называет Якоби. Своего недавнего врага он ценит за критику философского рационализма.

Слабость Якоби состояла в том, что он третирует природу. Философия не должна только устремляться ввысь; чтобы стать подлинной и всеобъемлющей наукой, она должна высоты сопрягать с глубинами. Тот, кто изначально отбрасывает природу как нечто бездуховное, лишает себя материала, в котором и из которого развивается духовное. Орел могуч в полете не потому, что его не тянет вниз, а потому, что он преодолевает притяжение. Дерево, корни которого глубоко ушли в землю, может все же надеяться на то, что цветущая его крона вознесется в небо, но мысли, изначально оторванные от природы, — это цветы, лишенные корней, пух, который поздним летом носится в воздухе, не поднимаясь высоко, но и не обладая достаточным весом, чтобы опуститься на землю. Вот такое идейное бабье лето и представляет собой учение Якоби, во всем остальном выполненное основательно и умело.

Упрек в третировании природы справедлив и в отношении Гегеля. Но к Якоби у Шеллинга еще одна, пожалуй, более серьезная претензия. Якоби третирует знание, полагаясь исключительно на веру. Задача положительной философии, по Шеллингу, состоит как раз в познании бога.

При том, что знание не должно иметь ничего общего с мистическим озарением, с теософией. Шеллинг по-прежнему не согласен с Баадером. Сен-Мартен для него «труп, набальзамированный покойник, мумия».

Рационализму всегда противостоял эмпиризм. Шеллинг берет на вооружение этот термин, вкладывая в него значение, отличающееся от общепринятого. Его эмпиризм не связан ни с повседневным чувственным опытом, ни с научным экспериментом. Нет, это философия, опирающаяся на опыт истории в целом, на сверхопытное знание о боге, человеке, природе.

И Шеллинг снова атакует Гегеля, который называет природу отпадением идеи от самой себя. Как происходит подобное «отпадение»? Как идея может решиться на такое? Возможно ли вообще потерять свое подобие? Если это действительно «отпадение», то это действие, поступок. Иначе выражение теряет смысл. У Гегеля пропадает реальная продуктивность природы. «Свежее дыхание натурфилософии растворилось здесь в сухих понятиях. Некогда пышные продукты природы превратились в логические метаморфозы, цветущий сад натурфилософии — в мертвый гербарий».

Шеллинг распаляет себя. Его красноречие преступает границы допустимого на университетской кафедре. Он апеллирует к локальному патриотизму баварцев. Доколе, провозглашает он, будет длиться южногерманское терпение к берлинским затеям! Пруссия пренебрегает тем, чем живет остальная Германия. Но вот в одной из южных столиц в новооснованном университете родилось живое философское слово, которое положит конец «новому вольфианизму», идущему из Берлина. Пусть гегельянство находит еще сторонников, многие из них отрекутся от него, «как только появится положительная философия».

Что это за панацея такая — положительная философия, с помощью которой Шеллинг грозитя сокрушить твердыню панлогизма, возведенную в Берлине? Может быть, только новый миф?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ СУМЕРКИ БОГОВ

*Растление душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, —
Кто их излечит, кто прикроет?*

Ф. Тютчев

Знал ли Гегель о том, что Шеллинг начал массированное наступление на его философию? Вполне возможно, что не знал. В печать пока еще ничего не проникало. Друг и постоянный корреспондент Гегеля Нитхаммер, проживавший в Мюнхене и исправно ходивший на модные лекции, об их содержании доносил в Берлин в самой общей форме. В январе 1828 года Нитхаммер сообщал Гегелю, что на лекциях Шеллинга он сидит вместе со своим сыном, встречается там много старых друзей. «И вообще эти лекции во многих отношениях весьма примечательны». В Нитхаммере умер незаурядный дипломат.

В те же самые дни С. Буасере писал Гёте: «Последние выступления Шеллинга полны острой полемики, он обходится с Гегелем как с кукушкой, которая уселась в чужое гнездо. И поскольку на его стороне не только приоритет и живость изложения, но и великие успехи в ясности, твердости и отточенности языка, которых он достиг за годы долгого молчания, то мрачная и невыразительная смесь гегелевской логики и метафизики дает ему превосходный материал для игры. Он утверждает, что так называемая чистая мысль у Гегеля в основе своей всего лишь экзальтированная пустота, которая приобретает содержание и интерес лишь вследствие уверток и непоследовательности своего изобретателя и что это самая худшая похвала для философии. Другой раз, сопоставляя предшествующую философию с гегелевской, он сравнил ее с попытками художника нарисовать человеческую фигуру, которому удалось далеко не все, кое-где возникли ошибки, несоответствие живой натуре, и вот приходит другой и повторяет попытку, подражая всему неудавшемуся, произвольному, неестественному, и получается уже просто обезьянничание, в результате две в общем сходные попытки отличаются друг от друга коренным образом».

Скорее всего Гегель не ведал о полемических выпадах в Мюнхене. Может быть, какие-то слухи и доходили до него, но мог ли он придавать им значение, обращать на них внимание, он, купавшийся в лучах славы как первый философ Германии? Он не достиг сановных вершин, что выпало на долю Шеллинга, не смог даже пройти в Берлинскую академию наук, но выходили и расходились его книги, лекции пользовались успехом, сложилась школа.

Вычеркнул ли Гегель Шеллинга из своей памяти? Нет, он только забыл некоторые детали. Например, где появился на свет божий его бывший друг и то обстоятельство, что они вместе учились в Тюбингенском университете. В гегелевских лекциях по истории философии говорится, что Шеллинг родился в вюртембергском городке Шерндорфе, что он «был студентом в Лейпциге и Иене». (В Лейпциге Шеллинг был доктором, а в Иене профессором, к которому Гегель обращался за протекцией!) Гегель уверял, что все ранние работы Шеллинга (в том числе и «Система трансцендентального идеализма») написаны «в фихтевском духе». Беда Шеллинга в том, что он, мол, «каждый раз начинал все с самого начала», «всегда находился в поисках новой формы». Гегель не оспаривал заслуг, более того, «великих деяний» Шеллинга, но все же рассматривал его лишь как последнюю подготовительную ступень перед тем, как философия достигла своей вершины в его, Гегеля, учении и засиял в ней свет абсолютной истины.

Однажды они встретились. Совершенно случайно, поздним летом 1829 года в Карлсбаде. Шеллинг писал жене: «Представь себе, вчера сижу я в ванне и слышу весьма неприятный полужнакомый голос, спрашивающий меня. Затем неизвестный называет свое имя, это был Гегель из Берлина, проездом из Праги, намеревающийся задержаться здесь на несколько дней. После обеда он пришел ко мне во второй раз, готовый к услугам и необычайно дружески расположенный, как будто между нами ничего не произошло. Так как мы не касались научных вопросов, чего я постараюсь не допустить, и так как он очень ловкий человек, то я провел несколько вечерних часов вместе с ним за интересной беседой».

В письме Гегеля жене иные интонации: «Вчера вечером я встретился с одним старым знакомым, с Шеллингом, который так же, как и я, прибыл сюда один, чтобы — в отличие от меня — пройти здесь курс лечения. Он бодр и здоров, ванны принимает только для профилактики. Мы оба обрадовались встрече и сошлись как старые сердечные друзья». Две разные реакции на встречу, две судьбы, Два человека. Гегель в благодушном спокойствии. (А через два года он умрет.) Шеллинг нервничает. [(Но жить

ему еще четверть века.)

По-разному реагируют они и на плагиат, жертвами которого стали оба. Эрлангенский профессор Капп в 1826 году выпустил книгу «Конкретно-всеобщее в мировой истории», где довольно близко к тексту оригинала вдохновлялся гегелевскими лекциями по философии всемирной истории. Гегель обратил на это внимание, но скандала не учинил, просто не ответил автору, пославшему ему дарственный экземпляр. Через три года появилось новое сочинение Каппа «О происхождении людей и народов», которое он посвятил «Гёте, Шеллингу и Гегелю». Второй без труда обнаружил заимствования из своих лекций по философии мифологии и выступил с возмущенным заявлением:

«Господин профессор Капп из Эрлангена несколько лет назад публично обворовал конспекты своего учителя господина профессора Гегеля по философии истории, ныне он позволил себе позаимствовать положения и выдать их за свои из лекций нижеподписавшегося по философии мифологии. Нижеподписавшийся сожалеет, что господин профессор Капп, используя такой простой и дешевый способ выступить в качестве первооткрывателя, тем самым исключил себя из великого научного сообщества, которое, как и любое другое, покоится прежде всего на правопорядке, честности и святом уважении к чужой собственности, и поставил себя в ряды писак, стоящих по замыслам своим в шкале бесчестности гораздо ниже, чем те, которые перепечатывают чужие произведения без разрешения авторов, поскольку интеллектуальная собственность выше материальной. Всеобщее чувство негодования по поводу подобного грабежа идей основывается не только на естественном неприятии любого нарушения права духовной собственности, которая является наградой за усердие и труды, самое возмутительное в преступлениях подобного рода состоит в том, что разрушается прекрасное, продуманное, выношенное целое, откуда вырываются отдельные фразы и лишаются надлежащего обоснования».

Возмущение Шеллинга было искренним: он никак не мог решиться предать гласности выношенные годами идеи, а тут они приходили к нему со стороны искаженные, опошленные и без всякой ссылки на того, кому они принадлежат. Хорошо Гегелю сохранять спокойствие: идет по

проторенной дороге, повторяя зады его, Шеллинга, юных идей. А каково ему, вознамерившемуся проложить новые, неизведанные пути философии?

Шеллинг снова чувствует прилив сил; пора болезней, слабостей и шатаний миновала, он снова «гранит», как когда-то называла его Каролина. Пусть судьба вознесла его близко к трону, но он не раболепствует, он готов самому королю, если понадобится, сказать суровые слова истины. Не побоялся он весной в день 70-летия Академии наук обнародовать то, что он думает о королевском вмешательстве в дела ученой республики. Король Людвиг приказал тогда сделать академиком австрийского историка барона Хормайра. Шеллингу это было не по душе, он считал, что Хормайру нечего делать в академии, и он прямо сказал: процветанию научных дел приказы помогают столь же мало, как росту растений, и в том и другом случаях нужно только создать подходящие условия, устранить препятствия и не вмешиваться в естественный процесс. Никаких фамилий он не называл, но всем было ясно, о чем речь.

Ему посоветовали воздержаться от публикации речи, по крайней мере, того места, где содержится прозрачный намек, угрожали опалой; он отказался наотрез, напечатал все, как сказал, и очень гордился своей публикацией. Считал ее фактически первым своим выходом в свет после четырнадцатилетнего перерыва. (В 1815 году вышла его речь о самофракийских божествах.) Король не обиделся на своего любимца, да и чего было обижаться, когда Шеллинг прав. Ведь он не пустой фрондер, готовый по любому поводу перечить начальству. Он полон пиетета перед двором и охотно поддержал идею избрать почетным академиком наследника престола Максимилиана.

«Его королевскому высочеству кронпринцу исполняется сегодня восемнадцать лет, и согласно конституции он достиг полного совершеннолетия. Королевская Академия наук, которая с момента ее основания всегда придерживалась патриотического направления и откликалась на все события, важные как для царствующего дома, так и для всей страны, не могла пройти мимо этого радостного события, не могла не присоединиться к всеобщим поздравлениям юному венценосцу, который по старонемецким обычаям получил право носить оружие, а со временем призван будет продолжить дело августейшего отца и деда на благо баварского народа». Это слова Шеллинга. А член академии фон Рот прочитал написанное по этому случаю латинское стихотворение, и собравшиеся единодушно проголосовали за предложение своего президента опубликовать стихотворение в трудах Академии наук, дабы достойным образом увековечить память о достославном дне 28 ноября 1829

года.

Шеллинг не ищет больше уединения, не скрывается от близких и посторонних. Его дом открыт для посетителей, а по пятницам он устраивает вечера для профессоров и студентов. В университете он читает только один курс, последовательно по частям излагая свою систему. Начал с большого, на целый семестр историко-философского введения, затем три семестра посвятил подробному изложению «Философии мифологии». На зимний семестр 1829 года объявил курс «Система мировых эпох».

В эту пору в Мюнхен для пополнения образования приехал молодой русский дворянин Петр Васильевич Киреевский, будущий выдающийся фольклорист. Шеллинг уже пользовался в России громкой известностью, и Киреевский поспешил записаться к нему на лекции. Курс должен был начинаться на следующий день, поэтому юноша отправился к профессору домой. Его встретили две дочери, и на вопрос, здесь ли живет господин тайный советник Шеллинг, старшая велела младшей узнать, дома ли отец, и стала разговаривать с приезжим по-французски о погоде. Младшая вернулась и сказала, что гостя просят пройти в приемную. «Взошел Шеллинг, но совсем не такой, каким я себе воображал его. Я часто слышал от видевших его, что никак нельзя сказать по его наружности: это Шеллинг. Я думал найти старика, древнего, больного и угрюмого человека, раздавленного под тяжелою ношею мысли, каким видал на портретах Канта; но я увидел человека по наружности лет сорока (Шеллингу было тогда 54 года. — А. Г.), среднего роста, седого, несколько бледного, но Геркулеса по крепости сложения, с лицом спокойным и ясным. Глаза его светло-голубые, лицо кругловатое, лоб крутой, нос несколько вздернутый кверху сократически; верхняя губа довольно длинная и выдававшаяся вперед, но, несмотря на то, черты довольно стройные и лицо хотя округлое, но сухое; вообще он, кажется, составлен из одних жил и костей. Определить выражение лица всего труднее; в нем ничего определенного не выражается, и вместе с тем лицо ко всем выражениям способное. Лихонин, говоривший, что выражение лица на портрете Жан-Поля слишком индивидуально, назвал бы выражение Шеллинга абсолютным. Только в нижней части лица видна какая-то энергия и легкий оттенок задумчивости в глазах, когда он перестает говорить. Но когда он, опустив на минуту глаза в землю, вдруг взглянет — какое-то молние блеснет в его глазах, обыкновенно спокойных. Вот все, что можно сказать о наружности Шеллинга. Он встретил меня извинением, что заставил дожидаться, и пригласил взойти в другую комнату, которая, как кажется, его кабинет. Здесь, говоря с Шеллингом, я ничего не мог заметить, кроме кипы бумаг на большом столе, несколько

рядов книг на досках, прибитых к стене. Когда я сказал, что желаю слушать его лекции, он отвечал, что очень рад, если хотя чем-нибудь может быть мне полезен, просил адресоваться к нему во всем, что он может сделать. Он посадил меня на диван, а сам сел передо мною на стуле и с вопроса, долго ли я намерен оставаться здесь, начал говорить о здешних собраниях по части искусства и библиотеках; потом, спросивши, в каком состоянии осталась библиотека Московского университета после пожара, начал расспрашивать о Москве... От университета он перешел к образу жизни москвичей, говорил, что воображает в Москве большое разнообразие во всех отношениях, смешение азиатской роскоши и, обычаев с европейским образованием, расспрашивал о состоянии нашей литературы, говорил, что он слышал, что она делает быстрые шаги, и что он слышал также, что у нас драматическое искусство процветает, особенно что есть отличные комики, но в последнем, по несчастью, я не мог подтвердить его мнения. Потом он перешел к настоящей войне.^[10] „России, — сказал он, — суждено великое назначение, и никогда она еще не высказывала своего могущества в такой полноте, как теперь. Теперь в первый раз вся Европа, по крайней мере все благомыслящие, смотрят на нее с участием и желанием успеха; жалеют только, что в настоящем положении ее требования, может быть, слишком умеренны“. Он говорил о трудностях русского языка для иностранцев и как важно между тем его изучение; хвалил его звучность; говорил, что очень много слышал о нашем Жуковском и что, по всем слухам, это должен быть человек отличный. Очень хвалил Тютчева».

Расставаясь, Шеллинг пригласил Киреевского навещать его. Прошло, однако, два месяца, прежде чем Петр Васильевич воспользовался приглашением. Это было время спора Шеллинга с Каппой о плагиате. Домой Киреевский писал об этой истории: «Здесь она делает много шума, и большая часть накидывается на Шеллинга, против которого уже и многие журналисты писали, в выражениях очень грубых, особенно осуждая его за то, что он так давно уже ничего не пишет. Вообще изречение „Несть пророка в отечестве своем“ над Шеллингом вполне оправдывается, и он здесь гремит так же мало, как у нас в Москве какой-нибудь Мерзляков. Главные обвинения против него, которые слышны здесь довольно часто, сводятся на два: „Непростительно Шеллингу, вопреки профессорской обязанности, так долго не печатать ни строчки“, и „возможно ли великому философу быть так молчаливу и не сообщительну“».

В том, что Шеллинг пытается рассеять, по крайней мере второе предубеждение, Киреевский убедился, побывав у него в гостях. «Я решился отправиться к нему сегодня, зная, что у него сегодня в силу пятницы

препочтеннейшее собрание профессоров, дам и студенчества. Я туда явился в половине седьмого. Меня провели в другую половину его жилья, где у него большие и красивые комнаты, и так как у него еще никого не было и сам Шеллинг еще не появлялся из своего кабинета, то меня приняла сначала его жена, женщина лет 45 и, как кажется, очень простая, добрая и обыкновенная немка. Я пробыл с ней минут 5, наконец начали съезжаться (то есть сходиться) профессора, студенты, и явился Шеллинг. Он хотя и забыл мое имя, но узнал меня и рекомендовал жене; потом по поводу холодной погоды начал было говорить о многих сходных действиях подполюсных и подэкваторных климатов, но вновь явившиеся гости его прервали, и с тех пор, кроме потчеванья чаем и усаживаний, я уже не говорил с ним почти в продолжение всего вечера и рад был, что, следуя примеру многих других, можно было ловко молчать, наблюдать его и его слушать. К нему собралось несколько студентов, человек десять профессоров, из которых я некоторых знаю по физиономии, других не знаю, и человек шесть дам... О чем были разговоры — пересказать нельзя, потому что они беспрекословно менялись, и не было ничего постоянного; по большей части, однако же, он вертелся вокруг различных предметов физики и натуральной истории...» Придя домой, Киреевский нарисовал силуэт Шеллинга и отправил его в Россию отчиму — знатоку и любителю немецкой философии.

Что касается первого «обвинения» относительно его многолетнего молчания в печати, то оно беспокоило Шеллинга, может быть, даже больше, чем упреки в необщительности, и он предпринимает новую попытку издать свой труд. В письмах П. Киреевского нет ни слова о лекциях Шеллинга: дело в том, что объявленный на зимний семестр 1829 года курс Шеллинг не прочитал, ему снова предоставили отпуск для завершения литературного труда.

...Зиму он корпит над рукописями. Во второй половине февраля отправляет Котте письмо с предложением срочно начать печатание (в третий раз!) лекций по философии мифологии. Пока готовы две части, первая уже переписана и может быть сдана в производство. Хорошо бы поручить дело (для быстроты!) нескольким наборщикам. Формат книги и шрифт — как при издании переписки Гёте — Шиллер. Сейчас он не может сказать, сколько авторских экземпляров на бумаге повышенного качества ему потребуется, но пусть Котта даст соответствующее распоряжение в типографию, а он затем уточнит детали.

Через две недели с небольшим ему все ясно: потребуется 36 авторских экземпляров, и он точно называет сорта бумаги, какие бы он хотел иметь в

авторских экземплярах. Обращается он прямо к типографу в Аугсбург, где печатается книга. Торопит. И вот книга снова отпечатана. Что дальше?

В июне 1830 года Шеллинг пишет Кузену в Париж: «Первый том моих лекций по мифологии напечатан четыре месяца назад, но я не могу найти время написать к нему предисловие». Дело осталось за малым, поэтому Кузен может подыскивать переводчика на французский.

Во время летнего семестра он снова приступил к лекциям. Читает «Введение в философию». К Петру Киреевскому присоединился его старший брат Иван. Они вместе ходят на лекции Шеллинга и к нему домой. Иван Киреевский, будущий философ и литературный критик, — большой почитатель Шеллинга, но услышанным недоволен: «гора родила мышь»; ничего нового по сравнению с тем, что он уже знал. «Лекции Шеллинга я перестал записывать, их дух интереснее буквальности».

1830 год полон революционных потрясений. Во Франции в третий раз (и теперь окончательно) рухнула династия Бурбонов. В Европе стало беспокойно. К рождеству в Мюнхене вспыхнули студенческие волнения. Войска наводили порядок. Пролилась кровь. Король пригрозил закрыть университет. Вечером 29 декабря в актовом зале Шеллинг собрал студентов и обратился к ним с взволнованной речью.

«Господа! Я собрал Вас по необычному поводу и хочу, чтобы вы выслушали меня еще сегодня. Я говорю не по поручению, не потому, что кто-то приказал или просил это сделать, исключительно по велению моего сердца, потому что я не могу допустить, чтобы повторилось то, что было здесь в последние ночи, чтобы продолжались волнения, которые имели печальные последствия и грозят нам всем более худшими». Он обращался к молодежи как учитель, наставник и друг. Он апеллировал к разуму и к благородству. Вспомните о ваших родителях, одумайтесь, пока не поздно! Присмотритесь к тем, кто вас будоражит. «Благодаря несчастливому стечению обстоятельств в Германии возник определенный сорт людей, правда немногочисленный, неспособных привлечь внимание сограждан, какой-нибудь великой мыслью или славным деянием и поэтому стремящихся к перевороту, чтобы поставить на заметное место свою незначительную, снедаемую бессмысленным честолюбием личность». Подумайте о родине, о чести нации. Разрушать сложившийся веками общественный порядок — безумие! Баварский народ достаточно горд, чтобы слепо подражать чужим привычкам, чтобы дать растоптать свои традиции и увлечь себя пустыми обещаниями.

Раздались аплодисменты. «Меня радует эта громкая, идущая от сердца овация, я отношу ее не к себе, а к высказанным мною идеям». Шеллинг

говорил о том, что тоже был когда-то студентом и его сердце горело чувством справедливости, горит оно и сейчас, именно поэтому он и обращается к ним с призывом преодолеть свое безрассудство — во имя родины, во имя науки, во имя университета. Покажите, что не удары прикладов, штыков и сабель сломили вас, а убедило слово учителя, исполненного к вам сердечной склонности и любви. Оправдайте же доверие учителя, не подведите его!

Шеллинг умолк. К нему подошла группа студентов и заверила его от имени собравшихся: ночью никто не выйдет на улицу. «Они сдержали свое слово. Ночь прошла спокойно, на улицах стояла мертвая тишина, нарушаемая только шагами многочисленных патрулей линейных войск и гражданской гвардии. Никто из студентов не пострадал». Такой припиской заканчивалась брошюра Шеллинга с текстом его охранительной речи, выпущенная уже через неделю после его выступления.

Брошюры с текстом речей — вот то небольшое, что Шеллинг незамедлительно выпускает в свет. В 1831 году он выступил на годовичном собрании Академии наук, посвященном ее 72-летию, и в 1832 году — по поводу ее 73-летия. Вторая речь называется «О новом открытии Фарадея» и интересна тем, что говорит о непотерянном интересе позднего Шеллинга к успехам естествознания, (Об этом свидетельствуют и недавно опубликованные в ГДР письма философа к химику Шенбайну, открывшему озон.)

Мы помним, как юный философ говорил о связи между магнитными и электрическими явлениями. Выступая теперь по поводу английского открытия, он напоминает о том, что «некоторые немцы» давно говорили о единстве магнитных, электрических и химических явлений, и отсылает к своим ранним работам. В 20-е годы Эрстеду удалось продемонстрировать магнитное воздействие электрического тока. Теперь Фарадей открыл возникновение электрического тока под влиянием магнита. Когда устанавливается связь между различными явлениями природы, между существовавшими порознь науками, это значит, что науки начинают подлинную жизнь. Прогресс научного знания всегда радует.

И как тяжело при этом вспоминать об утратах. Умер Гёте. Ушел человек, возвышавшийся как колосс во всех немецких внешних и внутренних смутах. Его сердце служило Германии, ее искусству, науке, поэзии, жизни. Германия осиротела.

Смерть Гёте потрясла Шеллинга. Он отменил очередную лекцию, а следующую целиком посвятил памяти поэта, олицетворявшего собой духовное единство страны.

За год до этого умер Гегель. Скоропостижно, во время эпидемии холеры. Для Шеллинга это не утрата. Занятий он не отменял, на смерть соперника откликнулся лишь словами сожаления, обращенными к слушателям: ему желательно было бы спорить с самим Гегелем, а не с его наследниками.

Вдове Гегеля, судя по всему, он не послал соболезнования. Сначала один из учеников Гегеля, а потом вдова попросили его вернуть письма покойного. Ответил он через три месяца, сославшись на то, что юношеская переписка его лежит неразобранная. Письма Гегеля в кон-це концов вернул, но свои: к нему просил не публиковать, а в гегелевских сделать купюры.

Относительно гегелевской философии он по-прежнему высказывается резко отрицательно. «Так называемую гегелевскую философию в отношении того, что принадлежит ей самой, я могу рассматривать только как эпизод в истории повой философии, и к тому же печальный. Чтобы выйти на путь подлинного прогресса, надо не продолжать ее, а порвать с ней, рассматривать как несуществующую» (сентябрь 1832 года, письмо к Вайсе). Шеллинг по-прежнему настаивает на том, что гегелевский метод — это всего лишь переведенный на язык логики, созданный им, Шеллингом, метод потенцирования, от которого он не думает отказываться, считая, однако, его недостаточным для построения «положительной» философии.

К 1832 году у него уже сложилась более или менее четкая система положительной философии. В зимний семестр он объявил курс под таким названием. Сохранилась подробная запись этого курса, недавно опубликованная в Турине. Это третий том из серии публикаций, посвященных Шеллингу, которые выходят под общей редакцией туринского профессора Л. Парезона (и без обращения к которым сегодня невозможно серьезно заниматься Шеллингом). Особенно важны для биографа том первый и пятый, где собраны свидетельства современников о Шеллинге, а также — четвертый, который содержит огромное количество мелких статей и заметок, разбросанных по разным изданиям и н, е вошедших в Полное собрание сочинений. Ко второму тому мы обращались, знакомясь со «Штутгартскими беседами». Теперь откроем третий том — студенческую запись курса «Положительной философии», который Шеллинг читал зимой 1832/33 года и летом 1833 года.

Строго говоря, перед нами очередное введение, первая часть системы. Вторую часть новой системы взглядов Шеллинга составляет развернутая «Философия мифологии», третью, и самую главную, — «Философия откровения». Границы между указанными частями расплывчаты. Шеллинг часто повторяет себя, он многословен, в нем говорит ущемленное

самолюбие: он то и дело напоминает о своих заслугах.

Идея системы по-прежнему важна для Шеллинга: философия познает всеобщие мировые связи, и потому она неизбежно принимает форму системы. Беда всех предшествующих систем в том, что они носили строго логический характер, были абсолютно замкнуты. Положительная философия не может быть завершена, и поэтому ее нельзя назвать системой. Но у нее другое преимущество: она систематически развертывает нечто положительное, утвердительное. Для того чтобы утверждать, надо иметь в основе твердое; такого фундамента нет в негативной, логической философии, и в этом смысле она не является системой.

Шеллинг снова рассматривает философские учения нового времени от Декарта до Гегеля. Специальный раздел он посвящает «Шеллингу». (Раздел так и озаглавлен в студенческой записи.) О себе Шеллинг, впрочем, не говорит в третьем лице. «Время охладило мою любовь к собственным идеям, да и современники постарались мне в этом помочь. То, что случилось более чем 30 лет назад, принадлежит истории. Ступень, на которую я поднял философию, была необходима. Позднее я передал свои первые идеи как эстафету другим... У каждого человека свое призвание: один изобретает, другой систематизирует. Последнее не требует ничего, кроме добросовестного усердия. Потомки сумеют оценить и то, и другое».

Здесь снова намек на Гегеля. Достойно было бы этим и ограничиться. Ведь бывшего друга нет в живых, он не может ответить. Но Шеллингу истина дороже дружбы, дороже представлений о благопристойности, и он снова нападает на гегелевскую философию. С самого начала она содержала «нечто совершенно старческое». К известным нам аргументам Шеллинг прибавляет новые. Гегель покончил с искусством: дух, вознесшийся до вершин абсолютного познания, не может теперь снизойти к художественному творчеству, этой низшей ступени его бытия. Для поэзии и искусства места теперь нет. А заканчивается гегелевское учение обожествлением государства. Несправедливо Гегеля обвинять в раболепии, но обожествление государства все же ошибка. «Государство — организм, воплощающий нравственную и религиозную жизнь. Но, как здоровое тело не чувствует свой организм, так и народы опускаются на более низкую ступень, если им приходится бороться во имя потребностей своего организма».

Гегелевская философия рационалистична и поэтому не имеет внутренней связи с религией. «Если превратить религию в рационализм, церкви опустеют». Культ разума невозможен: все умрут от скуки. Да мир и

не выглядит как создание чистого разума. Разум — акциденция, нечто случайное, второстепенное.

Гораздо ближе к религии, чем рационалистическая философия, эмпиризм. Уже говорилось, что, употребляя этот термин, Шеллинг имеет в виду, не опытную науку о природе, а особое, основанное на единичных фактах, отношение к богу. Шеллинг опять с одобрением вспоминает Якоби и Бёме.

Но сам он не желает быть их последователем. Свою задачу он видит в том, чтобы преодолеть рационализм, и эмпиризм, вернее, объединить их; в познании бога исходить из единства всеобщего и особенного.

Это любимая идея Шеллинга. В молодости он хотел подобным образом конструировать логическую систему науки, видел в совпадении всеобщего, и особенного основополагающий принцип искусства. Теперь этот принцип он применяет к высшему существу. Бог есть всеобщее и одновременно единичное, живое существо. Он творит мир в результате акта свободной воли. Положительная философия — философия свободы. Положительный — значит кем-то положенный, установленный в результате действия.

Положительная философия стремится к знанию цельному, всеобъемлющему и совершенному, она утверждает положительный идеал. Речь идет о боге, но бог, как потом докажет Фейербах, — это отчужденная сущность человека. Поставьте ее на свое место, и вы узнаете в положительной философии Шеллинга высокоморальную концепцию человеческой свободы, его ноуменального, как сказал бы Кант, то есть независимого от внешних воздействий, нравственного поведения. Сегодня этими проблемами занимается теория ценностей.

Три условия необходимы для реализации положительной системы. Во-первых — полная свобода действующей причины, чтобы не было ей при этом никакой корысти. Во-вторых — транзитивность действия, то есть перенесение его результатов на другой предмет. В-третьих — вовлеченность действующего в определенный процесс.

Все это Шеллинг говорит о боге. А Кант аналогичные требования предъявлял к человеку. Его ноуменальная личность руководствуется только долгом, а не какими бы то ни было другими соображениями, она думает о благе другого, существуя в определенных социальных условиях. Кант секуляризовал новозаветные заповеди, положительная философия Шеллинга вернула им религиозную форму.

При этом он не забывает о своем давнем принципе тождества. В боге совпадает идеальное и реальное, субъект и объект. Когда субъективное,

деятельное начало берет верх над объективным, возникает природа; развитие природы приводит к превращению объекта в субъект, так возникает человеческое сознание. «Именно здесь натурфилософия включается в высшую, положительную систему». Он не отрекся ни от одного из увлечений молодости, он только стремится превзойти их. Природу он любит и ценит по-прежнему, но постичь стремится мир духа, мир истории. «Наш непосредственный и ближайший интерес посвящен этому высшему процессу».

Любой процесс протекает во времени. Нашему нынешнему мировому времени предшествовало иное, «домировое» время, в ходе которого был сотворен мир, а в будущем предстоит «послемировое» время, когда исчерпает себя история. Итак, перед нами три «мировые эпохи» — прошлое, настоящее, будущее, — понять которые Шеллинг замыслил давно. Свои идеи о «мировом прошлом» он изложил в первой части положительной философии, которую он называет также «Мировые эпохи». «Историческому прошлому» посвящена «Философия мифологии».

С некоторыми ее идеями мы уже знакомы по лекциям, прочитанным в Эрлангене, и по тексту книги, которая чуть было не вышла в те годы. В Мюнхене «Философия мифологии» разработана куда более обстоятельно. Теперь это вторая часть системы положительной философии, переходная ступень к третьей, главной — «Философии откровения».

Мифология — исторически неизбежный момент в развитии сознания. В религии ей соответствует политеизм — многобожие. Изначально, по мнению Шеллинга, человеческой природе присущ монотеизм (представление о едином боге), но для того, чтобы такое представление укоренилось в сознании как нечто истинное, оно должно пройти через свое отрицание. Возникает триада: первобытный монотеизм — политеизм (мифология) — монотеизм христианства (откровение).

Положительная философия в целом посвящена обоснованию и истолкованию монотеизма. Некогда любезный ему термин «пантеизм» Шеллинг отвергает теперь как недостаточный, ошибочный, вредный. Пантеизм — это философия Спинозы, в которой нет ни жизни, ни развития. Еще меньше устраивает Шеллинга ходовой термин ортодоксии «теизм». В теизме бог противостоит миру как некая абстракция, всеобщее, лишенное индивидуальности, неспособное к творчеству. Шеллинг говорит об «импотентном боге» «импотентного теизма». Пантеизм богаче содержанием, чем теизм, но богаче всего «монотеизм». Только здесь, полагает Шеллинг, находит раскрытие принцип «всеединства» бога, единого в трех ипостасях.

Бог триедин, он представляет собой совпадение и различие трех «потенций»; когда-то потенциями Шеллинг называл ступени материального бытия, теперь это духовные творческие принципы — возможность ($-A$), долженствование ($+A$), необходимость ($\pm A$). Троичность божества придумало не христианство. В индийской религии, да и в других верованиях, можно обнаружить подобные идеи, которые подготовили появление христианской религии.

Путь к истинной религии, как и к истинной философии лежит через заблуждения. Это необходимый природный процесс. Мифологические представления нельзя назвать произвольными выдумками, но не следует видеть в каждом из них проявление разума. Какой разумный смысл был, например, в храмовой проституции, без которой замужняя женщина в Древнем Вавилоне не могла приобщиться к своей богине? А принесение в жертву первенцев, обряд, реминисценции которого заметны в библейской легенде об Аврааме, приготовившемся к закланию собственного сына? Но оба обряда подготавливали идею искупительского самопожертвования, которая легла в основу христианства.

Мифология — история «слепого сознания». Первая форма политеизма — культ звезд. Кочевники земли поклоняются кочевникам неба. Затем на небе появляется король, который в своем королевстве наводит порядки, аналогичные земным. Мифологический процесс повторяет в сознании человека подлинный процесс, происходящий в окружающем его мире, и воспринимается человеком как подлинная реальность. «Своеобразие моего способа объяснения состоит в том, что в мистериях и представлениях мифологии я вижу полную подлинность».

Высшую ступень политеизма представляет собой греческая мифология. Шеллинг усматривает в истории античных божеств смену культов, путь к все большей антропоморфизации и одухотворенности. Древнейшее божество Уран олицетворяло собой небо. Сочетавшись браком с Геей (землей), Уран заточал своих детей под землю. Младший из них Хронос (время) восстал против отца, оскотил его и занял его место. Своих детей Хронос пожирал. И, как перед этим его отец, он пал жертвой младшего сына — Зевса. Последний также невечен. Богоборец Прометей пророчит неизбежный конец господству Зевса. А в тайных обрядовых действиях древних греков — мистериях — бог умирал и воскресал вновь, был един в трех лицах. Мистерии готовили появление христианства, завершающее мифологический процесс.

Христианской религии посвящена «Философия откровения». Эту завершающую часть системы Шеллинг начинает с очередных уточнений и

вводных замечаний. Он снова отвергает обвинение в мистике и теософии. Его положительная философия — прямая противоположность теософии, она основана на знании, а не на непосредственном общении с богом. Теософию он находит у... Регеля. Прочитывая довольно туманное место из лекций по философии религии Гегеля о Сыне божьем, Шеллинг восклицает: «Все это настолько теософично, что выглядит как заимствование у Я. Бёме с той только разницей, что подобная фантастика у Бёме носит первозданный характер и действительно является плодом великого созерцания, а здесь она порождена философией, которая представляет собой чистейшую прозу, недвусмысленно трезвую и лишенную наглядности. По-настоящему опьяненному созерцанием можно простить, что он шатается, но не тому, кто совершенно трезв и лишь прикидывается захмелевшим».

Только теперь он приступает к делу. «Господа! Я начинаю сейчас лекции, которые можно рассматривать как своего рода цель всего изложенного мной ранее, которые содержат результат, подготовленный всем предшествующим ходом мысли. Многие из вас следили за ним с терпением и любовью. Все мои лекции внутренне едины и Предназначены для последовательного выявления последней системы, которая удовлетворяет не мимолетному, не формальному устремлению духа, но готова выдержать испытание жизнью. Этой системе не угрожает опасность потерять свое значение перед лицом великих проблем современности и исчезнуть как дым, наоборот, прогрессирующий жизненный опыт и все новые пути познания придают ей новую силу и мощь». Не слишком ли самоуверенно?

«Ни в одну эпоху не было такого количества умов, полностью потерявших связь с действительностью, как ныне. Причина лежит в распространенном мнении, будто подлинное образование состоит в том, чтобы погрузиться в мир абстракций и общих положений, между тем как все природное и все человеческое между собой связано сложнейшим образом. С одной стороны, наше время отворачивается от всего положительного, взаимообусловленного, традиционного, а с другой, как будто можно начать мир сначала и заново Построить его, пытается навязать действительности абстрактные и общие представления. Большинство пребывает в таком жалком заблуждении. Наше время страдает от многих бед, но спасенье не в абстракциях, противостоящих всему конкретному, а в оживлении традиции, которая только потому стала тормозом, что ее никто не понимает». Что это? Пустые причитания реакционера? Вы только прислушайтесь к нему: Шеллинг задумал остановить прогресс!

«Идея непрекращающегося прогресса есть идея бесцельного прогресса, а то, что не имеет цели, не имеет смысла, следовательно, бесконечный прогресс — это самая мрачная и пустая мысль. Последняя цель познания — достичь состояния покоя». Покой знания отличается от безмятежности невежества. Покой знания обоснован всем предшествующим развитием, это последняя остановка науки, «конец науки», когда она может перейти в веру. Начинать с веры наука не может, но завершиться ею должна. Вера не устраняет поиск, она стимулирует его, ибо она есть достигнутая цель. «Ищите, да обрящете».

Весь вопрос в том, что искать, к чему стремиться. Алхимики, например, противопоставили традиционной формуле — бог, добродетель, бессмертие, свою «чувственную» триаду — золото, здоровье, долгая жизнь. Алхимики искали «философский камень», превращающий в презренный металл все остальные, искали «эликсир жизни», возвращающий молодость и отдаляющий смерть. «Чувственный» человек противопоставляет себя природе, конструирует мир в отрыве от бога, становится эгоистом и в результате действует во вред самому себе. Положительная философия должна помочь «разорванному сознанию». Философ — по призванию своему врач, лечащий раны сознания. Излечение сознания — долгий процесс, для этого недостаточно прослушать лекцию. «Выздоровление затрудняется тем, что большинство больных не желает быть вылеченными, как те несчастные, которые поднимают истошный крик еще до того, как прикоснулись к их ранам; в подобном крике и состоит вся так называемая полемика против подлинной философии, которую ведут самозванные лжефилософы, пользующиеся успехом у черни».

Мысли Шеллинга несвоевременны. XIX век жил идеей буржуазного прогресса — накопление богатств, роста производства, расширения знания, захвата территорий. А тут приходит мудрец и говорит: пора остановиться. Иные смотрели на него как на кликушу, его сетования казались лишенными почвы.

Они обрели реальный смысл в наши дни, когда «дурная бесконечность», отрицательные последствия научно-технического прогресса поставили человечество на грань катастрофы: природные ресурсы близки к истощению, среда обитания загрязнена, искусственно порождаемые потребности достигли степени пресыщения, и висит над людьми призрак атомной гибели. Как тут не вспомнить о Шеллинге, не задуматься над его программой.

Сторонником безграничного прогресса был Кант, иронизировавший над идеей остановки, «конца всего сущего». Природа, мир вещей самих по

себе пребывают у Канта в «почетной отставке», как выразился Якоби, люди с помощью продуктивного воображения сооружают свой самостоятельный мир. Шеллинг увидел в этой мысли слабое место кантианства. Еще в молодости он призвал исходить из природы, осваивать ее, подчинять. Теперь он добавил: и приноравливаться к ней, привести кантовский мир «беспредельного, ничем не регулируемого человеческого произвола» в соответствие с природой. Эта программа куда более разумна, чем гегелевское представление об абсолютной истине, самоуспокоении, которое наука обретает в его философии.

Ныне мы все чаще сопрягаем науку с нравственностью, требуем от науки постоянного этического самоконтроля. Не этим ли болеет Шеллинг в существе своей положительной философии? Он рассказывает студентам историю художника, который на вопрос, что он рисует, всегда отвечал: «что получится». У художника всегда, что бы он ни писал — церковь или кухню, героическое деяние или базарную сценку, — получается одно — красота. Так и у истинной философии одно название — нравственность. Философия означает любовь к мудрости. «Следовательно, не всякое знание без различия к его содержанию нужно философу, но знание, содержащее мудрость». Рассудочный ум и мудрость — вещи различные. Ум может содержать нечто негативное, бесцельное. «Мудрость не припишешь тому, что направлено к безнравственному или стремится достичь благие цели, используя безнравственные средства».

Каково познаваемое, таково и познающее. И наоборот. Если я требую от знания мудрости, оно должно быть направлено на определенного рода бытие. Мудрость порождается свободой. Следовательно, предмет философии — свобода. Как же выглядит наиболее свободное деяние?

Мысль Шеллинга движется в традиционных формах. Воспитанный в протестантской, пиетистской традиции, он мыслит традиционными религиозными категориями. Олицетворенная свобода для него Иисус Христос. Сын божий отказался от своей божественной ипостаси, выбрал человеческую судьбу, а в ней самое ужасное, мучительное и унижительное — незаслуженную, позорную казнь. В любой момент он мог прекратить свои мучения, во испил чашу до дна. Вот почему христианство, по Шеллингу, — «второе сотворение мира», на этот раз мира человеческой свободы.

Ветхозаветный и языческий мир подчинен законодательству или произволу богов. Идея искупительного жертвоприношения присутствует во всех религиях, идея самопожертвования только в христианстве. Христианство впервые провозгласило право человека на самостоятельный

выбор судьбы — добра или зла.

Шеллинг не ломает теперь голову над природой зла. Олицетворение злого начала — сатана, он принадлежит божественному промыслу, и все тут. Бог терпит зло и использует его как средство. Как гётевский господь, обращающийся к Мефистофелю со следующим повелением:

Из лени человек впадает в спячку,
Ступай, расшевели его застой,
Вертись пред ним, томи и беспокой,
И раздражай его своей горячкой.

Большинство слушателей Шеллинга — верующие люди. Им импонирует религиозная увлеченность профессора. Впрочем, довольны не все: иные находят Баадера содержательней, а в лекциях Шеллинга видят только внешний блеск, ничего принципиально нового по сравнению с его прежней пантеистической философией тождества (сам Баадер называет Шеллинга банкротом в философии). Другие, склоняющиеся к атеизму, раздражены его религиозностью. В целом он пользуется небывалым успехом. В аудитории триста мест, она всегда полна, а пускают на его лекции только по предъявлению студенческого билета. «Этот человек умеет читать лекции! — записывает очевидец в 1835 году. — Его следует рассматривать как величайшего преподавателя, когда-либо переступавшего порог университета».

Сегодня мы не слышим голос Шеллинга, перед нами безмолвный текст. Рассуждения о боге и сатане не покорабят глаза: у нас достаточно образования, чтобы увидеть за ними человеческий смысл, достаточно вкуса, чтобы оценить их философские достоинства. Позднего Шеллинга мы читаем, как читаем «Фауста». Отвлекаясь от внешних атрибутов, смотрим в корень. А корень проблемы — нравственность. Она нам нужна.

Тем более что Шеллинг не апологет современной ему церкви, скорее критик, еретик. Он намерен превзойти известные ему формы христианства. Католицизм (церковь апостола Петра) он рассматривает как пройденный этап, протестантизм (церковь апостола Павла) — как переходный. Новое, будущее христианство он связывает с именем апостола Иоанна. Церковь Иоанна будет предельно универсальна, объединит все народы, включая язычников и иудеев. Есть основания полагать, что надежды на обновление христианства Шеллинг связывал с православием. В. Одоевскому он скажет: не будь я так стар, я принял бы православие.

В канун нового, 1833 года пришло траурное известие: умер давний друг, издатель Иоганн Фридрих Котта. Его сын Георг, унаследовавший фирму, скоро дал о себе знать, Лежит на складе, писал он, отпечатанный тираж «Лекций по мифологии», или как они там называются, без титульного листа и предисловия. Если соизволите прислать то и другое, то книга выйдет к пасхе. Издательство заинтересовано в том, чтобы выпустить скорее новый труд знаменитого автора.

Шеллинг не спешил отвечать: он не привык, чтобы его торопили. Котта-старший никогда не позволял себе такого.

Через десять дней пришло новое письмо от Котты-младшего. Пришлось отвечать. Шеллинг сослался на загруженность в университете: конец семестра, а в Академии наук годовое собрание. К тому же, чтобы принять решение о лекциях по мифологии, нужно еще раз прочитать отпечатанный текст, а этому препятствует нездоровье. Коль скоро необходим немедленный ответ, то «по причинам, о которых могу судить только я сам», он будет отрицательным: в отрыве от других частей его философии книгу выпускать нельзя. Убытки Шеллинг, разумеется, берет на себя. В дальнейшем, «самое позднее через год», он готов представить следующие работы:

Положительная философия (Система мировых эпох). Один или два тома.

Философия мифологии — шесть томов.

Философия откровения — два тома.

Котта попросил вексель на три с лишним тысячи флоринов за непроданный тираж «Философии мифологии» и представил господину тайному советнику документацию о других его денежных отношениях с издательством за четверть века. Получалось, что Шеллинг должен еще три тысячи флоринов. Котта попросил вернуть тысячу, Шеллинг выложил две. Но предупредил, что в дальнейшем будет требовать повышенные гонорары: он передаст издательству результат двадцатилетних раздумий, на который ушло много труда и который перевернет науку больше, чем все ранее написанное, к тому же у него большая семья. А также потребовал, чтобы Котта немедленно отремонтировал принадлежащий ему дом, в котором Шеллинг снимает квартиру. Еще когда он въехал в нее, на потолке была

трещина, а теперь она увеличилась, так что в столовой опасно находиться. Внизу уже рухнул потолок, дело обошлось, слава богу, без жертв, но надо принимать срочные меры.

Проблема гонорара возникла вскоре, когда Шеллинг весной 1834 года написал предисловие к немецкому переводу работы Кузена. (Последняя, в свою очередь, представляла собой предисловие ко второму изданию его «Философских фрагментов».) Предисловие Шеллинга было кратким, но, писал Котте Шеллинг: «Я не могу исчислять гонорар за эту работу только по количеству страниц, я должен учитывать значимость содержания и глубокие его результаты, а также усилия, потраченные мной на перевод; надо принять во внимание и то, что благодаря моему предисловию, книга станет предметом всеобщего интереса. Поэтому 150 флоринов. Если это вас не устраивает, выпускайте перевод без предисловия и верните мою рукопись назад».

Котте принял условия Шеллинга. Он понимал, что появление философской работы Шеллинга после 22-летнего молчания (памфлет против Якоби вышел в 1812 году) вызовет сенсацию. Заодно напомнил Шеллингу, что типография в течение лета в любой момент готова принять первые тома его новых произведений. Шеллинг еще зимой обещал завершить работу. Да, да, он скоро все закончит. Поэтому он попросил Котту снабдить рекламу книги следующим текстом от имени издательства:

«Предисловие Шеллинга посвящено прежде всего трактату Кузена, но одновременно содержит и краткое изложение главнейших его позиций в философии и может рассматриваться как достойная подготовка его больших философских произведений, которые появятся в ближайшем будущем. От Шеллинга, конечно, ждали, что он выскажется в своей работе по всему тому, что было выдвинуто против него. Ожидания не будут обмануты; можно только подивиться, как простыми средствами и немногими штрихами он показал ничтожество того, что почиталось некоторыми как важнейшее. Слов здесь немного, но это убийственные слова».

Все это опять против Гегеля. Теперь уже не с кафедры, не в переписке, а в печати. Кузен почитал обоих. Шеллинга любил, перед Гегелем преклонялся. «Гегель, — писал он, — с трудом и лишь изредка выражает глубокие, загадочные мысли, его сильная, но затрудненная в подборе выражений манера говорить, его неподвижное лицо, суровый лоб кажутся

символом замкнувшейся в себе мысли. Шеллинг — это разворачивающаяся мысль, его язык, как и взгляд, полон света и жизни». У Гегеля — рефлексия, у Шеллинга — воображение, он — творец системы. «Гегель много заимствовал у Шеллинга, а я гораздо более слабый, чем они, много заимствовал у них обоих». Кузен хотел прославить обоих: поднести цветы здравствующему учителю и положить их на могилу покойного. Шеллинг принял поднесенный ему букет, но венок, предназначенный Гегелю, попытался сбросить с его могилы.

Шеллинг еще шесть лет назад предупреждал Кузена, что не потерпит сопоставления себя с Гегелем: «Я не хочу никакого сочетания, никакого смешения, никакого слияния абсолютно несопоставимых систем, даже если о них говорят как об истинных принципах. Оставьте мне мои идеи, не сочетая с ними, как вы это делаете, имени человека, который занимался лишь тем, что воровал их у меня и показал себя в такой же степени неспособным завершить их, как неспособен был их изобрести».

Теперь Шеллинг обязан Кузену орденом Почетного легиона и членством в Парижской академии наук. Да и вообще, выступая в печати, он должен выбирать обтекаемые выражения. Почитатели сравнивают Гегеля с Аристотелем: как Аристотель выправил Платона, так и Гегеле Шеллинга. Последний, однако, предлагает другую пару мыслителей для сравнения — Лейбниц и Вольф: как Вольф повторил и засушил Лейбница, так... и т. д.

В предисловии к Кузену он пишет об эмпирическом начале, которое присутствует в немецкой философии. Кант исходил из опыта, и он, Шеллинг, всегда старался избежать рационалистических крайностей. Это эмпирическое начало устранил более поздний пришелец, который казался предназначенным природой для создания нового вольфианизма, устранил тем, что живую действительность подменил логическим понятием. Между тем первично не понятие, не бытие как абстракция, а сущее. Полагать бытие первичным — значит, полагать его без носителя бытия, без сущего. Что касается Кузена, то можно только удивляться его юношеской непосредственности, с какой он признается, как мало понимает Гегеля (Шеллинг, мол, рад помочь ему). О своей положительной философии Шеллинг говорил глухо, намеками, в оракульских тонах. Работа возбудила любопытство, ясности не внесла, пробудила новые кривотолки.

Гегельянцы укоряли Шеллинга за то, что при жизни их учителя он молчал и только теперь поднял голос. Ученик Шеллинга Беккерс решил вступить в спор и уточнить детали. Шеллинг сам правил его текст, вписывая целые фразы. Вписал фразу о том, что гегелевская система возникла из его ранней системы. Беккерс напоминал: Шеллинг уже семь

лет как критикует Гегеля. Шеллинг добавил: когда скончался Гегель, он высказал сожаление, что теперь придется спорить не с ним самим, а с его адептами.

Шеллинг все еще надеялся подготовить свои труды к печати. Два дня он в Мюнхене, а пять за городом. Пишет, пишет, пишет. Пышет негодованием по поводу бессовестных гегельянцев, использующих любой повод, чтобы ему напасть. В Париже некто Коллов, бывший мюнхенский студент, начал публиковать свои записи шеллинговских лекций по мифологии в парижском журнале. Гегельянец Габлер отреферировал публикацию в берлинском журнале. Обращаясь к Шеллингу, он писал, что нора ему самому ознакомить читателей со своей новой философией, а то он походит сейчас на мифологического Тифона, получившего от Зевса бессмертие, но не вечную молодость и влачившего жалкое старческое существование, пока его не превратили в цикаду. Философия мифологии — это цикада, в которую превратилось учение Шеллинга.

Шеллинг возмутился, написал в Париж по-французски гневный протест против недозволенной им публикации, искажающей его взгляды. (Кузен, однако, отсоветовал ему выступать с ним в печати), и решил форсировать выход своих трудов. У него уже готова к набору первая часть «Философии мифологии». За нее он хочет получить гонорар три тысячи флоринов. Он понимает, что это высокий гонорар, но сил и времени на книгу потрачено много. За другие тома он готов получить меньше. Первую часть он представит к Новому году, вторую — к пасхе. Третья часть будет содержать введение ко всей системе, после нее можно будет выпустить «Философию откровения». Сколько всего получится томов, он пока сказать не может.

Котта жметса, говорит, что многотомные издания нерентабельны, ему проще заплатить пять тысяч за два тома, чем четыре тысячи за четыре, но условия Шеллинга принимает, ставя, в свою очередь, свои условия: 1. Чтобы его высокоблагородие обязался печатать свои труды только в этом издательстве. 2. Чтобы гонорар за первую часть не стал масштабом оплаты после дующих частей. 3. Чтобы первая часть действительно была закончена к пасхе 1836 года.

Следующее упоминание о «Философии мифологии» в переписке Шеллинг — Котта мы встречаем в декабре 1837 года. Шеллинг рекомендует издать по-немецки «Историю Флоренции» Тьера, рекомендует переводчика и заканчивает письмо следующей вежливой формулой: «Оставляя за собой право в ближайшем будущем более детально написать о

первой части моей „Философии мифологии“, пребываю в совершенном почтении».

Последние два года Шеллинг пребывал в напряжении и раздражении. Он напрягал силы, стремясь подготовить к печати рукопись, и раздражался по поводу того, что никак не может остановиться. Без конца меняет он свои планы: то убежден, что нельзя открывать публикацию своих новых трудов с мифологии, надо сначала дать введение, где будет показана ограниченность негативной философии и изложена суть философии положительной; то вдруг ему становится ясным, что введение еще совсем не готово, а в лекциях по мифологии наведен последний блеск, пусть они не внесут полную ясность, но все же напомнят о нем, о котором уже идут слухи, что он окончательно выдохся; то вдруг решает начать «с конца», с главного, с философии откровения; то решительно откладывает все рукописи и начинает редактировать философский отдел «Мюнхенских ученых записок».

От лекций уйти нельзя. Как ни ограничивает он доступ для посторонних, как ни упрощает студентов использовать записи только для самих себя, конспекты расползаются по стране, попадают в печать, создавая неполное, а подчас и превратное представление о его нынешних взглядах. Никто толком незнаком с его положительной философией. А гегелевская система, внешне стройная, логичная, завоевывает все большее количество сторонников. Северные университеты все заражены гегельянством. Баадер, правда, уверяет, что Гегель перед смертью ему признался, будто у него нет никакой системы и он страдает от этого, но это знает только Баадер, а публика видит выходящие тома Полного собрания сочинений, где все изложено в строгом порядке и куда ретивые гегельянцы постарались включить даже то, что бесспорно принадлежит Шеллингу (некоторые статьи в «Критическом философском журнале»).

— Он пишет свою систему, но бывает редко доволен написанным и часто уничтожает свои рукописи... Не думайте, однако, что эта нерешительность и переменчивость происходят в Шеллинге от незрелости его системы и шаткости его основных положений. Нисколько. Его академические чтения в продолжение нескольких лет почти те же, он изменяет их разве в частностях. Нет, не сущностью своей системы, а ее формой он недоволен... Шеллинг давно отстал от мнения, будто наука мудрости должна быть исключительной принадлежностью одной малочисленной касты, и преподаваема на каком-то условном языке, понятном только для немногих.

Так объяснял сложившуюся ситуацию русскому литератору Н. А.

Мельгунову, приехавшему в Мюнхен, известный коллекционер и искусствовед С. Буасере, близко знавший Шеллинга.

Правда ли, спросил русский, будто Шеллинг в поисках подходящей формы для своей системы пытался изложить ее стихами, в виде поэмы? Нет, это клевета, как и то, что Шеллинг перешел в католичество.

Один слух относительно Шеллинга, по мнению Мельгунова, имел под собой почву: будто баварский король назначил специального секретаря, дал ему в помощь опытных стенографов, вменив им в обязанность составить полную запись курса. «Надобно надеяться, что хотя этим средством сохранится для потомства учение, которому иначе угрожает незаслуженное забвение в неизвестности».

Мельгунов хотел повидать Шеллинга, но философа в Мюнхене не было. Закончив летний семестр 1836 года, он скрылся. Никто не знал куда.

Случайно Мельгунову удалось разведать, что Шеллинга видели в Аугсбурге, живет уединенно, почти инкогнито, усиленно работает. Мельгунов отправился в Аугсбург, запасшись поклонами Шеллингу от трех человек — Баусере и двух русских друзей философа — посла в Баварии князя Гагарина и сотрудника посольства поэта Тютчева.

В Аугсбурге Мельгунов поручил трактирному слуге разыскать философа и передать ему свою визитную карточку. Слуга долго бегал по городу, пока наконец не вернулся с известием, что господин тайный советник фон Шеллинг живет в скверной гостинице на краю города, занимает там маленькую комнату и потому не может принять у себя русского дворянина, но в четыре часа придет к нему сам.

В назначенное время Шеллинг явился. Мельгунов видел в Мюнхене репрезентативный портрет: самоуверенный вельможа в модном фраке при аккуратно повязанном шейном платке закутан в живописно драпированный плащ. Теперь перед ним стоял ученый, небрежно одетый и причесанный, простой в обращении.

Беседа продолжалась час. Мельгунов рассказывал о России, о русском интересе к Шеллингу, о том, что там ничего не знают о его новом учении. Шеллинг расспрашивал о трудах Погодина по философии истории. Жаль, что он не читает по-русски, ему так хочется следить за развитием молодой и свежей культуры. Относительно своего учения Шеллинг сказал, что оно состоит из четырех частей — историко-философского введения, системы положительной философии, философии мифологии, философии откровения. Мельгунов спросил о натурфилософии, исключена ли она из его новой системы. Ни в коем случае, наоборот, он полон новых идей в этой области, это будет особая, пятая часть его учения.

— Какое, существенное отличие Вашей теперешней системы от прежней?

— Она та же; главные, основные начала не изменены, только она возведена в высшую степень... Я стою на высшей точке, чем прежде, но основание, которое меня поддерживает, то же.

В пять часов Шеллинг поднялся, извинился: он ожидает сына, и ушел. Мельгунов сразу же записал содержание разговора.

*

Идея пригласить Шеллинга в Берлин возникла вскоре после кончины Гегеля. Прусский кронпринц симпатизировал ему, и по его инициативе вопрос рассматривался в правительстве. Шеллинг был в курсе дела. «Одно очень высокое лицо имеет намерение меня перетянуть, — писал он Беккерсу в конце 1834 года. — Все, что вокруг меня происходит, способствует тому, чтобы облегчить мое расставание с Мюнхеном и научными учреждениями Баварии».

Казалось бы, Шеллингу грех жаловаться на свою жизнь. Он вознесен на академический Олимп и осыпан милостями короля Баварии, который полностью ему доверяет, поручив ему философское образование своего сына. Шеллинг регулярно, помимо университетского курса, читает такой же курс лично кронпринцу Максимилиану (тому самому, которого в день его совершеннолетия приняли в Академию наук). Они подружились, и наследник его боготворит. И все же время от времени Шеллингу дают понять, что он чужак, протестант, ему нечего делать в католической Баварии. Чем дальше, тем явственнее поднимает голову церковная реакция. Поговаривают о том, что пора ограничить Шеллинга одной Академией наук, что в католическом университете философию должен читать католик. Вот почему Шеллинг иногда с надеждой взирает на Берлин.

Первую попытку передать Шеллингу кафедру Гегеля пресек прусский министр Альтенштейн, ведавший делами просвещения. Заядлый гегельянец, он выдвинул против Шеллинга целый веер аргументов: Шеллинг стар, давно ничего не публикует, полного философского курса, включая логику, никогда не читал, наверняка захочет он стать членом Государственного совета, а оклад придется положить ему четыре-пять тысяч талеров, что вызовет недовольство остальной профессуры. Прусский король согласился. Вопрос закрыли.

В 1840 году короля не стало, на прусский трон под именем Фридриха-

Вильгельма IV вступил поклонник Шеллинга. Альтенштейна тоже не было в живых, а кафедра Гегеля все еще пустовала. В августе начались новые переговоры с Шеллингом. От имени прусского монарха к философу обратился дипломат Бунзен, который писал, что, став королем, Фридрих-Вильгельм IV еще острее, чем будучи наследником, озабочен ситуацией, сложившейся в Берлине, где все подчинено «высокомерию и фанатизму школы пустого понятия», приводил собственные его величества слова о том, что пора уничтожить «драконово семя гегелевского пантеизма». Настал великий миг, король решил с божьей помощью принять решительные меры. «Он хочет Вас видеть вблизи себя, чтобы лично почерпнуть Вашей мудрости, опереться на Ваш опыт и силу характера... Он приглашает Вас не просто на должность, им или Вами выбранную, но призывает на пост, предназначенный Вам самим богом для блага всего отечества. Никто не осудит Вас за принятие столь важного решения, все могут только приветствовать это. Пост уникален, как и личность, для которой он предназначен, которую король зовет как орудие нации». Таких приглашений в немецкой университетской практике еще не было.

Шеллинг колебался: в 65 лет бросать насиженное место, и какое место! Прусский король, правда, обещал сохранить все доходы, титулы и привилегии Шеллинга, полностью освободить его от цензуры как публикаций, так и устных выступлений. А в Мюнхене все труднее становилось ладить с католиками. Берлин — цитадель гегельянства, это влекло (хорошо бы вытравить «драконово семя») и отпугивало (а что, если оно тебя погубит?). И как он будет переносить непривычный северный климат? Шеллинг не говорил ни да, ни нет.

Тем временем прусская дипломатия делала свое дело. Баварского короля Людвига (родственника Фридриха-Вильгельма IV) уломали, труднее было с кронпринцем Максимилианом, учеником Шеллинга, тот жил в Афинах и молил своего учителя не покидать Баварии.

«Я не закрываю глаза на преимущества, которые мне дает здешнее положение, — объяснял Шеллинг брату сложившуюся ситуацию, — но мне также ясно, что те немногие годы, которые осталось мне прожить, можно с большим успехом использовать в Берлине, и ради этого следует пойти на жертву».

Для начала нашли компромисс: Шеллинг берет отпуск на год. 17 февраля 1841 года прусский король подписал декрет о назначении Шеллинга в Берлинский университет. Начались приготовления к переезду.

Июль и август Шеллинг провел в Карлсбаде. Отсюда он пишет А. И. Тургеневу. Прочтем его письмо полностью и потому, что оно еще ни разу

не публиковалось (оригинал хранится в ЦГАЛИ, расшифрован, в Баварской академии наук), и потому, что ни к кому из своих коллег и единомышленников Шеллинг не обращался с такими проникновенными словами:

Высокочитимый, дорогой доброжелатель и друг!

До конца мая, пока Вы находились еще в Париже, я не мог сообщить ничего определенного, а теперь я не знаю, где Вас искать. Одна русская дама здесь, в Карлсбаде, взялась переслать Вам мое письмо через господина Жуковского; пользуюсь этой возможностью, чтобы сообщить, что самое позднее в конце сентября я буду в Берлине, останусь там на зиму и, такова господня воля, буду читать лекции. Какое было бы счастье встретить Вас там и видеться с Вами длительное время. Нет слов, чтобы передать, как часто мне Вас не хватало. Чем старше становишься, чем больше жизненный опыт и раздумья учат тебя, тем труднее найти человека, вместе с которым хотелось бы жить, а мы с Вами в глубине души, в самом сокровенном чувствуем одинаково. Не лишайте меня надежды на скорое свидание: в особых условиях моей жизни в Берлине мне в высшей степени важно будет иметь поблизости друга, такого, как Вы, которому я смогу выказать мою привязанность и глубокое почтение, с чем остаюсь

Ваш

искренне преданный и покорный слуга

Шеллинг.

Карлсбад, 3 авг. 1841 г.

В октябре Шеллинг прибыл в Берлин. Студенты хотели устроить в его честь факельное шествие, но он наотрез отказался, сказал, что не будет дома. Министр Эйхгорн дал парадный обед. Эту честь он, принял. Отвечая на приветствия, заявил, что прибыл в прусскую столицу, чтобы вывести философию из тупика, но надеется, что спор будет сугубо научным.

Шеллинг старался избежать скандала. Надо сказать, что и гегельянцы не все оцетинились против него штыками. Руге, бывший его эрлангенский студент, а ныне преподаватель философии в Галле, еще три года назад установил контакт с Шеллингом, послал ему свой журнал «Галлеские

ежегодники», предложил начать переиздание старых трудов Шеллинга. Тот поблагодарил за журнал, от переиздания пока отказался, но помог Руге преодолеть свалившиеся на него цензурные неприятности.

Летом они виделись в Карлсбаде, и Руге остался доволен встречей. Некоторые из берлинских учеников Гегеля проявляли интерес к новому учению Шеллинга и ждали начала курса.

«Что касается гегельянцев, то большинство из них будет меня слушать, публично и приватно они заверили меня в почтении и оказывают его. В следующий понедельник вечером я начинаю. Напряжение невероятное, университетское начальство принимает меры, чтобы избежать скандала из-за того, что самая большая аудитория может оказаться маленькой для всех желающих. Я буду говорить свободно, ничего не скрывая, и боюсь, только наплыва; студенты уж заявили: если их не пустят в двери, они пройдут через окна».

И вот наступило 15 ноября. На следующий день после десятой годовщины смерти Гегеля его младший однокашник по Тюбингену, когда-то друг, затем соперник и враг, вступил на его кафедру. Выбрали самую большую аудиторию. Она полна, присутствуют человек четыреста, представители всех сословий, наций и вероисповеданий. Устроили тщательную проверку студенческих билетов, но на скамьях кого только нет. «Среди задорной молодежи вдруг видишь седобородого штабного, а рядом с ним в совершенно непринужденной позе вольноопределяющегося, который в другом обществе из-за почтения к высокому начальству не знал бы, куда деваться. Старые доктора и лица духовного звания, чьи матрикулы могли вскоре праздновать свой юбилей, чувствуют, как внутри их начинает бродить старый студенческий дух, и они снова идут на лекции. Евреи и мусульмане хотят увидеть, что за вещь христианское откровение. Слышен смешанный гул немецкой, французской, английской, венгерской, польской, русской, новогреческой и турецкой речи», — рассказывал очевидец — Фридрих Энгельс.^[11]

(Никогда еще ни один профессор не собирал столь блистательной аудитории. Что генералы и сановники, в Берлине Шеллинга слушали властители умов: молодой тогда Фридрих Энгельс и стареющий Александр Гумбольдт, будущий знаменитый датский философ Серен Киркегор и польский — Аугуст Цешковский, русский революционер Михаил Бакунин и польский — Эдуард Дембовский, немецкий рабочий лидер Фердинанд Лассаль и русский писатель Владимир Одоевский, историки Леопольд Ранке и Якоб Бурхардт, философ истории Дройзен, философ права Савиньи, логик Тренделенбург. И знакомый нам Стеффенс, некогда

присутствовавший на первой лекции молодого Шеллинга, — теперь старик — сидел у ног старика.)

Шеллинг появляется на кафедре, («Человек среднего роста, с седыми волосами и светло-голубыми веселыми глазами, в выражении которых больше живости, чем чего-либо импонирующего... производит впечатление скорее благодушного отца семейства, чем гениального мыслителя».^[12]) Ждет, когда наступит тишина. «Господа! Я понимаю значение этого мгновения». Слова его тонут в шуме. Двери закрыты, в них ломаются. Кто-то кричит: «В актовый зал!» Ему отвечают хором: «Останемся здесь». Шеллинг совсем смешался.

Постепенно водворяется тишина, смолкает шиканье, можно продолжать. Шеллинг говорит: сорок лет назад он открыл новый лист в истории философии, одна сторона его исписана, ему хотелось, чтобы кто-нибудь другой перевернул страницу и начал бы писать дальше. Если придет юноша, созревший для такой задачи, он охотно уступит ему свое место. Увы, ему приходится самому продолжать свое дело и отвечать на вопросы, поставленные эпохой.

Берлин он назвал «метрополией немецкой философии». Высказал свое почтение королю, которого он чтил еще до того, как его украсил державный пурпур. Назвал имя Канта как философа, имевшего значение для всей Германии. Напомнил о Фихте и Шлейермахере. Гегеля не упомянул. Только одобрительно процитировал Ганса, безвременно скончавшегося ученика Гегеля, высказал сожаление по этому поводу и по поводу того, что «этот умный ж проницательный человек» приписал создателю философии тождества уход в «непроницаемую для науки веру». Ну что ж, значит, будет полемика, только пусть она не станет главным занятием. Он намерен не растравлять, а лечить раны, не разрушать, а созидать. Вот что нужно сегодня Германии. История немецкой философии вплетена в историю немецкого народа. В дни национального унижения философия поддерживала немцев. Как немец, он желает блага своей стране, а спасенье немцев — в науке!

Вступительная лекция была издана отдельной брошюрой. Шеллинг сам снесся с типографией, от имени Котты установил тираж (5000) и себе гонорар (200 талеров). Котта не возражал. Тем более что Шеллинг опять завел разговор о печатании своих лекций. Первый том («а может быть, и все») обещал представить к очередной пасхе (теперь уже 1842 года).

Шеллинг назвал курс «Философия откровения». Фактически это была выжимка из всех частей его новой философии. Он начал с установления различия между сущностью и существованием. Что представляют собой

вещи, какова их сущность — этому учит разум; что вещи существуют — в этом убеждает нас опыт. Шеллинг требовал исходить из опыта, из факта существования вещей, не подменять бытие понятием. Негативная философия идет от мышления к бытию, позитивная — от бытия к мышлению.

Эта часть курса произвела сильное впечатление на Серена Киркегора. Создатель философии экзистенциализма почерпнет отсюда многие свои идеи. «Я помню почти каждое слово из тех, что он произнес. Отсюда придет ясность... Вся моя надежда на Шеллинга». Дальнейшие лекции, когда дело дошло до мифологии, разочаровали Киркегора: «Шеллинг невыносимо пустословит».

Недовольны были и другие. Гегельянцы, когда Шеллинг потревожил тень их учителя. Шеллинг старался быть сдержанным, он не ругал, он хвалил Гегеля, но как: «Только Гегель спас для будущего времени основную мысль моей философии... и сохранил ее в чистоте».

Берлин не Мюнхен. Здесь уже попытка умалить значение великого диалектика сразу встретила решительную отповедь. Одним из первых появившихся памфлетов была статья «Шеллинг о Гегеле». Автор не умалял заслуг Шеллинга. «Имя Шеллинга, коль скоро он выступает как предшественник Гегеля, всегда нами произносится только с глубочайшим благоговением. Но Шеллинг, преемник Гегеля, может претендовать только на некоторое почтение и меньше всего требовать от меня спокойствия и хладнокровия, так как я выступил в защиту покойника, а ведь борцу свойственна некоторая страстность... Более чем насмешкой звучит, когда Шеллинг отводит Гегелю место в ряду великих мыслителей в такой форме, что, по существу деда, вычеркивает его из их числа, третируя его как свое создание, как своего слугу».^[13]

Статья, напечатанная в двух декабрьских номерах журнала «Телеграф для Германии», была подписана: Фридрих Освальд. Такого слушателя в многочисленной аудитории Шеллинга не было. За псевдонимом стоял Фридрих Энгельс.

Он еще был гегельянцем, постепенно переходившим на материалистические позиции. Последнее особенно заметно в следующем его выступлении против Шеллинга — брошюре «Шеллинг и откровение», которая появилась в начале 1842 года. Шеллинг к тому времени заканчивал семестр, Энгельс сравнил три конспекта и постарался добросовестно передать содержание шеллинговского курса. Он не отрицал заслуг Шеллинга в анализе мифологии. «Я охотно признаю выводы Шеллинга, касающиеся важных результатов мифологии в отношении христианства, но

в другой форме, так как я рассматриваю оба явления не как нечто, внесенное в сознание извне сверхъестественным путем, а как наиболее внутренние продукты сознания, как нечто чисто человеческое и естественное».^[14]

Тайной теологии является антропология. Кстати, Шеллинг подводит к этому выводу, утверждая «влияние человека на саморазвитие бога».^[15] Энгельс показал, что христианство Шеллинга не является ортодоксальным, традиционным. Философский промах Шеллинга состоит в смешении свободы и произвола, в принижении разума. Разуму в философии Шеллинга отведено подчиненное место, даже бог не есть нечто разумное. Позитивная философия зависит только от веры и существует только для нее. Она должна быть у католика иной, чем у мусульманина. Шеллинг попал в западню веры и несвободы.

«Когда он еще был молод, он был другим. Его ум, находившийся в состоянии брожения, рождал тогда светлые, как образы Паллады, мысли, и некоторые из них сослужили свою службу в позднейшей борьбе. Свободно и смело пускался он тогда в открытое море мысли, чтобы открыть Атлантиду — абсолютное, чей образ он так часто созерцал в виде неясного миража, поднимавшегося перед ним в морской дали. Огонь юности переходил в нем в пламя восторга; богом упоенный пророк, он возвещал наступление нового времени. Вдохновленный снизошедшим на него духом, он сам часто не понимал значения своих слов. Он широко раскрыл двери философствования, и в кельях абстрактной мысли повеяло свежим дыханием природы; теплый весенний луч упал на семя категорий и пробудил в них все дремлющие силы. Но огонь угас, мужество исчезло, находившееся в процессе брожения виноградное сусло, не успев стать чистым вином, превратилось в кислый уксус. Смелый, весело пляшущий по волнам корабль повернул вспять, вошел в мелкую гавань веры и так сильно врезался килем в песок, что и по сию пору не может сдвинуться со своего места. Там он и покоится теперь, и никто не узнает в старой, негодной рухляди прежнего корабля, который некогда с развевающимися флагами вышел в море на всех парусах. Паруса уже давно истлели, мачты надломились, волны устремляются в зияющие бреши и с каждым годом все более заносят песком киль корабля».^[16]

Шеллинг не чуял беды, не ведал о своем крушении. Он торжествовал победу. В январе 1842 года король пригласил его на обед, устроенный в честь баварского кронпринца. На обеде присутствовали только члены королевской семьи и он, Шеллинг, баловень судьбы, любимец двух

монархов. Сообщая об этом Котте, он утверждал, что против него в Берлине нет партии, просто им недовольны отдельные завистники. А его младшая дочь помолвлена с сыном министра.

Семестр закончился овацией и факельным шествием. Но городу, правда, шли пересуды: тридцать факелов, не так уж много, и все организовано по команде сверху.

В следующем семестре, читая «Философию мифологии», он опять не мог пожаловаться на пустоту аудитории. Прошлогоднего ажиотажа не было, но интерес к его лекциям не пропадал. Именно в этом семестре его слушал В. Ф. Одоевский. Дважды они встречались. Сначала студент навестил профессора, потом профессор нанес ответный визит. Говорили о философии, религии, природе сна и гипнозе. Одоевский был горд тем, что просветил метра относительно термина «мартинизм». (Шеллинг полагал, что речь идет о последователях французского мистика Сен-Мартена, оказалось, что секту мартинистов основал португалец Мартинез Паскуаль.) Одоевский убеждал Шеллинга поскорее выпустить в свет свои труды. Философ отвечал, что сделает это «любой ценой».

Осенью истек год, как он покинул Мюнхен, отпуск кончился, надо было принимать решение. Шеллинг выбрал Пруссию. Получил увольнение с баварской службы и стал действительным тайным советником при прусском дворе.

Беда нагрянула в 1843 году. Произошло то, чего давно следовало ожидать. Заклятый (еще со времен Вюрцбурга) враг Паулюс раздобыл запись шеллинговского курса 1841/42 года и издал ее под названием: «Наконец открывшаяся позитивная философия откровения, или История возникновения, дословный текст, оценка и исправление шеллинговских открытий в философии, мифологии и откровении догматического христианства в берлинский зимний семестр 1841/42 года, представленные для всеобщего ознакомления».

Шеллинг обратился в суд и... проиграл процесс. Прусская юстиция как прусская казарма. Все в струнке, никаких исключений. Помните легенду о мельнике из Сан-Суси? Рядом с загородной резиденцией Фридриха II стоит ветряная мельница. Говорят, что шум ее мешал королю отдыхать и заниматься государственными делами. Он хотел купить мельницу, но получил отказ, обратился в суд и проиграл дело. Так и с Шеллингом. Фридрих-Вильгельм IV благоволил ему, министр юстиции был на его стороне, но судьи решили иначе. Исходя из собственных представлений об авторском праве, после многомесячного разбирательства они в конце концов не нашли в действиях Паулюса состава преступления.

Обиженный Шеллинг прекратил чтение лекций в университете. Он остался при своем высоком окладе и обязанностях члена Академии наук. И сделал для себя единственно правильный вывод: надо скорей издавать фактически уже готовые книги. Еще летом 1843 года, сообщая Котте о пиратской публикации Паулюса, он обещал к зиме представить «Философию откровения» в типографию; издательство не понесет убытков: акция Паулюса не уменьшила интереса к работам Шеллинга, а, наоборот, увеличила его. В январе 1845 года Шеллинг считает, что все окончательно готово, можно немедленно приступить к печати. Сначала пойдет «Философия мифологии», а затем и «Философия откровения», общий объем двух работ 120 печатных листов. Они договариваются о гонораре и тираже. Типографу в Берлине дано указание начинать работу.

«Мой сын, — сообщал потом хозяин типографии Котте, — отправился немедленно к господину фон Шеллингу, но ему велено было прийти на следующий день, потом они виделись, и поскольку мой сын знает дело лучше меня, они доверительно разговаривали о его произведении. Я хочу, сказал он, чтобы формат был малым, а шрифт — цицеро!! Мой сын возразил, что так научные труды не печатают, но он настаивал на своем и говорил, что для другого, более обширного произведения он выберет более крупный формат, он захотел видеть образцы, и мой сын вырезал образцы шрифтов из дефектных экземпляров и отнес к нему с просьбой выбрать. Тогда он спросил, можно ли из произведения в 10 листов обычного формата сделать 20, если потребуется. Он сказал, что поставит нас в известность, а мы ничего Вам писать не должны. Мой сын время от времени ходил к нему, и он все просил не писать, так как он ожидает ответа. Несколько дней тому назад я снова послал сына, и теперь дело выглядело совсем иначе. Он спросил, не можем ли мы напечатать его произведение, а он с нами рассчитается на тех же условиях, как и Вы... Вам лучше знать, в чем дело. Я думаю, что у него просто нет рукописи».

Автор письма ошибался. Рукопись была. И не одна. Письменный стол Шеллинга буквально ломился от рукописей, в том числе готовых к набору. В этом мы убедимся скоро, прочитав духовное завещание философа. Он не морочил голову типографу. Одно время он действительно думал издать свои труды помимо Котты. Весной 1845 года они повздорили. В «Альгеймайне цайтунг», которую издавал Котта, появилась статья о его судебном иске к Паулюсу, которая возмутила Шеллинга своей необъективностью. В письме к Котте он бросил фразу о «моральном санкюлотстве», имея в виду редактора. Котта принял ее на свой счет и ответил резкостью. Шеллинг не остался в долгу. В конце концов ему

пришлось спросить, как дело обстоит с юридической стороны, остается ли в силе их договоренность об издании. Котта подтвердил, что остается, но, если господину тайному советнику не нравится его издательство, он может себе искать другое. Больше Шеллинг Котте не писал и Котта ему. (Через четыре года сотрудник издательства напомнил философу о долге. Подтверждение того, что деньги получены и претензий больше нет, — последний лист в обширной, длившейся почти полвека и насчитывающей 231 документ переписке между Шеллингом и издательством Котты.)

Шеллинг не издал свои труды в 1845 году не из-за ссоры с Коттой. Было другое, куда более важное обстоятельство, которое, видимо, опять удержало его от публикации. Шеллинг все больше проникался сознанием того, что обнародованию положительной философии должно предшествовать знакомство с негативной философией. Ведь ее никто толком не знает, в этом убеждали многие направленные против него памфлеты гегельянцев. Надо изложить ее иначе, лучше, чем это сделал Гегель, надо обосновать необходимость выйти за ее границы, создать принципиально новый тип философствования.

Поэтому он обращается к своим старым трудам. Еще за полтора года до этого, зимой 1843 года, он прочитал курс, воспроизводивший его давние натурфилософские идеи. (В собрании сочинений он напечатан под названием «Описание природного процесса».)

Каждая наука обладает своим особым предметом изучения (астрономия изучает структуру космоса, химия — свойства тел и т. д.). Каждая наука изучает нечто существующее, философия — существование как таковое. О чем я думаю, когда размышляю о существующем? Прежде всего о его носителе, субъекте существования. Я мыслю субъект, не думая еще о его бытии. Он может быть или не быть, это пока только возможность бытия. Но не успел я подумать о субъекте существования, как эта мысль сменяется, снимается другой — мыслью об объективности этого существования, обе мысли затем сливаются воедино. То, что есть, может быть только субъектом и объектом одновременно, их единством. Декарт подошел к этой мысли, а Фихте выразил ее недвусмысленно. Итак, триада — субъект, объект и субъект-объект. — $A + A \pm A$ — такова символика любой экзистенции (существования).

Существующее не случайно, это выражение необходимости. Такова идея разума. Но Шеллинг обещал дать описание природного процесса. Природа материальна. Как же совершается переход к материи? «Материя не может быть изначальной, как у Аристотеля, она полагается только в процессе становления». Понятие материи самое трудное, повторяет

Шеллинг свое давнее признание. Увы, он не в состоянии и теперь объяснить, как происходит материализация «исключительного сущего». Он обозначает его символом Б. И просто констатирует факт: «Б должно стать материей, если суждено ему не остаться бескачественным, пустынным и пустым бытием, а стать организмом, от простого организма перейти к свободно передвигающемуся, от него к полностью заново рожденному — к человеку».

Не надо только думать, что человек — цель творения. «Наивно думать, как человечество полагало раньше, что вся вселенная, все бесчисленные, удаленные от нашей маленькой Земли и независимые от нее светила созданы для пользы и блага человека, так же наивно считать, как это было в позднее время, которому открылся более широкий взгляд на космическое целое, что все в нем выглядит как наша Земля, повсюду обитают человекоподобные существа, являющиеся последней целью».

Шеллинг разбирает проблему пространства, затем переходит к другим категориям философии природы, говорит о магнетизме, электричестве, химических процессах, напоминает, что их единство философия установила раньше, чем эмпирическое естествознание. Шеллинг ссылается на свои ранние работы, он ценит их, живет их пафосом.

Его, как и в молодые годы, занимает проблема перехода от неорганической природы к органической. «В начале органическое с трудом отделяется от неорганического, поскольку каждая последующая ступень удерживает что-то от предыдущей... В неорганическом материя утверждает свою субстанциональность, в органическом она все больше опускается до акциденции». Вместе с человеком, наделенным сознательным целеполаганием и свободой, заканчивается история природы, совершается необходимый переход в новый мир; это «мир духа, идеальная сторона универсума».

Можно, следовательно, говорить о натурфилософии позднего, «позднейшего» Шеллинга. Мельгунов передавал слова Шеллинга о том, что он рассматривает натурфилософию как «пятую» часть своей системы. На проверку оказалось, что это скорее «первая» часть, начало системы, изложение того, что Шеллинг называл негативной философией.

Интерес к естествознанию и натурфилософии замечен и в последней, опубликованной работе Шеллинга — предисловии к посмертным трудам Стеффенса. Давний друг и верный ученик, старше учителя на два года, скончался в феврале 1845 года. Открывая свой летний семестр в апреле, Шеллинг посвятил первую лекцию памяти Стеффенса, затем, обработав текст лекции, выпустил ее в свет.

Стеффенсу повезло в том смысле, что его увлечению философией предшествовало глубокое изучение природы. Он был геолог, а стал теолог. Превращение это знаменательно. Это дает повод Шеллингу порассуждать о религии, о том, что вера в бога не должна подменяться верой в авторитет.

Шеллинг прекратил читать лекции в 1846 году. Потом перед началом каждого семестра к нему приходили студенческие делегации с просьбой начать курс, но он отказывался, ссылаясь на то, что в Пруссии нельзя отстаивать свое авторское право.

Он недоволен правительством. И общегерманской политической ситуацией. В феврале 1848 года собеседник Шеллинга записывает следующие его слова: «Немец — вселенский осел. Судьба его не щадит. Мелкодержавье устарело и изжило себя. Вы увидите: через 30 лет все будет иначе».

То, что менее, чем через 30 дней грянет революция, Шеллинг не предполагал. Он обнаружил ее только тогда, когда под окнами его квартиры началась стрельба. «Уличный бой перенесся с той улицы (Унтер-ден-Линден), где я живу, на другие, и мы знали, что он идет, потому что он был слышен. Неприятнее были последующие дни, когда мы дважды на 24 часа оставались без начальства, без правительства, полностью предоставленные произволу толпы. Но я должен с похвалой отозваться о самоотверженности и твердости берлинских граждан, которые в тяжелых условиях сохраняли порядок». К правительству он не питал симпатии, поэтому воспринял его падение без сожаления. (Жаль было Эйхгорна, министра вероисповеданий, сын которого был женат на его дочери.) Материального ущерба он не понес и только досадовал на то, что общая суматоха, стрельба и смятение мешают ему работать. «От мира мне ничего не нужно, кроме необходимой тишины и покоя, чтобы закончить мои последние труды, и этого я лишен, но до последних дней, слава богу, я был в состоянии продолжать работу, которая поглощает все мои духовные и физические силы и отвлекает меня от современности. В одном отношении я вздохнул свободней: мне было не по себе в атмосфере прежних устремлений, когда христианство снова становилось слепой верой в авторитет (против чего я решительно высказался в предисловии к Стеффенсу) и что приносило больше вреда, чем пользы. Некоторые так называемые консервативные писатели покинули Берлин в первый же день (в этом сквозило лишь смешное самомнение о собственном значении), невелика беда, если некоторые из них не вернутся совсем». Ему советовали уехать в Баварию, где его ученик Максимилиан стал королем, его там примут с распростертыми объятиями. Но там тоже беспокойно. Шеллинг остается в Берлине.

Жизнь втягивала его в политику. Король Максимилиан обращался к нему за советами, и он давал их. Шеллинг — противник революции, любой государственный переворот называет «отцеубийством», но изъяны монархии ему тоже очевидны. «Я категорически отрицаю, что на этом свете вообще может быть идеальное государственное устройство», — пишет он баварскому королю.

Когда ему исполнилось 75 лет, дети хотели собраться все вместе, но у каждого теперь есть лучшая половина и свои дети. Одних внуков 12 человек. Где найти для всех помещение?

Работу он не прекращает, сил мало, но дело идет своим чередом. У него возникли новые идеи, он пишет совершенно новый раздел своей системы — негативную, «первую» философию, которая должна предшествовать «второй», положительной философии и обосновывать ее. Такого курса он никогда не читал, все приходится продумывать и излагать заново. (Некоторые мысли были, правда, сформулированы в «Описании природного процесса», другие — в докладах, с которыми ему приходилось выступать в Берлинской академии наук в последние годы.)

И опять его волнует проблема материи. Это настоящая «ловушка для философии». Того и гляди в нее попадешься, как попал впросак покойный Якоби. Полвека назад в Париже Якоби в числе других ученых представили Наполеону, тогда первому консулу. У Наполеона была привычка спрашивать сразу самое главное, в расчете на быстрый и точный ответ; как в бою, он не оставлял время для размышлений. Якоби он сразу спросил: «Что такое материя?» Философ смутился, не зная, что сказать, и недовольный диктатор проследовал далее. А Якоби мог бы, между прочим, ответить коротким афоризмом, принадлежащим его другу, голландцу Гемстергейсу, — «материя — это пролившийся дух». Шеллингу нравится такое определение.

Работа движется медленно. Рука дрожит, почерк становится неразборчивым. Его каракули научился разбирать зять Ульрих фон Цех, женатый на Каролине, он помогает переписывать черновики. Посылая в июне 1851 года рукопись своему сыну Фрицу, Шеллинг пишет: «Все мои мысли заняты работой. Я решил полностью закончить негативную философию, чтобы больше потом к ней не возвращаться. Я считаю это необходимым по той причине, что до тех пор, пока ей не будет уделено достаточного внимания, будут предъявляться претензии к другой, более-высокой, положительной философии и никто не сможет посвятить ей целиком всю свою душу. Поэтому я вынужден снова заниматься моей прежней системой. Это будет мое последнее слово, и на это уходит много

времени, и так как я один, без помощников, то дело еще не кончено. Дай бог, чтобы я это закончил. Главная часть готова, нет еще только заключения».

Через полтора года работа все еще не сделана, и он обращается за помощью к своему ученику Беккерсу: «Учение о принципах и потенциях представляет собой мою метафизику, и это действительно не просто первая предпосылка, но содержание всей дальнейшей рациональной философии. Относительно того, как положительная философия не может обойтись без нее и включает ее себя, я достиг полной ясности только теперь. Я уверен, что Вы обрадовались бы, если бы я изложил, что пришло мне теперь в голову, и показал бы всю незыблемую последовательность перехода негативной философии в положительную. В Мюнхене я только декларировал это и никогда суть дела не излагал. Причина задержавшейся публикации состоит в том, что пришлось расширить готовый материал; с одной стороны, это служит доказательством, что найдены живые корпи, потому что ложное и ошибочное не поддается совершенствованию, но, с другой стороны, это затянуло работу.

Сейчас речь идет о завершении литературной работы. И меня беспокоит опасение, что помехи здешней жизни не дадут мне довести дело до конца, поэтому у меня возникло естественное желание, хотя бы устно сообщить молодому другу то целое, которое у меня сейчас сложилось в голове, чтобы все это не пропало. Если бы мне удалось заполучить Вас сюда хотя бы на полгода, то за это время можно было бы изложить все черным по белому. Постарайтесь следующим летом (я надеюсь дожить до него) несколько недель провести со мной здесь или в другом месте, чтобы я мог Вам все полностью изложить».

В феврале 1853 года Шеллинг уже чувствует приближение конца. Мучают старческие недомогания, силы катастрофически убывают. Он решает подвести итог, составить духовное, философское завещание. Это перечень рукописей и распоряжения относительно их судьбы. Есть там и одна, требующая пристального внимания фраза, излагающая сокровенный смысл последних поисков. «В негативной философии, то есть в науке разума, первичным является сущее, а содержание сущего (бог) вторичным. Конец негативной философии наступает тогда, когда Я требует перестановки, которая в начале представляет собой простой акт воли (по аналогии с кантовским постулатом практического разума с той только разницей, что не разум, а практическое Я в качестве личности выставляет требование и говорит: „Я хочу“, — что выше сущего). Эта воля только начало. Воля, поднявшаяся над сущим, и наука о ней (положительная

философия) оказываются новым сущим, которое теперь выступает уже как вторичное и производное».

Тут необходим комментарий. Кантовский постулат практического разума — это идея бога как регулятора человеческого поведения. Бог Шеллинга в естественном ходе вещей вторичен. Он приобретает первичный определяющий характер лишь в практической деятельности человека в качестве свободного морального деяния. Вот к чему в конце своей жизни пришел Шеллинг. И еще — давно мучившая его идея коренного переустройства, «перестановки» человеческих дел и человеческого знания! Бесконечный «естественный» процесс невозможен, ведет в тупик, нужна остановка, вернее, «перестановка», переориентация. Как, что, какими средствами, Шеллинг, разумеется, не знает. Но он говорит: это неизбежно. И первое слово в грядущей «перестановке» будет принадлежать философии. Именно она должна воспитать человека, наделенного не только разумом (этого мало), но и высокой нравственной ответственностью, уподобить его богу (всеведущему, всемогущему, всеблагому), научить его, как встать над «сущим», над необходимым течением дел и актом свободной воли преобразовать, переориентировать мир на истину, добро и красоту. Так глазами материалиста можно прочесть последнюю волю Шеллинга.

Он перечисляет, что лежит в его письменном столе. «Философия искусства» — курс, который он читал еще в Вюрцбурге; лекции по системе философии тождества, написанные частично в Иене, частично в Вюрцбурге; «Мировые эпохи», последний вариант произведения, над которым работал много лет; текст частных бесед, которые он проводил в Штутгарте («здесь много несовершенного, потому что главные идеи я нашел позднее»), Эрлангенские лекции («использовать в лучшем случае отдельные места, остальное уничтожить, если я не найду Времени сделать это сам»).

Затем рукописи последнего периода — частично готовые к набору, частично требующие доработки. «Философия мифологии», Шеллинг придавал ей большое значение. «Если я не смогу сам, Фриц и Герман должны обеспечить издание. Я не сомневаюсь, они отнесутся к памяти отца с тем же почтением, с каким относились к нему при жизни. Если Фриц в чем-нибудь усомнится, пусть спросит Германа, и наоборот. Герман последнее время больше жил со мной, поэтому лучше знает мой образ мысли». Свою последнюю работу по негативной философии, свою «метафизику» он включил в «Философию мифологии» в качестве второй части введения, полагая, видимо, что смена философских учений

представляет собой такой же необходимый процесс, как и смена верований, и мыслители живут во власти иллюзии, как и народы, творящие мифы.

«Философия откровения» (где бог выступает как первичное, а сущее как вторичное) представлена многими рукописями, из которых изданию подлежит главная, обозначенная буквой О (есть еще 02 и 03, но их публиковать нельзя). Что касается лекционного курса 1841/42 года, то он представляет всего лишь исторический интерес; это была попытка, «уступившая место потом более правильному» ходу мыслей.

Рад рукописей посвящен системе философии. Это различные вводные курсы в систему положительной философии. В целом печатать их не следует, но можно кое-что позаимствовать, особенно в том случае, если не удастся ему завершить работу над рукописью по негативной философии. Кроме того, есть рукописный диалог о бессмертии (он был издан под названием «Клара»). И еще много разных записей, конспектов, неоконченных работ, дневников и т. д., большинство из них надо уничтожить.

«Трудный долг я возлагаю на моих сыновей — принять мое рукописное наследие и даже издать его, что я сам, к сожалению, не сделал. Videant quid possint.^[17] Ульрих, верный друг, помоги советом. Только чтобы не попало в дурные руки! Лучше уничтожить!.. Все письма принадлежат матери; если она не переживет меня, Паулю, пусть он решает, что делать с ними, и вообще за ним решающее слово во всем, ему я поручаю настоящим главный надзор за моим рукописным наследием».

Через два года после его смерти начало выходить (и было быстро завершено) Полное собрание сочинений в 14 томах. Больше половины текста составляют не опубликованные при жизни работы. Руководил изданием сын Шеллинга Фридрих.

Фридриху он изложил и свое последнее философское кредо (удивительно совпавшее с тем, что он когда-то высказал в юные годы). В марте 1854 года Шеллинг писал сыну: «Лессинг в свое время сказал: все — единое, я не знаю ничего лучше. Я тоже не знаю ничего лучшего». Шеллинг ушел из жизни пантеистом.

*

Шеллингу принадлежит двестише:

Блажен, кто выбрал цель и путь

И видит в этом жизни суть.

У него была цель, к которой он шел, пробуя разные пути. Мысль его обгоняла слово. Не успевал он зафиксировать идею, продумать и развить, как ее сменяла новая. Это был Протей, менявший свой облик не для потехи других, а в силу непрестанного совершенствования; он становился другим и именно поэтому оставался самым собой, неизменно устремленным к цели (а она уходила от него, как уходит горизонт от путника). Покой ему не был дарован.

Он обрел вечный покой 20 августа 1854 года. Перед этим лежал безмолвно и смотрел на открывающийся в окне горный ландшафт, затем поправил подушку и закрыл глаза. Смотри, как он спокойно спит, сказала Паулина, обращаясь к своей сестре. Та ответила: это уже вечный сон.

Он умер в швейцарском курортном городке Рагац. Там его похоронили. Там стоит ему памятник с надписью: «Первому мыслителю Германии».

Памятник Шеллингу поставил баварский король Максимилиан, посмертное собрание сочинений издал сын Шеллинга Фридрих, оба близкие ему как человеку. Как философ он пережил свою славу и не оставил наследников. Когда он умер, в немецкой философии преобладал вульгарный материализм. Затем прозвучал призыв: «Назад к Канту!» Помимо неокантианства, было в Германии сильное неогегельянство и нечто вроде-неофихтеанства. Неошеллингианства не было. Только в последние годы возник живой интерес к Шеллингу, и вдруг выяснилось, что он, как уже упоминалось в начале книги, наш «современник инкогнито». Он наш союзник и философский советник в будущем решении самого животрепещущего, глобального вопроса современности, который уже встал сегодня и еще острее встанет завтра, — сохранении жизненных ресурсов человечества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РУССКАЯ ЗВЕЗДА

*Мы скажем: будь нам путеводной,
Будь вдохновительной звездой —
Свети в наш сумрак роковой,
Дух целомудренно-свободный.*

Ф. Тютчев

Стихи Тютчева, взятые здесь в качестве эпиграфа, обращены к Карамзину. Но невольно вспоминаешь о них, когда думаешь о значении Шеллинга для судеб русской культуры в XIX столетии.

Канта знали в России, переводили на русский язык, выбрали в русские академики. Ученик Фихте И. Б. Шад несколько лет служил профессором в Харькове. Но ни Канту, ни Фихте, а именно Шеллингу суждено было стать властителем русских дум философских и вплоть до конца века значительным образом влиять на развитие русского философствования. Шеллинг значил для России больше, чем для Германии.

Случай с Шеллингом не уникален. Есть еще один разительный пример того, как немецкий мыслитель, притом не сделавший погоды на родной земле, смог вызвать умственную бурю за границей. Чем Шеллинг был для России, тем стал для Испании его современник Карл Фридрих Краузе. Большинство испаноязычных мыслителей конца прошлого и начала нынешнего столетия считали себя краузистами.

Русское шеллингианство — философское направление, не повторявшее Шеллинга, а интерпретировавшее его. Одним из первых, кто принес в Российскую империю благую весть о новой звезде, засиявшей на философском небосклоне, был врач Д. М. Велланский. После окончания Медико-хирургической академии в Петербурге его послали для пополнения образования в Германию, он слушал Шеллинга в Иене, последовал за ним в Вюрцбург и, как передают, был замечен и отмечен молодым профессором (моложе своего русского студента на год). Вернувшись домой, Велланский стал адептом натурфилософии и трансцендентального идеализма. Позднее по его стопам пошел другой известный русский медик, М. Г. Павлов... — университетский профессор в Москве.

Лицейский учитель Пушкина филолог и философ А. И. Галич — «друг мудрости прямой»; он тоже завершал образование в Германии, есть сведения, что встречался с Шеллингом, и доподлинно известно, что в лекциях своих и сочинениях излагал его учение. К началу войны с Наполеоном философией тождества в России увлекались не только отдельные ученые мужи, но и образованная молодежь.

Любопытное свидетельство на этот счет мы находим в переписке декабриста Г. С. Батенькова, который в 1847 году сообщал П. В. Киреевскому следующие подробности о своей юности: «Еще во время утомительных походов французской войны нас трое — Елагин (будущий отчим братьев Киреевских. — А. Г.), я и некто Паскевич — вздумали пересадить Шеллинга на русскую почву, и в юношеских умах наших идеи его слились с нашим товарищеским юмором. Мы стали изъясняться в новых отвлечениях легко и приятно. Целые переходы окружал нас конвой слушателей, и целые корпуса со всеми штабами называли нас галиматейными философами». В 1812 году Батеньков был выпущен из корпуса артиллерийским офицером, было ему тогда девятнадцать лет.

В 20-е годы рассадником шеллингианства стало московское «Общество любомудрия». Собирались у председателя В. Ф. Одоевского, служившего в архиве министерства иностранных дел. Там же служил Д. В. Веневитинов, секретарь общества, и уже знакомый нам юный И. В. Киреевский. «Архивные юноши» прекратили свои встречи после выступления декабристов. Все бумаги общества были уничтожены.

Но сохранился журнал «Мнемозина», рупор идей кружка, который ставил перед собой задачу переориентировать русскую философскую мысль с Франции на Германию. И добился успеха: «Мнемозина» заставила «толковать о Шеллинге», с удовлетворением отмечали ее редакторы. О том, что Шеллинг прочно вошел в интеллектуальную жизнь России, свидетельствует замечательный философский роман В. Одоевского «Русские ночи» — жемчужина нашей размышляющей прозы.

Есть явная перекличка между «Русскими ночами» в «Ночными бдениями» Бонавентуры. Прежде всего в заглавии. Также и в жанре. То и другое называется «роман», но представляет собой цикл новелл, лишенных любовной интриги и единого сюжета, объединенных лишь общей философской идеей, критическим пафосом по отношению к духовной ситуации эпохи, заботой о судьбе человека и верой в исцеляющую силу любви. Роман Шеллинга разделен на шестнадцать «ночных бдений», у Одоевского — девять «ночей».

Случайны ли эти совпадения? Интерес к «ночной стороне»

человеческой жизни пробудил у Одоевского Шеллинг, его работа о самофракийских божествах, где отмечено, что ночь — древнейший объект поклонения, что исчисление времени у многих народов — в том числе у славян — первоначально велось по количеству ночей; соответствующая ссылка, как и на многие другие работы Шеллинга, украшает «Русские ночи». О «Ночных бдениях» там ни слова. Может быть, Одоевский знал, что Шеллингу неприятно вспоминать о своем романе? От возможного упрека в подражании он оградил себя убедительным аргументом: «Еще не было на свете сочинителя от мала до велика, в котором бы волею или неволею не отозвалась чужая мысль, чужое слово, чужой прием». Известно, что Одоевский был в добрых отношениях с Варнхагеном фон Энзе (переводчиком его произведений на немецкий), который в 1843 году читал «Ночные бдения». Как раз в то время, когда Одоевский придавал окончательную форму своему произведению, над которым, по собственному признанию, работал семнадцать лет. Книга вышла в 1844 году.

На первых же страницах — панегирик Шеллингу. «В начале XIX века Шеллинг был тем же, чем Христофор Колумб в XV, он открыл человеку неизвестную часть его мира, о которой существовали только какие-то баснословные предания, — его душу! Как Христофор Колумб, он нашел не то, что искал; как Христофор Колумб, он возбудил надежды неисполнимые. Но как Христофор Колумб, он дал новое направление деятельности человека! Все бросились в эту чудную роскошную страну».

Шеллинг искал бога, а нашел человека, его душу. Шеллинг смотрел на душу человека сначала как натурфилософ, видел в ней часть природы, потом как метафизик, изучая ее внутреннюю структуру, наконец, как историк, убежденный, что становление духа дело истории.

Шеллинг — Протей, он меняет облик, и это тоже не укрылось от наблюдательного Одоевского. Но он заметил и другое — Шеллинг един в своих первоначалах. В «Девятой ночи» содержится основательное изложение «Системы трансцендентального идеализма» с цитатами и ссылками. Двое ведут диалог, и не успел герой романа, некто Фауст, который говорит от имени автора, завершить пространную тираду об эстетической природе творческой деятельности, как входят новые участники спора.

«Вячеслав. Так! толкуют о Шеллинге! поздравляю вас, господа, учитесь снова, Шеллинг вовсе переменил свою систему...

Фауст (к Ростиславу). Не правда ли, я говорил, что язык человеческий есть предатель его мысли и что мы друг друга не понимаем? Так Шеллинг

вовсе изменил свои мысли, не правда ли? и вы верите этому?

Виктор. Во всех журналах. Даже в ваших философских...

Фауст. Знаю! Знаю! Есть люди, для которых всякая неудача есть истинное наслаждение; они радуются опечатке в роскошном издании, фальшивой ноте у отличного музыканта; грамматической ошибке у искусного писателя; когда неудачи нет, они, по доброте сердца, ее предполагают, — все-таки слаще. Успокойтесь, господа, великий мыслитель нашего века не переменял своей теории. Вас обманывают слова... Мыслитель избирает лучшее слово для той же мысли, силится приковать слово к значению мысли нитями других слов — а вы, господа, думаете, что он переменял и самую мысль! Оптический обман! Оптический обман!... Я даю слово доказать это убеждение, как скоро явятся в свет новые лекции Шеллинга».

Одоевский незадолго до завершения «Русских ночей» побывал в Берлине, слушал Шеллинга и встречался с ним.^[18] Они говорили и о России. Шеллинг сказал: «Чудное дело ваша Россия, нельзя определить, на что она назначена и куда идет она, но к чему-то важному назначена». (Мельгунову Шеллинг тоже объяснялся в любви к России; «Шеллинг любит Россию и русских», «Шеллинг любит Москву как представительницу России» — эти фразы из рассказа Мельгунова, напечатанного в 1839 году в «Отечественных записках» и в том же году опубликованного в Германии, в немецком переводе почему-то опущены.)

Откуда такая любовь к стране, в которой он ни разу не был? Чтобы ответить на этот вопрос, поставим другой, с первым как бы несвязанный. Что такое философия?

Философией мы называем форму общественного сознания, дающую человеку мировоззрение. Философия — форма внутренняя, не имеющая самостоятельного выхода наружу. Для воплощения ей необходима еще одна, внешняя форма, язык, который она находит либо в науке, либо в искусстве. Западные мыслители выбирали по преимуществу язык науки, выдвигая на первый план проблемы гносеологии (положительная философия Шеллинга была попыткой выйти за пределы этой традиции). Русская философия воплощена в искусстве. Наши философские корифеи — Пушкин, Достоевский, Толстой. У них на первом месте проблемы нравственные.

Курьезное дело: Толстой был знаком с философией Шеллинга понаслышке и имел о ней весьма превратное представление. На страницах «Отрочества» герой Толстого говорит о своем увлечении скептицизмом. «Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не

предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я под влиянием этой постоянной идеи доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту там, где меня не было». (Еще курьезнее примечание в последнем Собрании сочинений Толстого, что это место «более относится к философии Канта, нежели Шеллинга»?!) В нравственных поисках Шеллинг и Толстой были близки. Оба находились в оппозиции к официальному культу, оба стремились преобразовать христианство. Каждый по-своему.

Шеллинг остро чувствовал моральные обязанности и поэтические возможности философии. В России сразу распознали суть шеллингианства, откликнулись симпатией к новому учению, желанием и способностью усвоить его. (К тому же Шеллинг был доступнее Канта, понимание которого требовало разработанной философской терминологии, отсутствовавшей тогда у нас, и традиции абстрактного мышления, чем мы тоже не могли похвастаться.) Шеллинг увидел в русских родственные души, проявил интерес к их религии. Так возникла взаимная любовь. А когда Шеллинг заговорил о «великом назначении» России, о том, что он ожидает от нее «великих услуг для человечества», что ему «было бы весьма по сердцу войти с Россией в умственный союз», любовь к Шеллингу переросла в почитание, в культ. Началось подлинное паломничество к пророку. Мюнхен, а затем Берлин стали Меккой «русской идеи».

В «Русских ночах» она уже сформулирована: Запад гибнет, будущее принадлежит России. «Гибель Запада», разумеется, — метафора, речь идет о духовном оскудении, потере почвы под ногами. Происходит это, в частности, от бурного развития техники, средств сообщения в частности. Возможность переноситься с места на место уничтожает различие в нравах и образе жизни. Образец такой страны — Америка. Человек здесь «везде дома». Проехав страну из конца в конец, он встречает лишь то, что каждый день видит, и целью путешествия становится одна личная выгода. А в результате такой удобной и выгодной жизни возникает тоска. «Вот, господа, следствие односторонности и специальности, которая нынче почитается целью жизни; вот что значит погружение в вещественные выгоды и полное забвение других, так называемых бесполезных порывов души. Человек думал закопать их в землю, законопатить хлопчатой бумагой, залить дегтем и салом, — а они являются к нему в виде привидения: *тоски непонятной*».

Наука на Западе превращается в ремесло, искусство развратилось и потеряло силу, религиозное чувство выродилось. Надежда только на

Россию, которая не должна отворачиваться от Запада, а тот не должен бояться ее. «Не бойтесь, братья по человечеству! Нет разрушительных стихий в славянском Востоке — узнайте его, и вы в том уверитесь; вы найдете у нас частию ваши же силы, вам неизвестные, и которые не оскудеют от раздела с вами. Вы найдете у нас зрелище новое и для вас доселе не разгаданное... Вы найдете даже в меньших братьях наших то чувство общественного единения, которое тщетно ищете, взрывая прах веков и вопрошая символы будущего; вы поймете, отчего ваш папизм клонится к протестантизму, а протестантизм к папизму, то есть каждый к своему отрицанию, и вы поймете, отчего лучшие умы ваши, углубляясь в сокровищницу души человеческой, нежданно для самих себя выносят из оной те верования, которые издавна сияют на славянских скрижалях, им неведомых». Последнее явно о Шеллинге.

Одоевский верит в Россию, но обращен к Западу, озабочен его судьбой, говорит о «всеобнимаемости» как о русской духовной черте. Отсюда рукой подать до русской «всемирной отзывчивости» — любимой идеи Достоевского. Одоевский предвосхитил славянофильство (понимал это и гордился этим), но также и его преодоление, синтез его с западничеством, который был осуществлен в знаменитой пушкинской речи Достоевского.

Итак, ряд славянофильских идей — из шеллингианства. Но прежде чем перейти к славянофилам, назову три имени — Веневитинов, Станкевич, Чаадаев. С Веневитиновым, не дожившим до двадцати двух лет, умер не только замечательный поэт, также и выдающийся философ. Шеллинг был для него «источником наслаждений и восторга», философские фрагменты Веневитинова насквозь пронизаны шеллингианством.

Станкевич, как и Веневитинов, умер молодым. Остались после него неопубликованные рукописи и обширная переписка. И все же его имя прочно вошло в историю русской общественной мысли: в 30-е годы кружок Станкевича был тем, чем в 20-е годы «Общество любителей». Здесь изучали немецкую философию, в первую очередь Шеллинга. Отсюда вышли Белинский и Бакунин, славянофилы К. Аксаков и Самарин. Сам Станкевич перед кончиной проделал быструю эволюцию, двигаясь от Шеллинга через Фихте и Гегеля прямо к Фейербаху.

Чаадаев — великий русский мыслитель, философ истории, предвосхитивший идеи позднего Толстого. «Назначение человека — уничтожение личного бытия и замена его бытием вполне социальным или безличным», читаем мы в «Философических письмах». Шеллингианцем

его назвать нельзя, но Шеллинг повлиял на его духовное развитие. Об этом Чаадаев говорит в письме Шеллингу.

Он напомнил ему об их встрече в 1825 году в Карлсбаде. «Я прочел, милостивый государь, все ваши произведения... Мне будет позволено сказать вам, что изучение ваших произведений открыло мне новый мир, что при свете вашего разума мне приоткрылись в царстве мыслей такие области, которые дотоле были для меня совершенно закрытыми; что это изучение было для меня источником плодотворных и чарующих размышлений; мне будет позволено сказать вам еще и то, что, следуя за вами по вашим возвышенным путям, мне часто доводилось приходить в конце концов не туда, куда приходили вы». Чаадаев расспрашивал Шеллинга о его философии откровения. «Я не нахожу слов сказать вам, как я был счастлив, когда узнал, что глубочайший мыслитель нашего времени пришел к этой великой мысли о слиянии философии с религией. С первой же минуты, когда я начал философствовать, эта мысль встала передо мной как светоч и цель всей моей умственной работы».

Шеллинг ответил Чаадаеву обстоятельным письмом, в котором объяснил, что философия откровения не является наименованием всей его системы, а лишь последней его части. «Сама система отличается от всех предыдущих тем, что содержит философию, которая действительно может проникнуть в эту область, не насилуя ни философию, ни христианство.

Вот это дело, вот это труд!

Я держался таким образом возможно ближе к прежнему пути и изыскивал простейшие средства, стремясь преодолеть господствовавший до сих пор рационализм (не богословия, а самой философии), в той же мере опасаясь, с другой стороны, впасть в сентиментальность, экзальтацию или мистику, отвергаемые разумом.

Кроме того, я остерегался предать гласности результаты или положения, которые непосредственно брали бы человека за живое и поэтому легко и быстро привлекли бы к себе внимание и вызвали бы участие; я избегал содержательного воздействия, пока не достиг уверенности в полном формальном обосновании, ибо для меня важно не субъективное, индивидуальное и легковесное убеждение, а всеобщее и непреходящее, выигрыш *навечно*, который изменившееся общее настроение не отнимет у мира с той же легкостью, с какой нынешнее делает его общедоступным».

Ценное признание, открывающее нам глаза и на те задачи, которые ставил перед собой Шеллинг, и на то, как он объяснял свое многолетнее молчание в печати. Философ лавировал между рационализмом и мистикой,

стремясь преодолеть ограниченность первого и опасаясь оказаться в объятиях второй. Он мечтал о «полном формальном обосновании» достигнутых результатов, иногда ему казалось, что он достиг желаемого, но всякий раз брала верх неуверенность. И эта постоянная неудовлетворенность заставляла искать дальше и воздерживаться от опубликования найденного.

В Россию его идеи проникали помимо печати. Иван Киреевский, его бывший студент, в работе «Речь Шеллинга» прекрасно схватил суть поздней его философии. Поводом для написания работы явился один из докладов, прочитанных философом в Берлинской академии наук. Но фактически Киреевский излагал содержание лекционных курсов, которые Шеллинг читал в Мюнхене и Берлине. В работе «Девятнадцатый век» Киреевский утверждал: «Познания отрицательные необходимы, но не как цель познания, а только как средство; они очистили нам дорогу к храму живой мудрости, но у входа его должны были остановиться. Проникнуть далее предоставлено философии положительной, исторической, для которой теперь только наступает время».

Славянофильство, полагал Киреевский, представляет собой реализацию идей Шеллинга о положительной философии. Киреевский не мечтал о том, чтобы Россия вернулась к допетровским временам, это «было бы смешно, когда бы не было вредно». Но он был убежден, что западная философия, поскольку сила ее заключена в отвлеченной рациональности, достигла предела, лишена перспектив дальнейшего развития, связанного с нравственным прогрессом. Задача состоит в овладении «цельностью бытия», и здесь огромное значение для человечества может сыграть русская культурная традиция.

В работе «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» он сопоставлял два типа культурного развития — просвещение логическое и просвещение нравственное, то есть воспитание личности. Европейское просвещение в XIX веке достигло полноты развития, науки процветают, как никогда, но «при всем богатстве, при всей, можно сказать, громадности частных открытий и успехов в науках общий вывод из всей совокупности знания представил только отрицательное значение для внутреннего сознания человека». Раздробив цельность духа на части и предоставив первенство логическому мышлению, человек оторвался от связи с действительностью и предстал существом отвлеченным, способным, как зритель в театре, всему сочувствовать, все одинаково любить, но при условии, чтобы не затронуто было его благополучие.

Особенность русского характера заключается в том, что никакая личность не старается выставить свое своеобразие как некое достоинство, «честолюбие ограничивалось стремлением быть правильным выражением основного духа общества».

Западный человек «почти всегда доволен своим нравственным состоянием; почти каждый из европейцев всегда готов, с гордостью ударяя себя по сердцу, говорить себе и другим, что совесть его вполне спокойна, что он совершенно чист перед богом и людьми, что он одного только просит у бога, чтобы другие люди все были на него похожи. Если же случится, что самые наружные действия его придут в противоречие с общепринятыми понятиями а нравственности, он выдумывает себе особую, оригинальную систему нравственности, вследствие которой его совесть опять успокаивается. Русский человек, напротив того, всегда живо чувствует свои недостатки, и чем выше восходит по лестнице нравственного развития, тем более требует от себя и потому тем менее бывает доволен собою».

Славянофильство в определенной мере получило «первотолчок» от Шеллинга, но дальнейшая его эволюция увела за пределы, положенные немецким философом. Не шеллингианство, а православная патристика стала его путеводной звездой. Характерны в этом плане взаимоотношения с Шеллингом Тютчева. Они дружили все годы их совместного пребывания в Мюнхене, где поэт служил в русском дипломатическом представительстве. Тютчев философских трудов не сочинял, но некоторые стихи его буквально дышат идеями Шеллинга. Иногда они спорили, причем поэт обвинял философа в излишнем рационализме: «Вы заняты непосильным трудом: философия, которая отвергает сверхъестественное и строит свои доказательства только на разуме, должна прийти к материализму и атеизму... Сверхъестественное в основе своей естественно присуще человеку. Оно имеет глубокие корни в сознании человека по сравнению с тем, что называют разумом, бедным разумом, который признает только то, что понимает, то есть ничто». Такие же возражения Шеллингу приходилось слышать от Якоби. Но на Тютчева он не обижался: поэту дозволено больше, чем философу.

Были еще два русских поэта, выросших на шеллингианстве. Аполлон Григорьев:

Лишь в сердце истина; где нет живого чувства,
Там правды нет и жизни нет...

Владимир Соловьев:

В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам...

Оба были не только поэтами.

Григорьев — человек крайностей. Юрист по диплому, окончивший университет первым, на круглые пятерки; по призванию — литературный критик, глубоко проникший в суть искусства, он провел безалаберную жизнь неудачника, попадал в долговую тюрьму, страдал запоем и умер сорока двух лет от роду.

Григорьев смолоду увлекался философией. «В пору ранней молодости и нетронутой свежести всех физических сил и стремлений, в какое-нибудь яркое и дразнящее и зовущее весеннее утро, под звон московских колоколов на святой — сидишь весь углубленный в чтение того или другого из безумных искателей и показывателей абсолютного хвоста... сидишь, и голова пылает, и сердце бьется — не от вторгающихся в раскрытое окно с ванильно-наркотическим воздухом призывов весны и жизни... а от тех громадных миров, связанных целостью, которые строит органическая мысль, или тяжело, мучительно роешься в возникших сомнениях, способных разбить все здание старых душевных и нравственных верований... и физически болеешь, худеешь, желтеешь от этого процесса... 01 эти муки и боли души — как они были отравительно сладки!»

Его взгляды складывались в 40-е годы, когда в русскую интеллектуальную моду начал входить Гегель. «Трансцендентальная закваска», полученная в университете, подготовила в приятию «Феноменологии духа». Но, достигнув духовной зрелости, Григорьев снова (и окончательно) повернул от Гегеля к Шеллингу. Философа тогда уже не было в живых, жили его труды, выходили тома посмертного собрания сочинений. Мимо Григорьева они не прошли.

В своих «Воспоминаниях» он рассказывает, как в конце 1856 года ему, лежавшему больным в постели, В. П. Боткин прислал книжную новинку — первый том «Философии мифологии» Шеллинга. Книгу он прислал с запиской, в которой упоминал, что уже «нюхал» книгу и что она хорошо пахнет. «И впился я больными, слабыми глазами в таинственно и хорошо пахнущую книгу — и опять всего меня потащило за собою могучее веяние мысли — и силою покойный отец, ходивший за мною, как нянька, должен

был отнимать у меня эту „лихую пагубу“.

И в саду итальянской виллы сидел я по целым часам над этой „лихой пагубой“ и ее последующими томами — и опять голова пылала и сердце билось, как во дни студенчества, — и ни запах роз и лимонов, ни боязнь тарантулов, — ничто не могло развлечь меня.

Трансцендентальное веяние, — sub alia forma^[19] — вновь охватило и увлекло меня...» Теперь уже до конца дней.

В 1859 году Григорьев признавался: «Шеллингизм (старый и новый, он все один) проникал меня глубже и глубже — бессистемный и беспредельный, ибо он — жизнь, а не теория». В Шеллинге Григорьева привлекало стремление к цельности, к органичности. Гегель отталкивал его односторонним логицизмом, безразличием к нравственным критериям, умозрительным подходом к жизни.

Жизнь — это организм, и познание ее возможно только с помощью аналога жизни, имеющего органическую структуру. Таковым является искусство. Жизнь безгранична и неисчерпаема, и подлинно художественное произведение также неисчерпаемо, а литературный критик, его истолковывающий, должен, в свою очередь, стремиться воссоздать всю жизненную его полноту. Григорьев ратовал за «органическую критику». Вдохновлял его «светоносный мыслитель Запада Шеллинг».

Основное требование органической критики к искусству — правда жизни. Поясняя свою мысль, Григорьев говорит о чуткости и меткости художника, способности переноситься в чужие души, в чужую обстановку, жить чужой жизнью, метко подмечая выразительные детали. Вторая степень меткости и объективности состоит в умении возвести минутное и случайное в типическое и общее. «Каким образом из явлений частных складываются типы в душе художника — вопрос далеко еще не разрешенный: дело в том только, едва ли они складываются сознательно, аналитически. Я верю с Шеллингом, что бессознательность придает произведениям творчества их неисследимую глубину. В душе художника истинного эта способность видеть орлиным оком общее в частном есть непременно синтетическая, хотя и требующая, конечно, поддержки, развития, воспитания. Тот, кто рожден с такого рода объективностью, есть уже художник истинный, поэт... Тип, каков бы он ни был, есть уже прекрасное».

Но это не потолок искусства. Третья степень объективности, высшее проявление художественной способности, состоит в создании идеала. Бывают блестящие таланты, наделенные в высшей степени способностью усвоения жизни, но, будучи случайно брошены в эпохи мысли,

представляющие собой крайнюю разорванность сознания, они являются в литературе какими-то странными, блестящими, ни с чем не связанными метеорами. Их деятельность ослепительна, но не содержит живительного тепла. Такие таланты — пример недостаточности одной только объективности при отсутствии личного начала, личного взгляда на мир, личного нравственного бытия.

«Искусство по существу своему нравственно, поколику оно жизненно и поколику самую жизнь поверяет оно идеалом. Здесь нет подчинения искусства нравственности, ибо в понятии о подчинении заключается мысль о разорванности отношений между подчиняющим и подчиняющимися: искусство же как жизненное и народное, становясь выражением высших понятий жизни, только исполняет этим свое назначение».

Мы помним, что Шеллинг различал рассудок и разум в искусстве. Шекспир гениален, но остается на уровне рассудка, анализирующего человеческую душу; Кальдерой уступает ему в художественной гениальности, но, утверждая нравственный идеал, достигает ступени разума. Григорьеву, художественным чутьем превосходящему своего учителя, не по душе «мрачный фанатизм» Кальдерона, он считает, что Шекспир «гораздо более христианский поэт». А самые близкие нравственные идеалы он находит для себя на родной почве.

Нравственное начало, утверждает Григорьев, вошло в русскую литературу с Карамзиным: он первый нравственно подействовал на общество, дал литературе воспитательное значение. Действительно, от «Истории государства Российского» пошла современная русская словесность, которую полвека спустя после Григорьева Томас Манн назовет «святой».

К числу ее теоретиков принадлежит и Владимир Соловьев. Он видел «общий смысл искусства» в утверждении идеала. При том не «в одном воображении, а и в самом деле», то есть не только на литературных страницах, но и в жизни, в поведении. Существующие виды искусства, считал он, исчерпали себя. Соловьев ждал появления новых сфер художественного творчества. Как ждал многого другого, неведомого и несбыточного.

...Еще летали сны, и схваченная снами
Душа молилася неведомым богам.

Размышлял он и над судьбами родной культуры, над «русской идеей».

Уже преодолев свои ранние славянофильские симпатии, определяя Россию как «семью народов», он верил в ее особое предназначение. «У русского народа есть важные добродетели преимущественно перед народами Запада, — это именно те, которые общи нам с близким нам Востоком: созерцательность, покорность, терпение. Этими добродетелями долго держалась наша духовная метрополия — Византия, однако они не могли спасти ее. Значит, одних этих восточных свойств и преимуществ самих по себе мало. Они не могут уберечь великую нацию, если к ним не присоединится тот, другой элемент, который, конечно, не чужд России, как стране европейской и христианской, но по историческим условиям имел у нас (как и в Византии) лишь слабое развитие — я разумею сознание безусловного человеческого достоинства, принцип самостоятельной и самодеятельной личности».

Соловьев — последний (и наиболее крупный) русский шеллингианец. Его творчество знаменует собой взлет и распад направления. Как Григорьев, он умер рано. Был еще более неустойчивым человеком, бросался в такие крайности, какие Григорьеву и не мерещились.

Александр Блок набросал выразительный портрет Соловьева, видел которого он один раз — на похоронах. В погребальной процессии перед Блоком шел большого роста худой человек в старенькой шубе, с непокрытой головой, на буром воротнике шубы лежали длинные серо-стальные пряди волос. «Фигура казалась силуэтом, до того она жутко была непохожа на окружающее. Рядом со мной генерал сказал соседке: „Знаете, кто эта дубина? Владимир Соловьев“. Действительно, шествие этого человека казалось диким среди кучки обыкновенных людей, трусивших за колесницей. Через несколько минут я поднял глаза: человека уже не было; он исчез как-то незаметно — и шествие превратилось в обыкновенную похоронную процессию.

Ни до, ни после этого я не видел Вл. Соловьева; но через все, что я о нем читал и слышал впоследствии, и над всем, что испытал в связи с этим, проходило это странное видение. Во взгляде Соловьева, который он случайно остановил на мне в тот день, была бездонная синева: полная отрешенность и готовность совершить последний шаг; то был уже чистый дух: точно не живой человек, а изображение: очерк, символ, чертеж».

Он выделялся не только среди обычных людей на улице. Также и среди тогдашних русских мыслителей. Ему пророчили профессорскую карьеру, но он без видимой причины покинул университет. Не примыкал он ни к одному из существовавших идейных течений. Пережив в юности увлечение материализмом и сохраняя симпатии к Н. Г. Чернышевскому, он

был фактически его идейным противником. Пройдя выучку у классиков немецкой философии, прекрасно зная их, он выступал критиком Канта и особенно Гегеля. Он дружил со славянофилами, но резко потом с ними разошелся. Увлёкся католицизмом, но ненадолго. С некоторых пор его постоянная симпатия — иудаизм. Умирая, он молился на еврейском языке о благополучии Израиля. Однако причислить его к какой-либо сионистской группировке из тех, что были в России, нелепо. Для евреев он оставался гоем, для русских почти что изгоем. Он был одиночка.

Главный его труд — «Оправдание добра». Но, как утверждает хорошо знавший его В. В. Розанов, — «тихого и милого добра, нашего русского добра, — добра наших домов и семей, нося которое в душе мы и получаем способность различать нюхом добро в мире, добро в Космосе, добро в Европе, не было у Соловьева. Он весь был блестящий, холодный, стальной (поразительно стальной смех у него, — кажется, Толстой выразился: „ужасный смех Соловьева“). Может быть, в нем было „божественное“ (как он претендовал) или — по моему определению — глубоко демоническое, именно преисподнее, но ничего или мало в нем было человеческого. „Сына человеческого“ по-житейскому в нем даже не начиналось, и казалось, сюда относится вечное, тайное оплакивание им себя, что я в нем непрерывно чувствовал во время личного знакомства. Соловьев был странный, многоозаренный и страшный человек».

Он был визионер. Уже в возрасте девяти лет он имел видение, которое повторилось через тринадцать лет в Британском музее, где он вел научную работу. На этот раз ему велено было отправиться в Египет, и здесь в пустыне он в третий раз «узрел Софию» (эпизод описан им в стихотворении «Три свидания»). Однажды на него бросился черт, и ему пришлось с ним бороться, Соловьева нашли на полу без сознания. В конце концов он обратился за помощью к доктору Розенбаху, — «специалисту по части мозгов».

Он зримо предчувствовал конец истории. О том, как он представлял это себе, мы узнаем из «Краткой повести об антихристе», венчающей его последнее крупное произведение «Три разговора».

О Страшном суде, потустороннем конце истории, воскресении мертвых любил философствовать Шеллинг. Только у него все это звучало величавым заключительным аккордом мировой симфонии, которому быть в далеком будущем, неизвестно когда. Эсхатология Соловьева дышит злобой дня, окрашена в тона политически-апокалипсические. После «Трёх разговоров» посмертно вышла небольшая заметка «По поводу последних событий» — своего рода духовное завещание философа. «Боксерское

восстание» в Китае Соловьев принял за начало «панмонголизма», который, по его мнению, должен привести к краху Европы. Вот последние абзацы, вышедшие из-под пера Соловьева:

«Что современное человечество есть больной старик, и всемирная история внутренне кончилась — это была любимая мысль моего отца (знаменитого русского историка Сергея Соловьева. — А. Г.), и когда я, по молодости лет, ее оспаривал, говоря о новых исторических силах, которые могут еще выступить на всемирную сцену, то отец обыкновенно с жаром подхватывал: „Да в том-то и дело, говорят тебе: когда умирал древний мир, было кому его сменить, было кому продолжать делать историю: германцы, славяне. А теперь где ты новые народы сыщешь? Те островитяне, что ли, которые Кука съели? Так они, должно быть, уже давно от водки и дурной болезни вымерли, как и краснокожие американцы...“ А когда я, с увлечением читавший тогда Лассалю, стал говорить, что человечество может обновиться лучшим экономическим строем, что вместо новых народов могут выступить новые общественные классы, четвертое сословие и т. д., мой отец возражал с особым движением носа, как бы ощутив крайнее зловоние. Слова его по этому предмету стерлись в моей памяти, но, очевидно, они соответствовали этому жесту, который вижу как сейчас. Какое яркое подтверждение своему продуманному и проверенному взгляду нашел бы покойный историк теперь, когда вместо воображаемых новых, молодых народов неожиданно занял историческую сцену сам дедушка Кронос в лице ветхого китайца и конец истории сошелся с ее началом!

Историческая драма сыграна, и остался еще один эпилог, который, впрочем, как у Ибсена, может сам растянуться на пять актов. Но содержание их в существе дела известно».

И этот безнадежный пессимист, пророк катастрофы, весь устремленный в потустороннее будущее, создал «Смысл любви» — проникновенный философский гимн земной любви, который в мировой культуре можно смело поставить в один ряд с «Пиром» Платона. Создал по Шеллингу!

Станным образом Соловьев редко вспоминает своего учителя. Когда Соловьев защищал докторскую диссертацию («Критика отвлеченных

начал»), один из официальных оппонентов заметил, что соискатель отстаивает шеллингианские воззрения. Соискатель признал родство своих взглядов с поздней философией Шеллинга. В отличие от Одоевского и Григорьева, считавших, что Шеллинг всегда оставался одним и тем же, Соловьев называл «умозрительным пантеизмом» взгляды раннего Шеллинга и отвергал их, соглашаясь, однако, с «теософическими построениями второй Шеллинговой системы».

У позднего Шеллинга заимствует Соловьев свои аргументы против Гегеля. Гегелевская философия доводит до абсурда абстрактный рационализм. По Гегелю, нет ничего непосредственно существующего, все есть «бываемость понятия». Соловьев же считает, что «понятие не есть все, иначе: понятие как такое еще не сама действительность (как только понятие, оно имеет действительность, лишь насколько я его мыслю, то есть только в моей голове...)».

Истинная наука предполагает широкий эмпирический базис. «Не отрицая этого в принципе, Гегель на деле вовсе не считался с возможностью будущих открытий в науке и новых явлений в историческом процессе. Провиденциальное предостережение, которое он получил относительно этого (Соловьев имеет в виду диссертацию Гегеля, где вопреки уже открытому факту утверждалось, что между Марсом и Юпитером не может быть небесных тел. — А. Г.), мало на него подействовало. Его философия истории еще более, чем философия природы, представляет собой сильнейшую самокритику гегельянства с этой стороны. Нельзя было, конечно, требовать, чтобы Гегель (хотя и претендовавший на „абсолютное“ знание) предсказывал будущие исторические события, как только в шутку можно было от него требовать, чтобы он априори знал, сколько градусов показывает термометр на сегодняшний день. Но можно было по праву ожидать, что Гегелева философия истории оставит место для будущего, особенно для будущего таких явлений, важность которых уже обозначилась при жизни философа... В философии истории Гегеля не оставлено никакого места ни для социализма, ни для национальных движений нынешнего века, ни для России и славянства как исторической силы. По Гегелю, история окончательно замыкается на установлении бюргерско-бюрократических порядков в Пруссии Фридриха-Вильгельма III, обеспечивавших содержание философа, а через то реализацию содержания абсолютной философии». Сказано остроумно и зло. Только, как мы знаем, нечто подобное говорил ранее Шеллинг.

Вслед за Шеллингом называет Соловьев свое учение «философией

всеединства». И видит в ней начало нового типа философствования. С требованием «самобытной, не зависящей от понятий действительности, — утверждает он, — кончается век чисто логической или априорной философии, кладется начало философии положительной». Это тоже идея Шеллинга.

Шеллингу принадлежит и различие между сущим и бытием, на чем настаивает Соловьев. Сущее не может определяться как бытие, потому что бытие только предикат. Сущее — это абсолют, бог. Как мыслящий человек обладает мышлением, так и сущее обладает бытием. Противоположность бытия — ничто, небытие, величина отрицательная. Противоположность сущего — ничто как положительная величина. Понятие положительного ничто ввел Соловьев, оно важно для его последующих построений.

Оно важно для понимания самоотрицания, которое одновременно является самоутверждением. Такое самоотрицание представляет собой любовь. Любящий человек утверждает себя в другом.

Бог есть любовь. Соловьев исследует обе стороны этого равенства.

Любовь, по Соловьеву, — «влечение одушевленного существа к другому для соединения с ним и взаимного восполнения жизни». Из обоюдности отношений выводятся три вида любви. Во-первых, любовь, которая больше дает, нежели получает, или нисходящая любовь. Во-вторых, любовь, которая больше получает, нежели дает, или восходящая любовь. В-третьих, когда то и другое уравновешено.

В первом случае это родительская любовь, она основана на жалости и сострадании, включает в себя заботу сильных о слабых, старших о младших; перерастая родственные отношения, она создает отечество.

Второй случай — любовь детей к родителям, она покоится на чувстве благодарности и благоговения; за пределами семьи она рождает представление о духовных ценностях.

Полнота жизненной взаимности достигается в половой любви; жалость, благоговение в соединении с чувством стыда дают эмоциональную основу этого третьего вида любви.

Когда-то Декарт сказал: «Я мыслю, следовательно, существую». Соловьев переиначил афоризм: «Я стыжусь, следовательно, существую». И еще одно изречение передает суть его философии: «Всякое существо есть то, что оно любит». Любовь — это самоотдача, преодоление эгоизма.

Мы помним, что именно так определял любовь Шеллинг в «Штутгартских беседах». Соловьев прекрасно знал и умно интерпретировал эту работу.^[20] В «Штутгартских беседах» речь шла о божественном эгоизме и божественной любви. Соловьева волнуют дела

человеческие.

Чтобы полностью подорвать эгоизм, рассуждает Соловьев, необходимо противопоставить ему все наше существо проникающую любовь. То, другое, которое должно освободить из оков эгоизма нашу индивидуальность, должно иметь соотношение со всею этою индивидуальностью, должно быть таким же конкретным и реальным, вполне объектированным субъектом, как и мы сами, и вместе с тем должно во всем отличаться от нас, чтобы быть действительно другим, то есть иметь все то существенное содержание, которое мы и имеем, иметь его другим способом или образом, в другой форме, так, чтобы всякое проявление нашего существа, всякий жизненный акт встречали в этом другом соответствующее, но не одинаковое проявление, так, чтобы отношение одного к другому было полным и постоянным обменом, полным и постоянным утверждением себя в другом, совершенным взаимодействием и общением. Тогда только эгоизм будет подорван и упразднен не в принципе только, а во всей своей конкретной действительности. Только при этом, так сказать, химическом соединении двух существ, однородных и равнозначительных, но всесторонне различных по форме, возможно (как в порядке природном, так и в порядке духовном) создание нового человека.

Итак, смысл любви — рождение нового человека. Это следует понимать и в переносном смысле — как рождение нового духовного облика у человека, преодолевшего эгоизм, и в прямом — как продолжение человеческого рода. Соловьев здесь совершенно прав.

Он прав и в другом. Преодоление эгоизма не может ограничиться тем, что ты перенес свою исключительность на объект любви, считаешь центром вселенной не только себя, но и свою избранницу. «Из того, что самое глубокое и интенсивное проявление любви выражается во взаимоотношении двух восполняющих друг друга существ, никак не следует, чтобы это взаимоотношение могло отделять и обособлять себя от всего прочего как нечто самодовлеющее; напротив, такое обособление есть гибель любви». И Соловьев настаивает: «Истинная жизнь индивидуальности в ее полном и безусловном значении осуществляется и увековечивается только в соответствующем развитии всемирной жизни, в котором мы можем и должны деятельно участвовать».

Через два десятилетия после появления соловьевского «Смысла любви» в Германии вышла статья Макса Шелера «Любовь и познание», в которой также утверждался примат высокого человеческого чувства. Шелер не ссылаясь на Соловьева, не вспоминал о Шеллинге. Но под его пером оживали шеллингианские идеи. Шеллинг «инкогнито» входил в

философию Запада.

На этом можно было бы закончить повествование. Вспоминается мне, однако, еще один человек, впитавший идеи Шеллинга. К философии он, правда, прямого отношения не имел. В русскую память он вошел просто как добрый, необычайно добрый человек.

Достоевский о нем писал: «В Москве жил один старик, один „генерал“, то есть действительный статский советник, с немецким именем; он всю свою жизнь таскался по острогам и по преступникам; каждая пересыльная партия в Сибирь знала заранее, что на Воробьевых горах ее посетит „старичок генерал“. Он делал свое дело в высшей степени серьезно и набожно; он являлся, проходил по рядам ссыльных, которые окружали его, останавливался пред каждым, каждого расспрашивал о его нуждах, наставлений не читал почти никому, звал их всех „голубчиками“. Он давал деньги, присылал необходимые вещи — портянки, подвертки, холста, приносил иногда душеспасительные книжки и оделял ими каждого грамотного с полным убеждением, что они будут их дорогой читать и что грамотный прочтет неграмотному. Про преступление он редко расспрашивал, разве выслушивал, если преступник сам начинал говорить. Все преступники были у него на равной ноге, различия не было. Он говорил с ними как с братьями, но они сами стали считать его под конец за отца. Если замечал какую-нибудь ссыльную женщину с ребенком на руках, он подходил, ласкал ребенка, поцелкивал ему пальцами, чтобы тот засмеялся. Так поступал он множество лет до самой смерти».

Звали этого удивительного человека Федор Петрович Гааз. Он родился где-то на Рейне как Фридрих Йозеф Хааз. Получив медицинское образование, перебрался в 1803 году в Россию, обрусел, полюбил свою новую родину и стал в ней всеобщим любимцем. В отечественную войну был на фронте и прошел с войсками до Парижа. Затем долгие годы служил главным тюремным врачом в Москве. Прославленный врачеватель, он лечил вельмож, но также и неимущих (бесплатно), оказывая всем одинаковое внимание. Как влиятельный член «Комитета попечительства о тюрьмах» он добился замены тяжелых, мучительных кандалов более легкими, обшитыми изнутри кожей или сукном.

Гааз слушал Шеллинга в иене, цитировал учителя в своих трудах и, по словам биографа Гааза известного юриста и литератора А. Ф. Кони, «состоял в оживленной переписке» со знаменитым философом.

В берлинском архиве АН ГДР мне удалось увидеть следы этой переписки. Письмо Гааза от 13 августа 1820 года: из газет он узнал о болезни Шеллинга, выражает свое беспокойство, желает учителю сил и

здоровья. Другое письмо написано под новый, 1844 год. Длинное, обстоятельное, оно начинается с уверений в любви, благоговении перед Шеллингом. Гааз слушал Шеллинга «как оракула», от него он усвоил, что любовь и добро являются целью жизни. Любовь — это всеобщая церковь. Гааз удивлен столь долгим молчанием Шеллинга в печати. «Возьмитесь же за перо, благородный муж». И снова говорит о любви — вечной, всеобщей...

Гааз любил людей, люди, отвечали ему тем же. Память о московском «святом докторе» живет по сей день. В центре нашей столицы во дворе дома номер пять по переулку Мечникова стоит бронзовый бюст Гааза с выбитым на постаменте изречением: «Спешите делать добро». Это памятник и всему русскому шеллингианству.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1775, 27 января — В Леонберге (близ Штутгарта) родился Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг.

1777 — Семья переехала в Бебенхаузен (близ Тюбингена).

1785 — Шеллинг поступил в латинскую школу в Нюртенгене.

1786 — Вернулся в Бебенхаузен и поступил в тамошнюю семинарию.

1790, 18 октября — Зачислен на богословский факультет университета в Тюбингене.

1792, 26 сентября — Защитил магистерскую диссертацию по философии на тему «Опыт критического и философского истолкования древнейшей философии о происхождении человеческого зла по третьей главе книги Бытия».

1793, апрель — Донос на Шеллинга об его участии в тайном клубе.

Июнь — Встреча с Фихте, проезжавшим через Тюбинген.

Осень — В журнале «Меморабилиек» (№ 5) появилась статья Шеллинга «О мифах, исторических сказаниях и философемах древности».

1794, май — Новая встреча с Фихте.

Сентябрь — опубликована работа «О возможной форме философии».

1795, март — Вышла работа «Я как принцип философии».

Июнь — Защита богословской диссертации «Об исправлении Маркионом посланий Павла». «Письма о догматизме и критицизме».

Ноябрь — Шеллинг — учитель в доме барона Ридезель.

1796, март—апрель — Переезд из Штутгарта в Лейпциг.

В «Философском журнале» появилась «Новая дедукция естественного права».

8 июля — Поездка из Лейпцига в Иену. Встреча с Фихте.

«Общий взгляд на новейшую философскую литературу».

1797, весна — «Идеи к философии природы».

Май — Поездка в Берлин.

— «О мировой душе».

Май — Знакомство с А. В. Шлегелем.

28 мая — В Иене в доме Шиллера встреча с Гёте.

30 июня — Подписан рескрипт о приглашении Шеллинга в Иену на должность экстраординарного профессора.

18 августа—1 октября — Шеллинг в Дрездене. Встречи с Новалисом, Шлегелями, Фихте.

Октябрь — Шеллинг начал читать в Иене натурфилософию.

1799, весна — «Первый набросок системы натурфилософии».

Лето — «Введение к наброску системы натурфилософии».

Зимний семестр — Шеллинг впервые читает философию искусства.

Зима — Написана поэма «Эпикурейский символ веры Ганса Видерпоста».

1800, апрель — «Система трансцендентального идеализма». В первом номере «Журнала умозрительной физики» опубликованы статьи Шеллинга «О Иенской всеобщей литературной газете», «Всеобщая дедукция динамического процесса».

2 мая — Шеллинг выехал в Бамберг.

12 июля — Смерть Августи Бэмер.

Июль—сентябрь — Занятия медициной в Бамберге. Чтение философского курса.

Сентябрь — «Журнал умозрительной физики» № 2.

Октябрь — Снова в Иене.

1801, январь — «Журнал умозрительной физики» (т. 2, № 1) со статьей Шеллинга «О подлинном понятии натурфилософии».

Май — «Журнал умозрительной физики» (т. 2, № 2) со статьей Шеллинга «Изложение моей философской системы».

Осень — В «Альманахе муз на 1802 год» напечатаны четыре стихотворения Шеллинга.

1802, январь — Вышел первый номер «Критического философского журнала» со статьями Шеллинга «О сущности философской критики» (совместно с Гегелем) и «Об абсолютной системе тождества».

Март — «Критический философский журнал» (т. 1, № 2) со статьей Шеллинга «Рюккерт и Вайс, или Философия, которая не нуждается ни в мышлении, ни в знании».

Май — Шеллинг в Берлине.

Июнь — Университет в Ландсгуте присудил Шеллингу степень доктора медицины.

Июль — «Критический философский журнал» (т. 2, № 1).

Август — «Новый журнал умозрительной физики» со статьей Шеллинга «Дальнейшее изложение моей философской системы».

Октябрь — «Новый журнал умозрительной физики» (т. 1, № 2, 3). В № 2 опубликована работа Шеллинга «Вторая часть дальнейшего изложения моей философской системы», в № 3 — «Четыре благородных металла».

Осень — «Бруно».

Декабрь — «Критический философский журнал» (т. 1, № 3 и т. 2, № 2).
Первый со статьями Шеллинга «Об отношении натурфилософии к философии» и «О конструкциях в философии».

1803, весна — «Лекции о методе университетского образования».

Начало мая — «Критический философский журнал» (т. 2, № 3) со статьей Шеллинга «О Данте в философском отношении».

22 мая — Шеллинг покинул Иену.

26 июня — Венчание с Каролиной.

Конец лета — Шеллинг в Штутгарте и Тюбингене.

Ноябрь — Переезд в Вюрцбург.

В течение всего года — Работа над курсом «Философия искусства».

1804, март — Некролог о Канте.

Весна — «Философия и религия».

Июль — Проспект издания медицинского журнала.

28 сентября — Письмо в правительство по поводу ограничений в преподавании его философии.

7 ноября — Правительственный выговор.

В течение всего года — Работа над курсами «Пропедевтика философии» и «Система всей философии».

1805, январь — Вышли «Ночные бдения» Бонавентуры.

Конец марта — Обращение Шеллинга «К публике».

Октябрь — Вышли «Ежегодники научной медицины» (т. 1, № 1) со статьей Шеллинга «Афоризмы к введению в натурфилософию».

1806, 24 марта — Последняя лекция в Вюрцбурге.

18 апреля — Отъезд в Мюнхен.

Май — Шеллинг принят на государственную службу (без должности).
«Ежегодники научной медицины» (т. 1, № 2) со статьей Шеллинга «Афоризмы о натурфилософии».

Весна — 2-е издание «О мировой душе», открывающееся трактатом «Об отношении реального и идеального в природе».

Июль — Назначен штатным членом Баварской академии наук.

Октябрь — «Ежегодники научной медицины» (т. 2, № 1).

Осень — «Изложение подлинного отношения натурфилософии к исправленному учению Фихте».

1807, весна — «О сущности немецкой науки».

Июнь — «Ежегодники научной медицины» (т. 2, № 2) с окончанием статьи «Афоризмы о натурфилософии».

12 октября — Речь «Об отношении изобразительных искусств к

природе».

1808, начало года — «Ежегодники научной медицины» (т. 3, № 1).

13 мая — Шеллинг — генеральный секретарь Академии художеств.

Июль — Статья «Об уставе королевской Академии художеств».

Август — Избран почетным членом научного общества в Эрлангене.

Поездка с Каролиной в Баварские Альпы.

Октябрь — «Ежегодники научной медицины» (т. 3, № 2).

1809, май — «Философские произведения», т. 1. (Здесь впервые опубликована работа «Философские исследования о сущности человеческой свободы».)

7 сентября — Смерть Каролины (в Маульбронне).

1810, январь — Шеллинг в Штутгарте.

Февраль—июль — «Штутгартские беседы».

Сентябрь — Начало работы над «Мировыми эпохами».

Октябрь — Возвращение в Мюнхен.

1811, апрель — «Мировые эпохи» (корректурa).

Лето — Шеллинг готовит выставку Академии художеств.

12 октября — Открытие выставки. Шеллинг — автор каталога.

1812, январь — «Памятка о „Божественно сущем“ господина Ф. Г. Якоби».

Конец мая — Помолвка с Паулиной Готтер на почтовой станции Лихтенфельс.

11 июня — Женитьба.

Октябрь — Шеллинг в Нюрнберге. Встреча с Гегелем.

5 октября — Смерть отца.

1813 — Шеллинг издает «Всеобщий немецкий журнал для немцев». В течение года вышло четыре номера.

«Мировые эпохи» (корректурa второго варианта).

17 декабря — Родился сын Пауль.

1814, октябрь — Программа художественной выставки.

Зима — «Мировые эпохи» (корректурa третьего варианта).

1815, 2 августа — Родился сын Фридрих.

12 октября — Речь «О самофракийских божествах».

1816, январь — Приглашение занять место профессора в Иене.

Июль—сентябрь — Шеллинг живет в сельской местности, работает над «Мировыми эпохами». В Швеции начало выходить Полное собрание сочинения (т. 5, 7).

1817, февраль — Искусствоведческие комментарии к работе И. М. Вагнера об эгинских скульптурах.

25 марта — Родилась дочь Каролина.
1818 — В Швеции вышли тома 9, 11-й Полного собрания сочинений.
3 июля — Родилась дочь Клара.
8 июля — Умерла мать.
1819, лето — Шеллинг впервые лечится в Карлсбаде.
Конец года — Шеллинг тяжело болен.
1820 — В Швеции вышел т. 1 Полного собрания сочинений.
1 декабря — Переезд в Эрланген.
1821, 4 января — Первая лекция в Эрлангене.
Летний семестр — Впервые прочитан курс «Философия мифологии».
20 июля — Родилась дочь Юлия.
Осень — Корректura первого варианта «Философия мифологии».
1822, август — Впервые прочитан курс «История новой философии».
1823 — Оставил пост генерального секретаря Академии художеств.
1824, весна — Набран и отпечатан второй вариант «Философии мифологии» (в свет не вышел).
19 апреля — Родился сын Герман.
1825 — Работа над «Философией мифологии».
Август — В Карлсбаде познакомился с А. И. Тургеневым и П. Я. Чаадаевым.
1826 — В Мюнхене основан университет; Шеллинг приглашен профессором.
1827, 11 мая — Шеллинг назначен главным хранителем научных коллекций Баварского королевства.
Август — Назначен президентом Академии наук.
26 ноября — Начал читать курс «История новой философии».
1828, оба семестра — Читает курс «Философия мифологии».
1829, летний семестр — Продолжает курс «Философия мифологии».
Август — Встреча с Гегелем в Карлсбаде.
Октябрь — Знакомство с П. В. Киреевским.
Зимний семестр — Отпуск для завершения литературной работы.
1830, март — Набран и отпечатан третий вариант «Философии мифологии» (в свет не вышел).
Летний, семестр — «Введение в философию». Среди слушателей И. В. Киреевский.
17 августа — Шеллинг — действительный тайный советник.
Зимний семестр — Читает курс «Философия мифологии».
29 декабря — Речь перед студентами университета.
1831, летний семестр — Читает курс «Философия мифологии».

Зимний семестр — Читает курс «Философия откровения».
1832, 28 марта — Речь в Академии наук «О новом открытии Фарадея».

Летний семестр — Читает курс «Философия откровения».
Зимний семестр — Читает курс «Система позитивной философии».
1833, *летний семестр* — Читает курс «Система позитивной философии».

Сентябрь — Кавалер ордена Почетного легиона и член-корреспондент Парижской академии наук.

Зимний семестр — Читает курс «Введение в философию».
1834, *летний семестр* — Читает курс «Философия мифологии».
Лето — Опубликовано предисловие к работе В. Кузена.
Зимний семестр — Читает курс «Философия откровения».
1835, *летний семестр* — Отпуск для завершения литературной работы.

Зимний семестр — Читает курс «Философия мифологии».
1836, *летний семестр* — Читает курс «Введение в философию».
Осень — Уехал в Аугсбург для литературной работы.
Зимний семестр — Читает курс «Система позитивной философии».
1837, *летний семестр* — Читает курс «Философия мифологии».
Октябрь — Начал редактировать философский отдел «Мюнхенских ученых записок».

Зимний семестр — Читает курс «Философия мифологии».
1838, *летний семестр* — Читает курс «Философия мифологии».
Зимний семестр — Читает курс «Философия откровения».
1839, *летний семестр* — Читает курс «Введение в философию».
Зимний семестр — Отпуск для завершения литературной работы.
1840, *летний семестр* — Отпуск для литературной работы.
Август — Приглашение в Берлин.
Зимний семестр — Читает курсы «Введение в философию» и «Философия мифологии».

1841, 15 ноября — Первая лекция в Берлине.
Зимний семестр — Читает курс «Философия откровения». Среди слушателей — Ф. Энгельс, С. Киркегор, М. Бакунин.

1842, *летний семестр* — Читает курс «Философия мифологии».
Встреча с В. Ф. Одоевским.
Октябрь — Увольнение с баварской и окончательное назначение на прусскую службу.

Зимний семестр — Читает курс «Философия мифологии».

1843 — Паулюс опубликовал запись «Философии откровения» Шеллинга.

Летний семестр — Читает курс «Философия мифологии».

Зимний семестр — Читает курс «Принципы философии» («Описание природного процесса»).

1844, *летний семестр* — Читает курс «Философия откровения».

Зимний семестр — Читает курс «Философия мифологии».

1845, *оба семестра* — Читает курс «Философия мифологии».

1846, *апрель* — Предисловие к посмертным произведениям Стеффенса.

1854, 20 августа — Скончался в Рагаце (Швейцария).

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Schelling F. W. J. Sämtliche Werke. Bd. 1—14. Stuttgart. 1856-61.
Schelling F. W. J. Historisch-kritische Ausgabe. Bd. 1–3. Stuttgart. 1976—
82.
Schelling F. W. J. Grundlegung der positiven Philosophie. Torino. 1972.
Schelling F. W. J. Stuttgarter Privatvorlesungen. Torino. 1973.
Schelling F. W. J. Briefe und Dokumente. Bd. 1–3. Bonn. 1962—75.
Aus Schellings Leben. In Briefen. Bd. 1–3. Leipzig. 1869—70.
Sehellingiana rariora. Torino. 1977.
Schelling in Spiegel seiner Zeitgenossen. Torino. 1974; Ergänzungsband.
Torino. 1981.
Шеллинг Ф. В. И. Система трансцендентального идеализма. Л., 1936.
Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М., 1966.
Шеллинг. Философские исследования о сущности человеческой
свободы. Бруно, или О божественном и естественном начале вещей. Спб.,
1908.
Шеллинг Ф. В. И. Письма о догматизме и критицизме. Иммануил
Кант. — В кн.: Новые идеи в философии. Сб. 12. Спб., 1914.
Шеллинг Ф. В. И. Об отношении изобразительных искусств к природе.
— В кн.: Литературная теория немецкого романтизма. М., 1934.
Архив Академии наук ГДР. Фонд Шеллинга. Берлин.
Архив Шеллинговской комиссии Баварской академии наук. Мюнхен.

*

- Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956.
Ленин В. И. Философские тетради. Полное собрание сочинений. Т. 29.

*

- Лазарев В. В. Шеллинг. М., 1976.
Фишер К. Шеллинг, его жизнь, сочинения и учение. Спб., 1905.
Dietzsch S. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Leipzig. 1978. Natur —
Kunst — Mythos. Beiträge zur Philosophie Schellings. B. 1978.

Sandkühler H. J. F. W. J. Schelling. Stuttgart. 1970.

Tillielle X. Schelling. Vol. 1–2. Paris. 1970.

Kahn-Wallerstein C. Schellings Frauen. Caroline und Pauline. Frankfurt/Main. 1979.

Hasler L. (Hrsg.) Schelling. Seine Bedeutung für eine Philosophie der Natur und der Geschichte. Stuttgart. 1981.

notes

Примечания

Друзья Шеллинга Гегель и Гельдерлин за два года до него защитили диссертацию, представленную Августом Бэком.

Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, М., 1956, с. 258.

Пророк (*латин.*).

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 248.

Шеллинговская характеристика Гегеля не имела уничижительного смысла. Вот она полностью: «Такой чистый образен внешней и внутренней прозы должен считаться священным в наше сверхпоэтическое время. Нас всех кидает из стороны в сторону сентиментальность, и подобный дух отрицания служит великолепным коррективом, который, однако, становится смешным, как только выходит за пределы „негативного“». Слова «отрицание» и «негативное» употреблены здесь как синонимы «логического». Свою философию Шеллинг без лишней скромности охарактеризует как «высшую поэзию человеческого духа».

«Ненавижу толпу невежд и сторонюсь ее» (*латин.*).

«Фауст» цитируется в переводе Б. Пастернака.

Маркс К, Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 734.

Письмо хранится в отделе рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, обнаружил его В. И. Сахаров, расшифровали текст в Баварской академии наук, и он впервые, публикуется здесь.

Речь идет о Русско-турецкой войне 1828–1829 годов.

Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 387.

Там же.

Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 390–391.

Там же, с. 433.

Там же, с. 432.

Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 442.

Пусть посмотрят, что можно (*латин.*).

Наиболее полная публикация записи их бесед в кн. Писатель и время. М., 1978.

В других формах.

В ЦГАЛИ (ф. 446: оп. 2, ед. хр. 10) хранится неопубликованный фрагмент Соловьева о Шеллинге, содержащий на нее ссылки.